

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Максим Долгов
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова
Верстка: О. Н. Вялкова

10/2019

Содержание

ПРОЗА

Дмитрий ПОЛЯКОВ-КАТИН. Соло для камертона. Рассказ.	3
Галина ЛАХМАН. Брахман, возносящий молитву солнцу. Рассказ. ..	28
Михаил КАЛАШНИКОВ. Вровень с рекой. Рассказ.	66
Оксана ВЕТЛОВСКАЯ. В упор не промахнешься. Рассказ.	83
Владислав РЕЗНИКОВ. Остановка. Рассказ.	104
Татьяна МАХОВИЦКАЯ. Здесь мой дом. Рассказ.	113

ПОЭЗИЯ

Станислав ЛИВИНСКИЙ. Без эстетики. Стихи.	24
Наталья БЕЛОЕДОВА. Так спокойней. Стихи.	62
Роман РУБАНОВ. Поезд на Москву. Стихи.	79
Евгения Джен БАРАНОВА. Поле Верлена. Стихи.	100

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир СЕДЫХ. Как я стал сибиряком.	120
Владимир ЧАГИН. Николай Ауэрбах: бегство на Север. <i>Окончание.</i>	136
Станислав ЕРМОЛЕНКО, Анастасия СТАРЫШКИНА, Ксения ШЕЛЕСТЮК, Наталия ЯКУПОВА. Первая в Сибири. О научно-технической библиотеке <i>Колывано-Воскресенских заводов.</i>	155
Лариса ПОДИСТОВА. Счастливые люди. <i>К 75-летию Государственного академического</i> <i>Сибирского русского народного хора. Очерк третий.</i>	168

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ХЛЕБНИКОВ. Венедикт Ерофеев, или Хризантема на тахте.	175
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Владимир ЧИРКОВ. Людмила Белозёрова: нежные краски жизни. Искусствоведческие письма.	188
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Дмитрий ПОЛЯКОВ-КАТИН
СОЛО ДЛЯ КАМЕРТОНА

Р а с с к а з

Не сказать, чтобы он положил жизнь на то, чтобы получить это место. Нет, скорее портфель директора департамента свалился ему на голову, как чужой рождественский подарок, случайно выпавший из окна. Но путь к нему все-таки был, долгий и унижительный, ведь всякая случайность, по сути, звено в цепи событий, предопределенность и смысл которых становятся понятными лишь тогда, когда последнее звено сомкнется с первым.

Он пока еще не оброс жирком респектабельности, на нем по-прежнему был поношенный пиджак в мелких бытовых пятнах и мокасины с разбитыми мысками, хотя визит в магазин дорогой одежды уже был запланирован. Сидя в огромном необустроенном кабинете с длинным столом, предназначенным для совещаний, он никак не мог осознать, что отныне это его рабочее место и что сидящая в прихожей полная женщина с кукольным лицом судебной стенографистки — его личная секретарша. Сама мысль об этом повергала его в необъяснимый ужас, все более, впрочем, сладкий. Все произошло до того быстро, что он не успел зафиксировать в голове, как из понукаемого неудачника он вдруг превратился в ответственное лицо с солидным окладом, кучей телефонов, секретаршей, водителем и другими атрибутами жизненного успеха.

Необязательно быть любителем силлогизмов, чтобы догадаться: удивительным перевоплощением он всецело был обязан стремительному взлету карьеры своего патрона — настолько стремительному, что тот попросту не успел обзавестись полным комплектом компетентных управленцев и оттого во главу угла поставил личную преданность. А по этой части Андрею Пороху равных не было.

Узнав о назначении, жена, потерявшая надежду когда-нибудь возобновить сезонные шопинги, без которых раньше не мыслила своего существования, задержала на нем взгляд чуть дольше обычного и недоверчиво бросила:

— От твоих обещаний в ушах звенит. Вот когда на выходные в Париж поедем, тогда и поговорим.

— Ну, это если меня не уволят сразу, — уныло пробормотал он.

Она презрительно наморщила носик. И напрасно. На Рождество они всем семейством отправились в Берлин (в последние годы ее маршру-

ты не простирались далее подмосковного Храпунова, где догнивала дачка сестры), а с первой зарплаты мужа она ощутила такой прилив адреналина, что от него, как от шампанского, зашумело в голове.

Пороха не уволили ни сразу, ни потом. Но жизнь оттого не стала легче. Его патрон Максим Селевин, жесткий, умный, переполненный амбициями молодой политик, подобрал его, когда тот уже отчаялся рассылать резюме потенциальным работодателям и дни напролет слонялся полупьяный по дешевым пивным и немногочисленным приятелям в надежде перехватить сотню-другую. К тому времени Порох изрядно обрюзг, облысел и растерялся, чем заметно обесценил свои ставки на собеседованиях.

Понимая, в каком безвыходном положении он пребывает, Селевин установил ему поначалу позорно мизерное жалование, зато обеспечил при этом местом в офисе, компьютером и верой в то, что все потихоньку наладится. Этой веры хватило, чтобы возлюбить покровителя бескорыстной любовью пса, получившего будку и миску с мозговыми костями, и стать ему верной тенью, которой не нужно указывать место.

Дело в том, что Андрей Порох обладал недюжинным литературным даром, который он целиком предоставил в распоряжение своего благодетеля, и тот не преминул им воспользоваться. Никто не умел расставлять смысловые акценты в публичных выступлениях лучше, чем Порох, охотно взваливший на себя не только это бремя, но и все, что связано с буквами, включая написание двух солидных книг на исторические темы под авторством шефа с их последующим распространением на партийных форумах.

В его преданности присутствовало что-то детское, подкупающе трогательное. Никто не радовался успехам Селевина столь искренне, как Порох, никому не были так ненавистны его враги. Если бы общественное мнение стало немного снисходительнее, он бы, пожалуй, не посчитал зазорным носить за шефом вещи и смахивать у него с плеч перхоть перед выходом на трибуну.

Селевин привык к Пороху, как привыкают к сигаретам определенной марки. Умный, исполнительный, всегда на своем месте. Интересно, есть у него женщина на стороне? Обедает он когда-нибудь или так всю жизнь и сидит без обеда? Успевает сказать жене «привет» вечером и «пока» утром? Иногда подобные вопросы забредали в голову шефа, однако ненадолго, почти риторически. Ему не то чтобы нравилось такое чрезмерное рвение, в котором, откровенно говоря, не было необходимости, но оно как-то разгружало, дисциплинировало, что ли, и в целом создавало впечатление большого и важного дела, по крайней мере в собственных глазах.

Удивительно, но все это служение привело к тому, что Селевин начал вести себя с Порохом как капризная любовница. Он позволял себе повышать на него голос, прилюдно отчитывал, высмеивал, любой промах раздувал до размеров слона и чуть что клялся завтра же выкинуть за дверь с волчьим билетом в зубах.

— Вы, Андрей Владимирович, дурак? Или притворяетесь? Вижу, что притворяетесь. Отвечайте прямо, без ваших этих бе-ме — угробили проект, мать вашу?! Что я вам говорил? Куда вас понесло, к чертям собачьим, я не понимаю!

Порох сносил все стойко, безропотно, плаваясь в ночных кошмарах, терзаясь дурными предчувствиями и роковыми догадками — и напрасно, поскольку шеф был отходчив, незлобив и скоро обо всем забывал.

Тем утром секретарша сообщила, как всегда по-армейски безэмоционально, что ему звонит некто, представившийся Бубликом. Порох нахмурился. Бубликом в узком кругу старых приятелей звали Эдика Кучерова за безупречную округлость физиономии. Круг распался, а прозвище сохранилось. В последние годы они виделись редко, но оставались друзьями, во всяком случае, так они оба по привычке думали.

«Что ему понадобилось?» — мелькнул испуганный вопрос. Порох снял трубку.

— Что с твоим мобильным, старина? — заверещал бодрый тенорок Бублика. — Звоню, звоню, а ты все время недоступен.

— Он... не работает сейчас.

Порох не сказал, что номер он заблокировал и открыл новый, для близких.

— А я вот узнал твой рабочий и позвонил, — так же весело сообщил Бублик и даже засмеялся: — Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Рад за тебя. Большой начальник. — Опять смех. — Ты вообще доступен теперь?

— Ну да... Конечно.

— Вот и отлично. Если ты не против, я загляну к тебе завтра, скажем, в десять?

— А что случилось?

— Да ничего не случилось. Хочу увидеться. Разве этого мало?

— Ну хорошо, давай. Только в одиннадцать. В десять у меня совещание.

Ему не понравился этот звонок, эта фамильярность по служебному телефону, через секретаршу.

«А что я мог сделать?» — спросил он себя.

На другой день в коридоре секретарша, выносившая поднос с посудой, встретила его суровым кивком в сторону кабинета:

— Там человек в приемной. Представился старым другом. Давно вас ждет.

— Странно, очень странно... — пробормотал Порох так, чтобы она его услышала, и дернул дверь.

Нарядный и благоухающий Бублик кинулся к нему с объятиями, на которые пришлось ответить.

— Ну ты даешь! Вот это да! Это я понимаю! — возбужденно восклицал он, и глаза его блестели от радости. — Кто бы мог подумать, что Андрюша наш Порох станет таким тузом? Рад за тебя. Нет, правда, очень, очень рад. Молодец, Андрюха. — Он вдруг запел: — Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый росс!

— Тише, — замахал руками Порох и провел его в кабинет. — Все же слышно.

— Ну и что? — искренне удивился Бублик. — Там только твоя секретарша. За жопу ее не щипал? Напра-а-асно. Отлично развивает гибкость пальцев и профилактирует артрит. У моей, например, вся задница в синяках.

Когда восторги стихли, Порох посчитал необходимым заметить:

— Это все временно. Меня того и гляди уволят.

— За что?

— Да ни за что. Так просто — уволят, и все. — Взгляд его пробежался по книжным полкам. — У нас так делается.

— Да ну, пустое, — недоверчиво отмахнулся Бублик. — Наверху же как? Если в номенклатуру попал, оттуда уже не выпадешь. Помнишь Бренера? Уж чего только не было: ревизия, КПЗ, суд. Он в Минсельхозе работал. И что? Оправдали, чтобы мундир не пачкать. Потом помыли, почистили, и стал как новенький. А теперь знаешь где он? Ответственный секретарь в мэрии — вся реклама под ним, все конкурсы. Так что не бойся. — И он засмеялся своим бодрым смехом.

Порох потемнел, даже взмок, глаза уперлись в кончик фиолетового платка, кокетливо выглядывающего из нагрудного кармана на пиджаке Бублика.

— Эдик, ну что ты несешь? — произнес он сурово.

— А что такое?

Порох перешел на сдавленный шепот:

— Ты не понимаешь, что нас тут слушают?

— Слушают? — изумился Бублик. — Кто?

— Не притворяйся. Все ты понимаешь.

— А... Ну ладно, — быстренько сдался Бублик, поправил очки на носу, кашлянул, затем откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу и улыбнулся. — Я тут перебирал старые фотографии и нашел забавные экземпляры. Помнишь, как мы застряли в лифте? В доме отдыха, в Дудинцово? Ты, я и Лобзик. Ну, мы еще подпрыгнули, когда поднимались с бутылками, рывкнули: «Улыбнитесь, каскадеры!» — подпрыгнули, он и встал. Так Лёнчик Сонин тогда сфоткал, как нас вытаскивали. У Лобзика такая глупая морда. И у тебя. Струхнул я тогда. Сколько лет прошло... А еще — ты с Танькой Малышевой в постели, пятки торчат. Еще не проснулся. У тебя таких нету.

Порох встал, бесцельно обошел кабинет, поправил на стене фотографию: шеф за столом, он позади. Задумчиво посмотрел на часы.

— Да, — сказал, встрепенувшись, — давненько мы не виделись.

Бублик не выдержал и усмехнулся:

— Три месяца. В июне мы встречались на Тверской. С женами.

— Да-да, — подтвердил Порох рассеянно.

Он опять посмотрел на часы. Устало покачал головой:

— Ты извини, но у меня, сам понимаешь... Хорошо, что зашел.

Бублик выпрямился, однако остался сидеть.

— Понимаю, старик. Но тут такое дело... — Он замаялся. — Вообще, у меня к тебе... дело.

«Так я и думал», — мысленно ахнул Порох и сел напротив Бублика. Его лицо уже не было таким круглым. Щеки слегка провисли, осунулись.

— Ладно, давай. Только быстро.

Бублик выдохнул, улыбка сделалась напряженной, хотя не сползала с губ.

— Я коротко. — Он немного ослабил узел на галстуке. — Не буду скрывать, мне понадобилась твоя помощь. Мы же старые друзья. Ты знаешь: у меня фонд, бизнес. Поддержка культурных проектов, ну и все, что сопутствует. Ты помнишь, старина, как мы начинали, буквально на коленке? А потом пошло. Помнишь, мы и тебя звали? Веселая жизнь, жирные годы. В какой-то момент я потерял бдительность. Залез в кредиты и вложил в несколько весьма перспективных проектов. Но — кризис, мать его! Кто замер, кто обанкротился. Понимаешь?

Он вскинул глаза на Пороха. Тот не пошевелился.

— Словом, у меня проблемы возникли небольшие. Так, затруднения. Я не привык к проблемам, ты же знаешь. Не хочу тебя погружать во все это... Одним словом, насколько мне известно, твой департамент выдает гранты.

— Пойдем покурим.

Порох поднялся и пропустил гостя вперед.

— Я скоро, — бросил он секретарше.

Они вышли во двор. Закурили. Бублик — сигару. Улыбка у него слегка покосилась.

— Вот я и говорю, — продолжил он, — твой департамент... Вы могли бы дать грант, например, нашему фонду. Я на рынке давно. У меня репутация, ты знаешь. К тому же это как раз по профилю. Таким, как я, в принципе, вы и даете гранты. В этом нет ничего дурного. Кого выбрать, решает ведомство, руководство. Я мог бы рассчитывать... по дружбе... — Он заглянул в лицо Пороха, но тот упорно избегал прямого взгляда. — Меня бы это здорово поддержало, старина. Есть серьезные планы, проекты. Вот хотя бы художественная школа в Липецке. Недостроенная. Год назад я бы и сам, без всяких грантов... Но сейчас... Как думаешь, это возможно?

Порох бросил под ноги недокуренную сигарету, тем самым обозначив конец разговора.

— Давай так. Напиши заявку. В произвольной форме. Пришли. А я решу, что можно сделать.

— Это реально, дружище? — спросил Бублик, не к месту посмеиваясь. — Реально?

— Конечно, — сказал Порох и уверенно повторил: — Конечно.

Они пожали друг другу руки.

— Хочешь, принесу твои фото? — предложил Бублик.

— Нет, не надо.

— Самый короткий анекдот хочешь?

— Потом... Не время.

— «Блин! — сказал слон, наступив на Колобка».



И Бублик залился счастливым смехом, но, заметив, что Пороху не до шуток, взял себя в руки.

— Ладно... Аньке привет передавай. Как она?

— Нормально.

— А сын?

— Учится.

— Хорошо. У меня тоже учится... Ладно.

В дверях Порох задержался:

— И еще. Когда звонишь, называй все-таки фамилию.

Возвращаясь домой, Порох невольно думал о Бублике. Их и в самом деле связывало довольно бурное прошлое, еще с институтских времен. Однажды Бублик даже вытащил его из ледяной воды, когда плот, на котором они сплавлялись по горной речке, развалился, налетев на камни. В период затянувшейся безработицы именно Бублик стал основным его кредитором. Справедливости ради надо признать, что деньги у Бублика водились шальные, поэтому он легко одалживал и так же легко прощал долги старому другу. По пятницам он брал его с собой в ресторан, где платил за всех, лишь бы было весело. Весело было всем, кроме Пороха. Он не любил об этом вспоминать.

Порох всегда удивлялся, но без зависти, а, напротив, с каким-то даже уважением, как легкомысленный, ленивый, беспечный Эдик Кучер (к тому же картежник!) добился серьезных успехов в финансовом бизнесе, опередив его — обстоятельного, трудолюбивого, сильного. Уже в институте — и после — превосходство Пороха было до того очевидным, что и сам Бублик не сомневался, кто есть кто в этой жизни, да и друзья относились к ним с разной степенью панибратства.

А потом все почему-то изменилось. Это смахивало на везение в казино. Да, Кучер звал его в свой бизнес, предлагал партнерство, однако Порох тогда был занят карьерой в крупном издательстве — и кто знал, что оно так быстро развалится? Да и экстравагантность Бублика настораживала. Например, в офисе он установил кровать, на которой частенько отсыпался после ночи, проведенной за ломберным столом, а проснувшись, принимал посетителей в домашнем халате и турецких тапках с загнутыми носами.

Пятном на их отношениях (точнее, на отношении Пороха к их отношениям) была женитьба Кучера на Марине Кочумасовой, девушке небесной красоты, которая отвергла притязания Пороха, чтобы через год выскочить замуж за Бублика. Бублик не знал о чувствах товарища к его будущей жене, но сути дела это не меняло. И опять Порох не винил в этом никого, кроме себя, своей нерешительности и перста судьбы, ткнувшего по оплошности не в ту сторону.

Он вдруг поймал себя на мысли, что не задал Бублику ни одного вопроса. И обратиться к нему, как раньше, «старина» или «дружище» почему-то язык не повернулся.

Дома за ужином он ничего не сказал о неожиданном визите старого друга.

Был день зарплаты. Порох молча передал жене пухлый конверт, из которого она по заведенной традиции будет ежедневно выдавать ему ту

сумму, что сочтет допустимой и достаточной, исходя из понятного ей одной семейного бюджета. Когда у него не было ни гроша и он донашивал вещи из отцовского гардероба (а отец не был модником), она и тогда давала ему в день рублей по пятьдесят из загадочного чулка, припрятанного на черный день. Задумываться об этом чулке Пороху не хотелось: так оно и повелось.

— Ты не должен позволять ему приходиться домой пьяным, — сказала жена, ставя перед ним тарелку с тушеными баклажанами. — Он уже год как курит, а теперь еще и поддавать начал.

— Но он студент, — возразил муж. — Студенты всегда выпивают.

— Да нет, не всегда. В основном когда растут без отца.

— Ну что ты говоришь?

— А что, не так? Я-то тебя почти не вижу, а он и подавно. Ты растворился в своем Селявине.

Порох положил на стол вилку, выпрямился, по скулам прокатились желваки.

— Не Селявин, а Селевин, — четко процедил он сквозь зубы. — Нет такой фамилии — Селявин.

Она зацепила его насмешливым взглядом:

— Ох ты боже мой! Селевин, Селявин — какая разница? В газетах так и так пишут.

— Ты ничего не понимаешь. — Он стиснул зубы и с силой выдохнул через нос. — Это же политика. Они специально искажают фамилию, чтобы приучить людей насмешничать.

— Кто — они?

— Враги. Наши враги.

— Ладно, ешь, — примирительно махнула рукой жена. — Пусть Селевин.

— Не пусть, а — Селевин.

— Хорошо, Селевин.

Она присела напротив, сложила руки перед собой, что всегда означало готовность к серьезному разговору.

— Вот что, надо подумать, куда Сережку на летние каникулы отправить. Он хотел в Прагу, но там такой разврат. Все студенты куда-то едут, в основном за границу. Такой у них вуз понтовый. Я вычитала, в Англии есть международный лагерь, языковой, вроде скаутского. Это дорого, зато спокойно. И полезно.

Порох пожал плечами: дескать, можно и в Англию.

— А у Лешки плоскостопие. Вчера признали. В субботу ты мне нужен: повезем его в Филатовскую. У мальчика пятки болят. Возьми направление из вашей поликлиники, с ним лучше будет.

Когда утром он, как всегда, первым пришел в департамент, в его почте уже висела заявка Кучера на получение гранта. Прочитав ее, он нашел три орфографические ошибки и, в общем-то, здравую идею, вполне пригодную для того, чтобы претендовать на поддержку его ведомства. Мысленно согласившись с аргументами в пользу проекта и оценив шаги

к его реализации, он понял, что это возможно, тем более что сумма запрашивалась относительно скромная. Затем закрыл почту и погрузился в изучение должностных бумаг.

Пришла секретарша; он слышал, как она копошится в прихожей; потом отворилась дверь и она внесла поднос, на котором был кофе и свежие газеты. Помощница перечислила запланированные на сегодня дела. Увидев на столе оставленные с вечера чашки, забрала их. Он оторвался от бумаг и бездумно уставился на ее плотно обтянутый серым шифоном зад, вместе с короткими мускулистыми ножками на длинных каблуках напоминавший энергичный зад носорога. Даже вообразить себе шлепок по нему было невозможно, более того, кощунственно, к тому же такая попытка грозила непредсказуемым исходом. Порох покачал головой, вздохнул и вновь занялся документами.

Ровно через пятнадцать минут после начала рабочего дня позвонил Бублик.

— Старик, ты получил мою бумаженцию? — послышался веселый голос.

— Да, — ответил Порох.

— Ну что, ну как — сгодится? — не унимался Бублик. — По-моему, это реально.

— Вполне, — подтвердил Порох. — Нормальный документ.

— Вот и ладно. — Бублик удовлетворенно хмыкнул. — Я на тебя рассчитываю, старик.

— Не по телефону, не по телефону, — поспешно остановил его Порох.

— А?.. А, ладно. Когда мне к тебе? Можешь поскорее? Честно говоря, у меня — край. Да еще в карты продул.

— Я тебе сообщу. Неделя-другая. Необходимо доложить начальству.

— Ты сам начальство.

Смех какой-то заискивающий.

— Ну ладно, пока. Созвонимся. — И он положил трубку.

Как полная луна в небесах, в голове повисла фраза: «Необходимо доложить начальству». А ведь, действительно, он должен, обязан доложить Селевину о своем намерении выделить такой грант. Разве не так? Почему из сотни заявок он выбрал эту? Кто такой Кучеров? И потом, это «я на тебя рассчитываю». Прямо по телефону!

За две недели Бублик позвонил четырежды, и каждый раз Порох терпеливо заверял, что позвонит ему сам, если что-то прояснится. Потом Бублик исчез и стойко не напоминал о себе около месяца. Порох не думал о нем. Селевин лютвал: близилась отчетная сессия. В подведомственных департаментах царил дух осады; совещания взрывались бесцеремонными разносами и истерическими увольнениями; люди носились по коридорам, как бойцы в траншеях.

— Какого черта вы спихиваете ответственность друг на друга? — гремел голос Селевина в полубормочной тишине актового зала. — Мне этого не надо! Сейчас главное — отчетность. Предельно выверенная, до



копейки. Как вы знаете, в Счетной палате новая метла. Попрошу вас учесть это обстоятельство и мобилизоваться. Вас, вас и вас — особо. Это не значит, что мы должны остолбенеть и заморозить нашу работу. Поменьше бюрократии, коллеги, побольше воображения. Главы департаментов — не замы, подчеркиваю, а главы! — несут персональную ответственность за качество исполнения. Слышите? — Его глаза пробежали по рядам сонно напряженных лиц. — Хотя кому я это говорю...

«Сейчас... сейчас он обрушится на меня», — холодея от какого-то смутного восторга, думал Порох, сидевший по левую руку от начальника с блокнотом, открытым для записей.

— Да, Андрей Владимирович, я про вас говорю.

«Уволит!» — пролетело в голове. Порох не пошевелился, но весь как-то окаменел.

— Вы возглавляете такой важный департамент, а-а... выглядите как старый пеликан!

По залу прокатилась волна оживления. Порох энергично закивал, нисколько не тяготясь привычной ролью громоотвода.

— Не обижайтесь, но ваш костюм пошит в обувном подвале на Малой Конюшенной. Я плачу вам достаточно, чтобы вы могли позволить себе хороший вкус. Кстати, для вашего ведомства хороший вкус — это, по сути, служебная обязанность.

Вокруг захихикали. В этом был фирменный стиль селевинского общения с подчиненными: он считал, что резкие контрасты стимулируют творческий тонус в коллективе. Поэтому никто не удивился, что уже в следующем пассаже он, не стесняясь в выражениях, в пух и прах разнес работу департамента Пороха.

— Как вообще можно довести проект до реализации, протащить через все комиссии и проморгать, что у маршала Жукова не было медали Героя Социалистического Труда! Не было! Не наградили его! Грамотеи! Надо было заставить вас лично спиливать ее с памятника, на глазах у людей, напильником и за свой счет. Потому что вы и только вы обязаны контролировать этих идиотов! Сколько еще таких косяков, я вас спрашиваю? Сколько? Имейте в виду, терпение мое не безгранично!

Порох принимал это стойко, смиренно, покорно, с глубоким, тихим согласием. Он молчал и кивал, кивал и молчал с чувством верности, которое выше обид. И верил, что его не уволят.

Стоя вечером под душем, он шлифовал строчки своего весьма остроумного романа, который ночами писал в Интернете, прикрывшись ником Амбал. Роман был тайной радостью, отдушиной. Больше всего он боялся, как бы шеф не узнал о его увлечении.

«Если пойти по улице, укутавшись в одеяло, тебя загребут. Но если, закутавшись в одеяла, на улицу выйдут все, загребут того, кто будет в брюках?» Мысль ему не понравилась, он выключил воду и стал вытираться.

Было слышно, как жена говорит по телефону:

— Да нет, горные лыжи в прошлом. Когда подруга сломала нос, я с этим покончила. Рождество тем не менее мы встретим в горах. Ленку

Куркову помнишь? Вот она зовет в Альпы — загорать, пить вино и смотреть, как катаются другие. А вы куда? А-а... Как она? Приветик ей от меня. Она у тебя миленок. Надо нам встретиться. Чем вы заняты темными, унылыми вечерами?

Он вышел из ванной. Жена посмотрела на него, как ему показалось, отчужденно и протянула телефон:

— Это Бублик. Я взяла твою трубку. Он долго звонил. Почему бы нам с ними не повидаться?

Голос Бублика в этот раз не звенел оптимизмом. Он извинился за поздний звонок и попросился на встречу.

— Но мне нечего сказать.

— И все-таки...

Ничего не оставалось, как назначить встречу на утро.

— Мы собрались в Альпы? — спросил он, укладываясь в постель.

— Не знаю, — ответила жена сухо. — Ничего еще не решила. —

И погасила свет.

Утром он задержался на комиссии по памятникам, и, когда пришел наконец в кабинет, Бублик уже дожидался его, сидя спиной к двери за столом для совещаний, на котором аккуратно разложил какие-то бумаги. Бросив быстрый взгляд, Порох отметил в нем сходство с воробьем из-за взъерошенных на затылке рыжеватых волос и узких опущенных плеч. На шум открывающейся двери Бублик вскочил, скомканно поздоровался и сел обратно, явно готовясь к обстоятельному разговору. С озабоченным видом Порох прошел к столу, порылся в ящиках, затем перешел к шкафу, покопался там и вернулся обратно.

— Слушай, Бублон, — сказал он, — пойдем покурим. Курить хочется — сил нет. Надень куртку, там холодно.

Когда они шагали по коридору, Бублик спросил:

— Андрюха, ну что, как там моя заявка? Больше месяца прошло.

— Тише, — вдруг зашипел Порох и будто споткнулся, тыча пальцами в разные стороны. — Чего ты кричишь? Тут везде уши. Свистнут потом, что я покровительствую. — И громким голосом, адресуясь, по-видимому, к этим самым ушам, проговорил: — Ваша заявка на рассмотрении. Но я, скорее всего, не поддержу. Не поддержу.

Можно было подумать, что он кривляется, однако он не кривлялся.

Во дворе закурили. Осень перестала быть томной, изо рта валил пар. Прошло не так много времени, а Бублик заметно изменился, точно выдуло из него вальяжную самоуверенность, как воздух из шарика: в нагрудном кармане уже не красовался платочек, сорочка была очевидно несвежая, узел на галстуке завязан небрежно, да и во всем облике сквозила какая-то неопределенная растерянность. Даже лицо как будто помялось, вроде бумажного листа, на котором посидели. Рядом с ухом запеклась кровь от пореза.

— Я уже говорил, — бубнил Порох, избегая смотреть на Бублика, — что документы отдал шефу. Точка. Пока он сам не поднимет этот вопрос, соваться к нему бессмысленно, только хуже будет. Мое положение хлипкое.

— Может, все-таки спросить? Ведь там нет ничего подозрительного.

— Я же сказал: если хочешь получить грант — не отписку, а грант! — надо дожидаться, пока шеф отреагирует сам. Тогда я получу распоряжение и сделаю все как надо.

— А если он не отреагирует?

— Тогда я его спрошу.

— Не понимаю. Прости, не понимаю, — робко возражал Бублик, помогая себе слабой жестикуляцией. — Ты же руководитель, высшая инстанция. Почему ты не можешь порекомендовать сейчас? Что случится, если ты лишней раз напомнишь Селе... шефу о нужном, объективно полезном проекте? Ведь вы их пачками выдаете, каждый месяц, я знаю, и на каждом стоит твоя резолюция. Прости, я не лезу в ваши дела, но если бы речь шла о непрофильных расходах, тогда другое дело, было бы чего опасаться, а тут все чисто. То, чего я прошу, зависит только от вашей... от твоей доброй воли.

Порох досадливо сморщился. Ему не нравилось, когда кто-то со стороны совался в его конюшню. Бублик проявлял несвойственную ему настойчивость, поскольку, видимо, полагал, что у него есть на это право. Да было ли оно?

подавив желание щелкнуть его по губам, Порох сокрушенно покачал головой:

— В общем, я уже сказал: документы у шефа. Нужна резолюция. И хватит об этом. Будем ждать.

Он взглянул на Бублика и удивился его жалкому виду.

— Поверь, — сказал он, смягчившись, — я сделаю все, чтобы ты получил этот грант. Но сделаю все правильно. Наверняка.

Бублик благодарно закивал, лицо исказила вымученная улыбка.

— Ну вот... — Порох глубоко затаился, рассчитывая ускорить расставание. — Осталось подождать. Не больше месяца.

— Месяца?! — Бублик не мог скрыть испуга. Голос его дрогнул: — Может, пораньше как-нибудь?

— Пораньше не получится, — отрезал Порох.

Рука Бублика неуверенно потянулась к голове, чтобы пригладить волосы, и застыла в растерянности на полпути. Он опять попытался улыбнуться, однако вышло не очень убедительно.

— И все-таки... все-таки я прошу тебя ускорить это дело, — сказал он глухо, точно преодолевая в себе какое-то сопротивление. — Понимаешь, у меня осталось мало времени. А то, что осталось, играет против меня. Так получилось... что ты моя последняя надежда. Если в ближайшее время я не получу этот чертов грант, обломки моего бизнеса погребут под собой и меня, и мою семью. Признаюсь, под него я взял еще один кредит, заложив последнее. Он поможет мне продержаться. Но недолго.

Бублик замолчал. Молчал и Порох. Тогда он продолжил:

— Я никогда не просил тебя ни о чем, а теперь прошу. Такое впечатление, что все напасти мира сошлись в одной точке. И эта точка здесь, — он похлопал себя по голове, — на моей макушке. Банк лопнул. Счета заморожены. Каждый день я пробиваю новое дно. Поэтому сделай что-нибудь, чтобы ускорить результат. Мы же друзья.

— Да, — с облегчением подытожил Порох, откинув окурочек. — Сделаю что могу. Теперь извини, у меня куча дел.

— Как, уже? — слегка оторопел Бублик. — Ну ладно. Может, встретимся как-нибудь, забьем партейку, поужинаем? Ведь у меня с сыном проблемы. Я тебе расскажу.

— Прости, Бублон. Не сейчас.

— Да, я же хотел тебе показать! — спохватился Бублик и протянул папку с бумагами.

— Что это?

— Другие мои проекты. На всякий случай. Я принес...

— А, давай сюда. Посмотрю. Ну все, я пошел.

И Бублик остался стоять на улице перед захлопнувшейся дверью. Этот трюк с «покурить во дворе» Порох проделывал всегда, когда опасался, что ненужная встреча затянется. Сейчас был именно тот случай.

Дело в том, что письмо Бублика с заявкой на грант Порох не показывал никому. Нет, его нельзя было упрекнуть в бессердечии. По крайней мере один человек знал, что это правда, и этим человеком был он сам. Пройдя школу бедности, он доподлинно знал цену обстоятельствам. После чуда с явлением спасителя в лице Селевина Порох стал относиться к ним почти религиозно, беспрекословно подчиняя все свои действия мистическому переплетению причинно-следственных связей, от которых зависела его судьба. Он не противоречил, а лишь наблюдал за ними с настороженностью быка на животноводческой ферме. Потому-то в служебном рвении он был аккуратен и придерживался принципа стакана, наполненного до краев, который надо пронести как можно дальше, не расплескав ни капли.

Каждый чиновник знает, чем грозит инициатива. Склонный к абсолюту, Порох тоже это знал. Выйти с заявкой Кучера наверх означало гарантировать своим именем чистоту проекта, а решить вопрос самостоятельно не позволяло как раз именно то, что они с Бубликом были друзьями. Если об этом станет известно, Пороха обвинят в протезировании. Самое же страшное, что и в том, и в другом случае может возникнуть подозрение: а не пахнет ли эта история откатом? Только тронь — и все покатится в тартарары.

Порох голову сломал, как помочь другу, но ситуация оборачивалась цугцвангом. С двумя детьми и женой на шее он рисковать не мог, не имел права. Слишком свежа была память о годах без денег, без надежд, когда казалось, что это сон и никто, никто не поможет. Он и сейчас отчетливо помнил: просыпаешься ночью — и думаешь лишь о том, когда все это закончится. Все, включая жизнь.

Конечно, раньше Бублик спасал его как умел, главным образом с помощью денег, вес которых он почувствовал, видимо, только теперь. Но что он мог сделать еще, кутежник и мот с клеймом хронического повесы? Помогая тогда, он, в сущности, не терял ничего, а вот Порох сегодня, сделав опрометчивый шаг, мог потерять все и больше уже не подняться. Что было раньше, покрылось пылью времени, а сейчас речь шла о будущем.

В том, что они редко общались и еще реже виделись, был повинен исключительно Порох. Он, в общем-то, любил этого легкомысленного

пижона с вечной сигарой в зубах, который напоминал ему о лучших годах той жизни, что он отринул, забыл, зачеркнул. И сделал это дважды, вполне осознанно, в итоге серьезного обдумывания, замешанного на мистическом страхе перед будущим: когда женился на недоступной Ане Ворошиловой, родившей ему двоих сыновей, и когда появился Селевин. Так ему казалось — что на крутых поворотах необходимо что-то кардинально менять. Он менял отношение к своему прошлому, отказываясь от него — вместе со всеми людьми, его населяющими.

Оттого-то в сложившейся пиктограмме дом — работа — жена — дети — Селевин Бублику, равно как и другим друзьям-приятелям, теперь места не было.

Ночью он добавил в свой интернет-роман следующий пассаж: «Если б рыбы пили пиво, чем бы они закусывали? Вяленым, соленым человеком? Сидели бы кружком за столом, разминали человечка, стучали им по столу и говорили: “О, какой человек сегодня жирный. С икоркой? Размять-ка его получше”».

Хмурым ноябрьским вечером Порох остался в ведомстве один: накануне праздника всех отпустили раньше, Селевин был в зарубежной командировке, телефоны молчали. По стеклам скучно ползли капли дождя. Темнело. С улицы проникал мерный шум города. Не найдя, чем заняться, Порох решил, что тоже вправе уйти, собрал вещи, погасил свет и плюхнулся в кресло, придавленный внезапно навалившейся усталостью.

«Этого следовало ожидать», — подумал он, свесив голову. Ехать домой не хотелось. И оставаться не было никакого смысла. Пришла мысль: как мало в его жизни радости.

«Человек создан для радости, как птица для полета», — вспомнил он Короленко, перепутав радость со счастьем. Пустые слова. Он знал, что жена на открытии фотовыставки подруги в центре дизайна на Мясницкой. Старший сын наверняка в праздничном загуле, младший — у бабушки. Порох решил ехать на Мясницкую, куда его тоже звали, правда, без всякой надежды и желания видеть.

Веселье было в самом разгаре. Музыканты вырядились в гавайцев, но играли джаз. На них обращали внимание подвыпившие девушки. Они хохотали и пытались танцевать. Бесстрастные официанты предлагали шампанское и водку. В зале висел плотный гам. По лабиринту из стендов с гигантскими фотопортретами известных артистов блуждали сами артисты, создавая впечатление дежавю. Им нравилось внимание прессы, нравилось делать вид, будто они не замечают, что их узнают, шумно обниматься, болтать о своих достижениях, поминать запанибрата других известных персон, галдеть и шутить так, чтобы их слышали. Это были молодые актеры, они воспринимали себя победителями.

— Слава богу, научились делать пати, — сказала женщина в бархатных перчатках до локтей, прихлебывая шампанское.

Порох обернулся и рассеянно согласился:

— А? Да-да, конечно.

Чувствуя себя инородным телом в богемной среде, он двинулся вдоль циклопических фотографий пористых лиц в надежде отыскать жену. Сама фотохудожница, а по совместительству домохозяйка при состоятельном муже, сверкая бриллиантами, фланировала по залу в окружении друзей и родственников. Порох помахал ей рукой. Улыбка на мгновение слетела с ее губ, но тотчас вернулась на место.

— Где Аня? — чуть ли не прокричал он.

— Да где-то здесь, — ответила она неопределенно. — Там сад, там фуршет. Ты поищи ее где-нибудь там. — Потом подумала и крикнула: — Андрей! А может, она ушла?

Чтобы окинуть взглядом весь зал, он поднялся этажом выше и очутился в длинном темном проходе, отделенном от атриума высокими перилами. Пошел вперед, внимательно оглядывая копошащуюся массу гостей. Сразу за поворотом за широким стеклом обнаружился зимний садик, залитый серебристым светом. Он замер. Кровь прихлынула к вискам. В саду он увидел жену вместе с Полозовым. Он узнал его. Молодой, моложе Анны, амбициозный солист из какой-то там оперы, тенор, красавчик.

Осторожно, будто шаги его могли быть услышаны, Порох приблизился. За стеклом о чем-то спорили. Анна удерживала Полозова за локоть. Неожиданно он вырвал руку, вскочил и стал на нее кричать, размахивать руками, встряхивать ухоженной шевелюрой. Она тоже вскочила и прижалась к нему. Он с силой расцепил ее руки. Порох попятился, сливаясь с темнотой, потом повернулся и, как пес, которого окатили холодной водой, почти побежал прочь.

Это событие выбило почву у него из-под ног. Все зашаталось, все, что он строил, чем жил, отказывая себе в простых радостях, вмиг сделалось зыбким, неустойчивым. Зная легкомысленность жены, он недолго сомневался в ее верности. Но одно дело — знать наверняка и другое — быть не до конца уверенным. По здравом размышлении Порох решил, что второе ему подходит лучше, и, когда за полночь она наконец вернулась, усталая и расстроенная, он не задал ей ни одного вопроса. А когда среди ночи она вдруг разрыдалась, с судорогами и задыханием, утешал ее, прижимая к груди, жалея и остро желая плюнуть ей в лицо, избить кулаками. Но ничего не сказал, ничего не сделал, затаился. На другой день они поехали в гости к ее родителям.

Время шло, Бублик звонил все реже. Порох страдал от этих звонков. По-прежнему ни о чем не спрашивал и повторял, как мантру, устало и терпеливо: «Все будет, надо подождать». Все чаще он игнорировал звонки Бублика или ссылался на срочные дела и не дающие продохнуть совещания. Бублик верил и так же устало и терпеливо перезванивал вновь. И напрасно, поскольку ничего в иерархическом мировоззрении Пороха не изменилось и все заявки и предложения Бублика так и лежали на дне ящика служебного стола.

Как-то уже глубоко в декабре Порох наткнулся на Бублика, мерзнувшего перед дверями департамента. Близорукий Порох прошел бы мимо, если бы тот не окликнул его.



Падал снег. Еще не рассвело, однако небо уже окрасилось бледной синевой и горящие на улицах фонари казались лишними.

Бублик заметно осунулся, потух. Из-под дорогого кашемирового пальто торчал мятый воротник сорочки, волосы спутались, бледные щеки покрывал трехдневный пух, на губах застыла бессмысленная улыбка. Таким жалким своего друга Порох не видел никогда.

«Вылитый воробей», — подумал он.

— Ты чего тут? — испуганно спросил Порох. — Идем в кабинет.

— Не-е, не надо, не надо. Необязательно, — затряс головой Бублик, пожевываясь.

— Что случилось?

— Да ничего не случилось. Вот зашел узнать, как мои дела. У тебя телефон не отвечает.

Порох посмотрел на часы и вздохнул:

— Да все по-прежнему. Ни шатко ни валко. Ждем.

— Ну да. Ну да. — Глаза Бублика затуманились. Он шмыгнул носом и сказал: — Я, наверно, не получу этот грант.

— С чего ты взял? Я же говорил, у нас это долго. Конец года, аврал. Ты не представляешь, какая тут бюрократия. Но я спрошу. Обязательно.

— Ну да, — повторил Бублик. — То есть — ждать...

— А куда деваться?

Пороху страшно захотелось пойти и закрыться у себя в кабинете.

— Кстати, я уже спрашивал.

— И что?

— А ничего. Ничего не сказал. Смолчал. Мимо ушей пропустил. У нас сейчас аврал, конец года. Отчетность и все такое. Но я его знаю: он все услышал. И запомнил. И ответит, когда посчитает нужным.

— Стало быть, это не скоро, — обреченно подытожил Бублик, адресуясь больше к себе, чем к Пороху.

— Не знаю. Спрошу, а там... Может, завтра. А может, нескоро. Как только получу распоряжение, оформлю в первую очередь, сразу.

Бублик засунул окоченевшие руки в рукава пальто. Внезапно лицо его осветилось обычной для него безмятежной улыбкой.

— А ведь я и раньше попадал в такие истории, — сказал он. — Однажды проигрался в пух, последние деньги снял, чтобы расплатиться. Три дня играл. Утром вышел на свежий воздух. Мама моя! Башка кружится, жизнь звенит, а я голый.

Он сделал последнюю затяжку и выплюнул окурочек.

— И знаешь, что я купил на последние деньги? Дорогуший костюм в салоне «Луи Виттон».

Бублик залился икающим смехом.

— М-да, — изрек Порох.

— Теперь это так, фольклор. Теперь это вряд ли...

Пальто, в которое он кутался, казалось, проглотило его, в глаза бросался один только красный нос с повисшей на его конце каплей.

Он помолчал, потом тихо сказал:

— Все продано. Подчистую.

— Может, тебе денег дать? — неуверенно выдавил Порох и полез за бумажником. — Я могу.

— Не надо, — остановил его Бублик. — Та сумма, что спасет отца русской демократии, не поместится в кошелек. В конце концов, я всегда играл. Так не бывает, чтобы везло постоянно. Если бы не семья, я бы выкарабкался... — Голос его надломился. — Сын... сын болен. Почку надо менять.

— Ух ты! — сочувственно сморщился Порох и, не зная, что сказать, пожаловался: — У моего младшего тоже. Плоскостопие.

— Все клиники обегал. Дорого это, брат, сегодня — болеть. Очень дорого.

Он задумался. Порох увидел, как ссутулились его узкие плечи, и сердце стиснула тяжелая жалость. Бублик прощально взмахнул рукой, задев его по плечу, и пошел было прочь, но напоследок обернулся:

— Ты знаешь, Андрюха, никогда бы не подумал, что окажусь в такой заднице...

Порох вернулся в кабинет взволнованный. Он открыл ящик, достал бумаги Бублика и погрузился в их изучение. Закончив, медленно снял очки, посидел немного, о чем-то напряженно думая, и убрал всё обратно.

Близился Новый год, а они с женой так и не поговорили о том, где будут его встречать. Анна ходила мрачная, раздражительная, часто с заплаканными глазами, вздрагивая от каждого телефонного звонка. Он не лез к ней с вопросами и изо всех сил старался, чтобы она чувствовала его плечо и заботу. Если хорошенько подумать, то что, собственно, случилось? Какой-то нервный вывих, о причинах которого он мог догадываться, но не знать. А если не знаешь, то стоит ли принимать решения, ведущие к роковым поступкам? Тонкая нить, удерживающая машину его жизни возле причала, гудела, как струна контрабаса.

В канун католического Рождества Венская опера привезла в Москву вагнеровского «Лоэнгрина». Единственный спектакль давали в Большом театре. Ажиотаж зашкаливал. Билеты практически не поступали в открытую продажу, а те, которые предлагались с рук, стоили астрономически дорого. Департамент Пороха получил несколько контрамарок, и вечером в субботу они с женой отправились в театр.

Анне нравились такие события, претендующие на светский статус. Роскошные лимузины выстроились в очередь на подъезде к театру; парад тщеславия имел бурное продолжение в променуаре, где богатство и роскошь соперничали с популярностью и стилем; грохот голосов резонировал под сводами театра, пытаясь вырваться наружу; голову кружили замысловатые коктейли из дорогих ароматов. Безотчетное возбуждение охватывало всякого, кому посчастливилось сюда попасть.

Вдруг Анна вспыхнула и остановилась, забыв про мужа. В нарядной толпе прямо на них шел Полозов, держа за руку худенькую блондинку, судя по походке, балерину. Как всегда, импозантный, в какой-то немислимой ливрее с золотыми галунами, он оживленно раскланивался, шутил, о чем-то перешептывался со спутницей. Задержался возле пожилой

пары, скрестив руки на груди, с серьезным видом выслушал их, что-то ответил и захохотал, откинувшись назад, встряхивая своими чудесными русыми волосами. Анну он не заметил.

В ложе они сидели позади четы Селевиных. Сам Селевин, увидев Анну, неожиданно взял ее за руку и поцеловал в щеку.

— Вы удивительно красивы, Анечка, — сказал он, мягко улыбаясь. — Вашему мужу завидуют ангелы.

Приторность комплимента не помешала бойкому обмену репликами насчет предстоящего спектакля, к чему Порох не привык и оттого был чрезвычайно взволнован.

В середине прощания Лоэнгринна с лебедем по щекам Анны потекли слезы. Порох заметил. Он осторожно накрыл ладонью ее руку. Она продолжала сидеть неподвижно, не убирая руки. Тогда он нагнулся к ней и еле слышным шепотом спросил:

— Мы с тобой не расстанемся?

Она долго молчала, как будто не услышала вопроса, но потом ответила ровным, спокойным голосом, не поворачиваясь к нему:

— Успокойся. У нас дети. Все будет по-прежнему.

И сжала его ладонь своей крепкой ручкой.

За несколько дней до праздников секретарша вошла в его кабинет и положила на стол конверт.

— Ваши билеты, — сказала она. — Летите до Вены, оттуда трансфер до Бад-Гаштайна. По-моему, пара часов. Здесь же сертификаты на проживание в отеле «Вайсмайер», на два номера рядом. Пять дней. Две экскурсии по окрестностям, как вы просили. И автомобиль марки «Опель» на три дня. Квитанция в конверте. Спа-салон и бассейн входят в стоимость отеля. Что еще? Да, в ресторане «Лаура» заказан стол на четыре персоны 31 декабря до утра. Пожалуй, все.

— Спасибо, — сказал Порох, убирая конверт в портфель и едва сдерживаясь, чтобы не запеть от радости.

Секретарша задержалась в дверях:

— Да, вас там ждет женщина.

— Где? — не сразу понял он.

— Там, в приемной. Вы ей не назначали, но она сказала, что вы ее примете.

— Как ее зовут?

— Она не назвалась. Что ей сказать? Вы ее примете?

— Да, — неохотно кивнул Порох. — Пусть войдет.

В следующую минуту он вскочил с кресла, потому что в комнату, неуверенно ступая, вошла Марина Кочумасова. На ней был красный жакет, черная водолазка и шерстяная юбка чуть ниже колен. Зимняя одежда не могла скрыть удивительную стройность ее тела. А лицо... Лицо ее стояло перед мысленным взором всегда, с тех самых пор, как умолял ее остаться с ним. Те же резко очерченные скулы, нервный изгиб капризных губ, и глаза, как и раньше, прямо-таки обволакивали изумрудной зеленью.

Порох был потрясен. Меньше всего он ожидал увидеть Марину в своем кабинете.

— О, какие у тебя хоромы! — сказала она, озираясь по сторонам. — Сколько места.

Она слегка грассировала. Он с ума сходил от того, как она выговаривает «р».

— Так много разных штук. — Она указала на астролябию: — Вот это что такое?

— Это? — Он прокашлялся. — Это старинный прибор. Для навигации и прочего. Астролябия. Ей не меньше двух тысяч лет. Ну, это, конечно, модель. Ты садись.

— Нет-нет, я на минуточку.

— Что-то случилось? — осторожно поинтересовался он.

Она приблизилась. Он видел крошечную родинку у виска, слышал свежий запах ее духов.

— Андрюша, милый, — обратилась она к нему, очевидно волнуясь, — я пришла, чтобы задать один-единственный вопрос: ты выдашь Эдику этот проклятый грант или не выдашь?

Ее изумрудные глаза твердо уперлись в него, и Порох засуетился:

— Я уже говорил ему: надо ждать. Тут ничего не поделаешь. У нас субординация и без распоряжения главного ничего нельзя сделать. Но это ничего не значит. Я буду спрашивать, настаивать, и рано или поздно...

— Эдик ведет себя неадекватно. — Она не слушала его, не слушала. — Он верит: Андрей сделает, Андрей свой, вот-вот будет грант и все устроится. Ничего не делает. Сидит дома и ждет.

— Я понимаю.

— Ни черта ты не понимаешь! — вдруг вскрикнула Марина и зажала ладонью рот.

В глазах ее застыло отчаяние. Влажным шепотом она продолжила:

— Вытащи нас, умоляю. Ты наш друг, друг Эдика. Ты жил у нас, когда тебе было трудно. Этот грант — наше проклятье. Под него мы взяли кредит, заложили дачу. А теперь у нас нет ни денег, ни этого гранта, будь он проклят совсем! Мы продаем квартиру, все продаем, ты это понимаешь?

Она схватила себя за голову и села на стул.

— Нашему сыну нужна почка. Ты представляешь, сколько это стоит?

— Марина, — взмолился Порох.

— И это нужно сейчас. Срочно. У нас больше нет времени. Мы не можем ждать, пока твое начальство что-то там надумает. Ты — последний наш шанс.

Порох одеревенел, с усилием выдохнул воздух через нос и сказал:

— Я делаю все, что могу.

— Это правда?

— Да.

Некоторое время Марина смотрела на него словно впервые. Затем встала и подошла к нему, глядя в глаза. Порох не мог отвести взгляд и чувствовал, что теряет голову.

— А ведь ничего ты не сделаешь, Андрей, — тихо и внятно, с обреченной уверенностью в голосе произнесла она. — Ничего не получит Эдик... Одной перчаткой двух рук не согреть, правда же?

Порох молчал.

Красивый рот ее изогнулся в усмешке. Невесомой ладонью она погладила его по щеке, по губам, по подбородку. Легонько ударила кулачком в грудь. Потом она шагнула к двери, но обернулась.

— Я хочу, чтобы ты знал, Андрей, — сказала Марина ровным тоном, и лицо ее как будто посветлело. — Я люблю его. Я так сильно его люблю, что не могу об этом говорить. самого лучшего, самого замечательного, самого веселого. И такого слабого. Это чтобы ты знал. И я не брошу его. Ни за что.

В испачканное непогодой окно он смотрел, как уверенной, гибкой походкой она пересекает двор. Рука сжалась в кулак. Кулак обрушился на подоконник.

— Что вы от меня хотите? — тихо взвыл Порох. — Что вам всем от меня нужно? Зачем вы ко мне ходите? Почему вы не отстанете от меня? Оставьте меня в покое! Оставьте меня! Оставьте!..

«Если сравнить Россию с баней, то топить ее станут газом, а банщиком будет Газпром. Такая судьба», — появилось вечером в интернет-романе Амбала.

А через пять дней «Боинг-737» «Австрийских авиалиний» уносил Пороха с женой и сыновьями к предгорьям Альп. Чтобы не ссориться, они договорились предоставить каждому максимальную свободу выбора — куда идти и чем заниматься, но, удивительное дело, все четверо, не сговариваясь, провели время вместе, наслаждаясь обществом друг друга. И если отец желал понежиться в радоновых ваннах, то сперва сыновья, а следом за ними и мать отправлялись к источникам. Они даже подзагорели на высоте полутора тысяч метров, хотя к лыжам так никто и не притронулся. Правда, на санках пару раз все-таки скатились, оба раза кувыркнувшись на финише.

«Лениться так лениться», — решил глава семейства, и эта максима понравилась всем. Они постоянно хохотали, подтрунивали друг над другом. Потягивать пиво на лунных террасах или кутаться в меховые мешки, завтракая на свежем воздухе, и наблюдать, как восходит солнце, — вот самые яркие впечатления от Австрии. На машине они объездили всю долину, причем за рулем побывали не только Анна и старший Сергей, но и Алешка. Отец с удовольствием командовал, однако сам за руль не садился. Его отношения с женой претерпели глубокий перелом. Они словно заново открыли друг друга, и взаимный интерес вспыхнул с неожиданной силой.

По утрам Андрей смотрел на спящую Анну и не верил, что это его жена, и понимал, что она тварь, подлая тварь, не изыскивая в себе сил простить, он любил ее еще сильнее, а Анна не могла представить, что кто-то из троих мужчин вдруг исчезнет из ее жизни.

Возвращались они так же весело, как уезжали, никто не жалел о том, что покидает этот райский уголок земли, надеясь сюда еще вернуться...



Жизнь побежала своим чередом в заботах и волнениях. На фоне установившегося в семье благополучия тревога Пороха за свое будущее, а значит, и за будущее родных только усилилась. Ему мнились сотни угроз, и главной представлялся Селевин, который в действительности меньше всего думал о том, как скovyрнуть Пороха с насиженного места. Порох уже не знал, чем угодить шефу, и если бы тому понадобилось, чтобы на заседании глав департаментов Андрей Владимирович сплясал на столе матросский танец, то он не задумываясь влез бы на стол и сплясал матросский танец.

В сущности, у всякого солидного руководителя под мышкой должен жить такой человек.

Вот как раз на таком совещании загорелый и расслабленный после отпуска Селевин запустил длинную речь об итогах года прошедшего и перспективах наступившего. Между прочим, обращаясь главным образом к бухгалтерии, он заметил, что по целому ряду статей обнаружилось неисполнение расходной части бюджета, то есть, проще говоря, выделенные деньги оказались не полностью истраченными.

— Друзья мои, это не просто непорядок. Это о-го-го какой непорядок! И я вам скажу: если мы и дальше хотим благоденствовать, сидя на мешках с деньгами, то так не получится. Не говоря о том, что нам не дадут, Счетная палата может задать резонный вопрос: а с какой такой стати они запросили суммы, которые не могут переварить? Вот хочу обратить внимание хотя бы на департамент Пороха. Вы, Андрей Владимирович, не единственный, но все же: ваш грантовый фонд на четверть не израсходован. Так? Где-то на четверть или пятую часть. Ну, помиуйте, голубчик, вам некому дать, что ли? Где ваши предложения? Есть возможность задним числом оформить заявки. Вы же светский человек. У вас разве нет друзей в мире культуры и искусства, которым нужна поддержка? Разберитесь, Андрей Владимирович. Порешайте вопрос.

— У меня есть! — вскинулся Порох. — Есть!

— Вот и давайте. Флаг вам в руки. А теперь другая тема...

Едва дождавшись конца заседания, Порох бегом помчался в кабинет. За всеми событиями и переживаниями последнего времени он напрочь забыл о Бублике и только теперь сообразил, что тот не звонил ему уже больше месяца. Схватив телефон, он набрал его номер, но номер не отвечал. Он возбужденно походил из угла в угол и набрал опять. Результат был тот же. Тогда он стал рыться в контактах — оказалось, что никаких других номеров Бублика у него нет. До конца дня он звонил Бублику каждые полчаса, телефон не отвечал, и он решил, что номер сменился.

Досидев до шести, Порох прыгнул в машину и помчался к Кучеру. Он не был у него много лет и поначалу даже запутался. Но вот он, дом, точно. Вот и знакомая дверь. Порох нажал на кнопку звонка. Потом еще, еще. Потом позвонил к соседу. Сосед не открыл, а через дверь поинтересовался: чего надо?

— Да вот сосед ваш не открывает, — крикнул Порох. — Не знаете?

— А их нет, — ответил голос. — И где они, не знаю.

— Давно?

— А с Нового года и нет.

Оставалось только звонить. И он звонил и звонил. День, другой, неделю. Постепенно успокаиваясь и забывая...

Поздним вечером, как обычно подзадержавшись, Порох вышел из департамента. В лицо дохнуло головокружительной свежестью. На улице было снежно, но тепло.

«Хорошо», — подумал Порох. Он намеревался уже сесть в машину, чтобы ехать домой, как вдруг его окликнули. Обернувшись, он увидел Сони́на, того самого Лёнчика, с которым когда-то давно уходил в студенческие загулы. С тех пор они не виделись. Однако Порох узнал его, погрузневшего и какого-то заматерелого. Слышал от кого-то, что Сонин по-прежнему дружит с Бубликом. Больше не знал ничего.

— Лёнчик? — удивился он.

Захрустел снег, и Сонин подошел ближе.

— Здорово, Порох, — сказал Лёнчик, не вынимая рук из карманов, и голос его прозвучал неприветливо.

— Ты как здесь? Откуда?

— Да вот шел мимо — дай, думаю, загляну.

— Отлично, — выдавил Порох и посмотрел на часы: — Ух ты, только тут у меня важная встреча...

— Хочешь, — перебил его Лёнчик, — самый короткий анекдот расскажу?

— Ну расскажи, — заранее ухмыльнулся Порох.

Сонин подошел еще ближе и, помолчав, произнес:

— Бублик повесился.

Он хотел уйти, но что-то его удержало. Приблизившись настолько, что чувствовалось его прокуренное дыхание, он оглядел Пороха через ехидный прищур и сквозь зубы сдвинул:

— Да какой ты Порох? Потрох ты. Да к тому же еще и сучий.

Потом Сонин ушел.

А Порох остался стоять возле автомобиля и стоял так долго. Дыхание его постепенно выровнялось. Он медленно натянул на руку перчатку и машинально полез за второй, но в кармане ее не оказалось. Нахмурившись, он осмотрел свои руки, затем снял перчатку и бросил ее под ноги. Над головой что-то хлопнуло и начался вороний переполох. Он сел в машину.

— Куда едем, Андрей Владимирович? — спросил водитель.

Порох достал платок и вытер лоб. Лицо было совершенно мокрое.

Энергично выдавил воздух через нос и сказал абсолютно спокойным голосом:

— Домой. Едем домой... дружище.

Станислав ЛИВИНСКИЙ

БЕЗ ЭСТЕТИКИ

* * *

Все как обычно, без эстетики.
Цыганки, пьяницы, букетники.
Пасхальный дождик обложной.
Вдали шумит канализация,
и тополь рядышком с акацией,
как муж с красавицей женой.

И богомольцы, и безбожники,
и даже хам на внедорожнике
придут сюда в конце концов.
Кто налегке, а кто с лопатками,
чтобы ухаживать за грядками
своих любимых мертвецов.

А после — старые и малые —
они усядутся усталые,
достав яички и лучок.
Постелят «Правду» вместо скатерти,
и будет сын грустить о матери,
дав попрошайке пяточок.

* * *

Генеральские дачи,
а за дачами — лес.
Я на Доне рыбачил,
в воду выпивший лез.

Был на Волге в Казани
и на Каме не раз.
Там церква с образами,
да не то что у нас.

Но, как видно, абрека
мне в себе не изжить.
Я лишь горные реки
научился любить.

Пусть меня участковый
оберет до рубля:
что ты, бритоголовый,
косишь под Шамиля?

Бородища лопатой,
вместо голоса — рык.
Зеленчук диковатый,
дорогой Валерик.

* * *

И однажды становится странно,
как устроена эта Земля.
Отстреляются скоро каштаны,
им на смену придут тополя.

Возле Думы, сменяя друг друга,
были бюсты царей и вождей,
а теперь депутаты с прислугой,
и не встретишь обычных людей.

И становится странно и больно,
как стираются полутона.
На горе Крепостной колокольня
будто чуточку наклонена.

На горе, возле старого храма,
где мурашки бегут по спине,
под горой, в царстве нового хама.
Или это мерещится мне?

* * *

Оно звучит, конечно, круче —
полка Тенгинского поручик.
А я был просто рядовой.
Я принимал совку присягу,
и клялся родине и флагу,
и говорил, что я живой!

В/ч 07128.
Она же — дембельская осень,
тогда Дудаев приезжал.
Его зеленые погоны.
А время что? А время оно.
Сказал — и точно разболтал.

Кавказ... как много в этом слове
своей потратили мы крови.
Ну, тоже были хороши.
Тут все смешалось — кони, люди,
и разговоры о простуде,
и бородатые мужи.

Я говорю, что честь имею.
А чести нет! Я ахиною
такую, в общем-то, несу.
Мой сослуживец, мой приятель,
пусть и чечен, но не предатель,
с плеча снимающий «Осу».

* * *

Для таких же ротозеев,
как, Серега, мы тобой,
понаделали музеев,
слово выдумали: «ой!»

В сердце вырастили травку,
дали облаку маршрут,
чтобы шавку на заправке
мы подкармливали тут.

Чтобы два обычных слога —
ма-ма, па-па, наших нет.

Нам осталось немного,
самый чёрный пистолет.

Потому, что мы, Серега,
излучаем сами свет.
Жаль, что ты не веришь в бога,
говоришь, что бога нет.

* * *

Оставим славу и престол
и заживем в глуши, как предки,
импровизированный стол
соорудив из табуретки.

Прекрасен будет сей вертеп,
когда из яблок молодильных
варенье капает на хлеб,
когда из лезвий кипятивник.

Наш быт без бирок и цены
другие б окрестили адом,
а нам с тобою хоть бы хны,
нам просто большего не надо.

Пока сей мир к любви готов,
и что-то странное в природе,
и от обычных с виду слов
с людьми такое происходит.

Пока жив хоть один пиит —
красив душой, лицом уродлив.
И тополь высохший стоит,
загадочный, как иероглиф.



Галина ЛАХМАН

БРАХМАН, ВОЗНОСЯЩИЙ МОЛИТВУ СОЛНЦУ

Р а с с к а з

1.

Со ступенек крыльца в просвет не до конца зашторенного кухонного окна просматривалась громоздящаяся на столе посуда. Телевизор орал, и по доносящимся из дома звукам можно было определить, какую программу предпочитают смотреть хозяева.

Но на деле это означало: старики спят. Спать под включенные на всю мощь вещательные приборы — привычка, оставшаяся со времен войны, когда за молчанием радио следовали бомбежка или развернутый артобстрел.

Ключ цеплялся за невидимую преграду, дверь никак не удавалось открыть. Губы, нос, подбородок, закрытые грубым шерстяным шарфом, заиндевели. Пальцы приобрели багрово-красный оттенок и, сведенные холодом, не разгибались.

Звонок просяще, пронзительно дребезжал. В тон ему надрывался старенький пекинес Джоня.

И когда вконец продрогшая, запозднившаяся у друзей Варя пришла в отчаяние от бесплодной борьбы с замком, раздался щелчок — и входная дверь открыла промерзший зев.

Из прихожей просматривалась гостиная. Вытянувшись в струнку, на пружинной тахте лежала мать. Узкая полоска бескровных губ подрагивала: старушка вела с собой неслышимую для посторонних ушей беседу. Голос Вари вывел ее из забытья, она очнулась и приглушила звук телевизора, но в сторону дочери так и не повернулась.

Пока Варя расстегивала молнии на сапогах, пекинес Джоня прыгал вокруг нее и старался лизнуть в замерзший нос.

С виновато-расстроеным лицом на кухню прошмыгнул отчим, прямо из-под крана хлебнул воды, юркнул в спальню и закрыл за собою дверь. Это красноречиво свидетельствовало о том, что в отсутствие Вари произошла размолвка.

После окончания института Варя к родителям не вернулась, но про малую родину не забывала. Зарабатывала отгулы, разбивала на части отпуск и по несколько раз в год навещалась в родительский дом. Начальство этому не препятствовало: когда возникал аврал, Варя оставалась на дополнительные работы и не требовала за это никакой платы.

Перебраться к дочери родители отказывались наотрез.

Мать смеялась:

— Привыкла быть себе и другим хозяйкой и остаток жизни не собираюсь плясать ни под чью дуду!

Их идиллию нарушила скоропостижная смерть отца. Прежде постоянно толпившиеся в доме родственники, знакомые и друзья стали приходить редко, все реже звонили, а затем вовсе перестали навещать мать. И просторный, уютный, выстроенный отцовскими руками дом стал пугающе пустым.

Забегали только Варины приятели-одноклассники, вот от них Варя и знала, как обстоят дела. Она с удивлением обнаружила, что центром притяжения для людей был ее отец, а не красавица мать — душа и заводила большой компании, как Варя всегда думала.

Самолет приземлялся за полночь. О своих приездах Варя заранее не извещала, чтобы не напрягать ожиданием и приготовлениями. Избрала эту тактику, когда еще был жив отец. Сваливалась внезапно, словно снег на голову. Вихрем врывается в сонную тишину дома. Тормозила родителей — заспанных, растерянных, онемевших от нежданно-негаданно свалившейся на них радости. Прямо с порога распаковывала чемоданы, заставляла примерить купленные обновы, выставляла на стол столичные деликатесы и подарки.

В доме начиналась суматоха. Тотчас же бросались кипятить чайник. Содержимое холодильника перекечевывало на стол. Выбеленные временем и разлукой родительские глаза светились счастьем.

За разговорами наступало утро, тянулись мимо окон первые пешеходы. Обессиленная от усталости, сытости и разговоров, Варя наконец отправлялась спать.

К расписанию самолетов добавили новый рейс. Городской транспорт в это время вовсе работал, и она беспрепятственно добралась домой.

Дом не спал, в окнах повсюду горел свет. Обнаружив, что обычно запираемые в столь поздний час на засов ворота и входная дверь открыты, с мыслью «может быть, что-то случилось», Варя ворвалась в дом.

Хлопотавшая у плиты мать с радостным криком бросилась ей навстречу. опередив ее, из-под кухонного стола с громким лаем вылетел Джоня.

— Кто к нам пожаловал, на ночь глядя? — Из глубины дома в прихожую вынырнул Аркадий, друг семьи, старинный приятель ее родителей. — Что же ты без предупреждения? Мы бы тебя непременно встретили... Вот, помогал по хозяйству. Не рассчитал время и припозднился,

а оказывается, пора и честь знать. Раздевайся, устраивайся, отдыхай. Быстро соберусь и, пока не поздно, помчусь домой...

В ванной на месте старого потрескавшегося зеркала в темной овальной раме висело новое. К одиноко стоявшей в стаканчике зубной щетке добавились еще одна и станок для бритвы «Жилетт». Вперемешку с женскими принадлежностями на веревке сушились свежевывстиранные мужские трусы и майки.

Мать зарделась и вопросительно смотрела на дочь.

Варя обняла ее и остановила суетившегося мужчину:

— Не торопитесь, куда вы засобирались? По ночам в нашем городе небезопасно. Места у нас достаточно. Оставайтесь! Будем пить вино и горячий чай — с фирменными конфетами и шоколадным столичным тортом.

Уговаривать не пришлось. Гость хозяйничал как у себя дома: вскипятил чайник, накрыл на стол, откупорил бутылку марочного вина, произнес витиеватый тост в честь прибывшей. Но засиживаться за столом не стал:

— Продолжайте чаевничать, давно не виделись. Пойду-ка спать, не буду вам мешать.

Варина комната, вмещавшая только кровать и шкаф, находилась в самой глубине дома. Узкое окно загораживала разросшаяся под ним вишня. По ночам при сильных порывах ветра ветви дерева скребли по стеклу, будоража слух и воображение, и казалось, в окно стучат притаившиеся среди листвы чудовища.

Еще одно вишневое дерево росло посреди сада у вырытого отцом колодца. В детстве Варя думала: колодезный водяной с нетерпением ожидает времени, когда ягоды нальются тяжелым цветом и опустятся к мениску темной водяной глади. И тогда он выпростает из-под воды покрытую слизью и илом руку и утянет бедную вишню к себе на дно.

Варя очень любила время, когда сад начинал цвести. Запах вишневых и яблоневых лепестков проникал в дом, от свежевскопанной земли исходил благодатный пар. Тогда в душе появлялось сладкое и тревожное чувство праздника, к горлу подкатывал сладкий ком, а на глаза наворачивались слезы...

Незакрытая форточка гулко хлопала на ветру. Но подняться и закрыть ее не осталось сил. С ощущением, что в пробивающихся сквозь толщу сна звуках явно чего-то не достает, Варя забылась глубоким сном.

Проснувшись, первым делом выглянула из окна в сад — и, не увидев привычной картины, остолбенела. Под окном ее комнаты и у колодца сиротливо чернели пеньки, а количество яблонь в саду значительно прибавилось.

Сквозь неплотно прикрытую дверь в спальню сочился запах домашней стирки.

В материнском фартуке, словно заправский повар, гость умело хозяйничал на кухне. Пельмени, один к одному, словно вымуштрованные солдаты, заполнили большой поднос. Из всех блюд Варя отдавала предпочтение пельменям, и к ее приезду их заготавливали заранее.

— Ты же не предупредила, что приедешь. Вот и приходится наверстывать...

В шелковом халате, с тщательным макияжем, появилась мать. Глядя на ее счастливое и помолодевшее лицо, Варя изумилась произошедшим с ней метаморфозам. Кожа разгладилась, на щеках рдел румянец. Улыбка, направленная куда-то вовнутрь, не сходила с лица. Круглые, зеленые с поволокою глаза — суживающиеся, как у кошки, в порыве гнева — светились счастьем. А на безымянном пальце правой руки багровел огромным рубином знакомый Варе массивный перстень.

В тот год большая родительская компания отмечала двойной серебряный юбилей: Вариных родителей и семьи ее нынешнего отчима.

При многочисленных друзьях и родственниках мужья преподнесли женам заранее приготовленные подарки. Аркадий — золотой перстень с рубином, а Варин отец — серьги и кольцо с уральскими аметистами.

Варе перстень показался верхом пошлости и безвкусия. А вот матери и ее приятельницам золотая безделица понравилась:

— Какой замечательный перстень! Вот бы мне такой... Ой, ну только не возражайте! Мой подарок неплох, но все-таки простоват. А еще говорят: воспитание, среда... Мой-то — интеллигент, а поди ж ты — крестьянский сын и здесь даст моей половине сто очков вперед. Как всегда...

Варя знала, что отец не брал денег на подарок из семейного бюджета. Чтобы приготовить жене сюрприз, он много месяцев оставался без обеда...

— А отдай, пожалуйста, эти украшения мне! У меня тоже на носу юбилей — как-никак четверть века стукнет. Мне и форма, и цвет подходит, и по знаку Зодиака аметист — мой камень! Потом договоримся, съездим и купим то, что тебе понравится...

Сузившиеся «кошачьи» глаза полыхнули зеленым светом: Варина выходка неприятно кольнула мать.

— Не спеши. Помру, все тебе достанется. Ты у нас единственная наследница. — Краешек губы кокетливо надломился, мать с улыбкой перевела все в шутку.

Полюбовалась на драгоценности и демонстративно убрала коробочку в сервант.

Под неодобрительными взглядами друзей и родственников Варя поспешно ретировалась из гостиной. Боковым зрением видела: гостя самодовольно разглядывала свою пухлую, бесформенную руку с рубиновым перстнем, а отец с печалью и плохо скрываемой болью смотрел на мать...

— Варенька! А у нас для тебя новость. Мы с твоей мамочкой решили расписаться. Перстень — мой свадебный подарок. Так что скажешь, Варенька? Ты не против? Мы с тобой друг другу не посторонние, и все знают: ты для меня как дочь.

Оказалось, регистрация состоится через неделю. Торжество намеревались устроить с размахом: наняли популярного в городе тамаду, зака-



зали лучший ресторан в центре, разослали приглашения родственникам, друзьям и руководству комбината.

Поначалу Варя очень обрадовалась за мать, но воспоминание об отце полоснуло по сердцу невыносимой болью. И, сославшись на необходимость срочно вернуться на работу, Варя, не дождавшись свадебной церемонии, улетела ближайшим рейсом.

2.

...Неразлучную тройцу — отчима, отца и мать — свел случай еще в студенческие времена.

После очередного успешно сданного экзамена два приятеля отправились на танцплощадку. Яркая внешность обоих вкупе с подвешенным языком одного и умением другого легко и непринужденно двигаться вызвали неугасающий интерес у девушек. От красавиц, желающих потанцевать и познакомиться, не было отбоя.

Но случилось так, что оба увлеклись одной.

За их романом с жадным интересом наблюдал весь курс, и все сходилось во мнении, что хваткий, веселый, настырный крестьянский сын Аркадий одерживает верх над замкнутым, сдержанным интеллигентом Андреем.

Но прогнозы не оправдались: своевольная темпераментная красавица выбрала Вариного отца, а крестьянский сын заключил союз с дочерью обкомовского парторга.

Юношеские привязанности со временем не исчезли, друг семьи и Варина мать откровенно симпатизировали друг другу. Так повелось со студенческих времен, и никого это не удивляло. Варю Аркадий с детства тоже не обходил вниманием: приносил дорогие конфеты, книги. А из командировки в Индию привез изумительные подарки, наповал сразившие всех приятелей и знакомых высокомерных модниц. Варе — серебряные браслеты с бирюзой, матери — серебряные серьги и кольцо с драгоценными камнями, отцу — выточенные на заказ шахматы из красного дерева, инкрустированные перламутром. И приехал в белом костюме, на новой белой «Волге» с гордым оленем на отполированном капоте.

Варя с матерью восхищались гостинцами и старались надевать их при каждом удобном случае. Варя в тот год поступила в престижный столичный вуз и радовалась любой возможности утереть нос надменным, избалованным однокурсникам.

А вот отец отнесся к подарку весьма прохладно. Подчеркнуто вежливо поблагодарил, поставил коробку в шкаф и больше никогда к ней не прикасался.

После длительных, изматывающих холодов на город обрушилась весна. Возвышавшиеся в человеческий рост сугробы за считанные дни сжились и исчезли.

Бурные ручьи неслись к реке, протекающей в центре города. Уровень ее поднялся, вышедшая из берегов вода затопила городские пляжи, город захлестнула симфония половодья. Когда наконец река вернулась в привычное русло, налетел свежий весенний ветер. Быстро высушил разбухшую от воды почву и унес в горы поднимавшийся от нее влажный пар.

С каждым днем солнце все глубже отогревало промерзшую зимой землю. Дружно налились и набухли почки, клейкая зелень ломилась в окна. Город накрыло серебристо-жемчужной пеной цветения. Сад и дом купались и утопали в ней. Нежный запах щекотал ноздри, волновал душу, будил желания. Весна буйствовала, неистовствовала, воскрешала чувства. Хотелось обновления и перемен.

Перемены не заставили долго себя ждать.

Отец больше не проводил все свободное время в саду, а обожающая чистоту и порядок мать не бросалась при каждом удобном случае мыть и убирать дом. Вечерами родители не засиживались за чаем, не пытались Варю расспросами о школе, а, придя с работы и наспех перекусив, тотчас усаживались за учебники и просиживали над ними до поздней ночи. Дружно штудировали работы Ленина и основателей марксизма, зубрили до одури съезды и пленумы КПСС.

Мать с отцом походили на заговорщиков. Изъяснялись намеками, шептались и обменивались непонятными для других взглядами.

Кроме того, родители изменились внешне. Отец стал увереннее и выше ростом, словно с его плеч свалился тяжелый груз. Мать, напротив, оставила присущую ей веселость, посерьезнела и часто задумывалась.

Но шила в мешке не утаишь, а все тайное становится явным, и наконец Варя выяснила: родители готовятся к собеседованиям. Кандидатуру матери выдвинули на должность первого секретаря горкома, а отца и его приятеля Аркадия рекомендовали как лучших специалистов для работы на металлургическом комбинате в Дели.

И еще Варя сделала удивительное открытие: взрослые люди трясутся перед собеседованиями так же, как школяры перед экзаменами.

Мать светилась глубинным счастьем и не скрывая гордилась своим талантливым мужем. О разработанной им технологии новых сплавов писала и говорила пресса, этими разработками и исследованиями интересовались другие страны. На комбинат посыпались предложения о сотрудничестве: по оценкам экспертов, наиболее выгодные — из Индии и Вьетнама.

Самое лучшее начиналось к ночи. Озверев от зубрежки, отец, чтобы развлечь и повеселить мать, наматывал на голове тюрбан из кухонного полотенца, напяливал ее шелковый халат и, напевая фальцетом, изображал факира и предсказывал судьбу — приобретение в обозримом будущем современного транспортного средства, чтобы в странствиях по пустыням не надрывать пуп и не сбивать ноги.

Варя с матерью от хохота сползали на пол. Отсмеявшись, все вместе долго пили вечерний чай и мечтали, как по возвращении отца из Индии купят белую с серебристым оленем «Волгу» и надстроят в доме второй этаж.



Наконец однажды прямо с порога, в пальто и не сняв ботинки, отец торжественно объявил: из всех кандидатов он признан лучшим. А на то, что он беспартийный, никто и не посмотрел.

Жизнь семьи теперь сконцентрировалась вокруг сборов в заграничную командировку. Как поступить, если мать примет новое назначение, — сможет ли отец уехать один, без нее? И если родители едут оба, брать с собой Варю или оставить с бабушкой?..

Как оказалось, хлопоты были преждевременными.

Надеясь внезапным вторжением разыграть родителей, Варя тихо открыла дверь и на цыпочках прокралась в прихожую.

Из гостиной несся взвинченный голос матери. Уверенная, что Варя в школе, она не сдерживала негодования:

— Ну какой же ты все-таки недотепа! Рохля! Такой шанс выпадает только раз в жизни! Разработки — твои! Ты в авторском коллективе главный! И опять, как всегда, впереди Аркадий! Почему ты сдаешь позиции без боя? Почему не отстаиваешь свои права? Почему, когда все согласовано, билеты куплены, — вдруг как снег на голову резолюция Москвы, что кандидатура Аркадия предпочтительнее?!

Отец хотел что-то ответить, но увидел Варю, развернулся и ушел в сад.

3.

Еще утром казалось, по-особому светит солнце. Тревоги — что-то пойдет не так — беспочвенны и напрасны. Но обещавший быть чудесным день окончился больно ранящим известием.

От работы Андрея оторвал звонок. Недолюбливающая его кадровичка торжествующе сообщила: поступили изменения из Москвы и его ждут в управлении комбината.

Разговор в кабинете, видно, был не из приятных. Руководители подразделений выскакивали из него, громко хлопая дверью, разгоряченные, с красными пятнами на лицах. Вскользь здоровались с Андреем и проходили мимо.

Посетители разошлись, и Андрей остался в приемной один. Наконец дверь открылась, и с лицом, выражающим торжество, из кабинета вылетел Аркадий. Столкнувшись с другом, слегка смутился, пробормотал приветствие, но задерживаться рядом не стал.

В кабинете висела сизая кисея табачного дыма. Лицо начальника управления отливало серым, а одно веко неприятно дергалось. Начальник кивнул Андрею, вышел из-за стола и настежь открыл окно.

Затем закурил, повернулся спиной к посетителю, глубоко затянулся и отчеканил: в Дели вместо Андрея полетит Аркадий, чей богатый опыт руководителя и многолетний партийный стаж Москве показались предпочтительнее.

— Бурмин! Что ни делается, все к лучшему. Отнеситесь к этому решению философски. Может, это перст судьбы...



Слова начальника управления с трудом просачивались в сознание Андрея. Первый отдел вдруг счел, что в его биографии слишком много неясностей. То, что Андрей беспартийный, оказалось еще одним минусом. Дополнительную проверку решили не проводить: задержки и проволочки влекут за собой большие штрафы. Контракт подписан, нужно срочно начинать работы. Кандидатура Аркадия устраивала всех.

— Бурмин! Не падайте духом! Разве плохо вам здесь живется? Вы уважаемый человек. У жены продвижение по службе. Дочь способная, в столичный университет метит. Никаких проблем! Работай на благо любимой Родины — и все в порядке. Так ли нужна вам эта Индия?..

Не дослушав и не попрощавшись, Андрей повернулся и вышел.

Через несколько дней Аркадий с семьей отбыл в двухгодичную командировку, а кандидатуру Вариной матери утвердили на должность первого секретаря горкома.

Повышение отметили большой компанией, поздравления лились рекой. Отец на праздновании держался несколько отчужденно, но во взгляде, которым он смотрел на мать, вместе с печалью читалась нескрываемая любовь.

Карьера матери пошла в гору. Ее имя часто упоминалось в городской прессе. Но в семье у них произошел разлад, дружелюбие и доверие между родителями исчезли. Теперь при каждом удобном случае мать вставляла шпильки в разговор с отцом и нещадно, по поводу и без повода, шпыняла Варю, которая принимала его сторону.

В школе донимали контрольными, зачетами и родительскими собраниями. Старшим классам доставалось особенно. Варю это не беспокоило, она из года в год неизменно была одной из лучших по успеваемости.

Но в этот раз мать вернулась с собрания расстроенная, не в духе, и за ужином молчала.

Буря разразилась на следующий день за вечерним чаем. Варя посетовала: комитет комсомола школы обязал ее проводить абсолютно никому, на ее взгляд, не нужные политинформации и диспуты. Жаль напрасно потерянного времени, куда полезнее просто почитать книжку...

Равнодушие дочери к общественной жизни всегда сердило и раздражало мать. А сейчас она и вовсе пришла в ярость:

— Вот тебя послушать — отец родимый! Попомни мои слова: дадут характеристику, что ты абсолютно аполитична, — и при поступлении будешь вертеться как уж на сковородке! Дурака примут, а ты останешься за бортом со своим замечательным аттестатом! Будь ты хоть семи пядей во лбу, но без комсомола, без партбилета никакая карьера тебе не светит. Наглядный пример — твой отец. Решай, стоит ли повторять его ошибки!

Варя в ответ вспылала, надерзила матери — и смертельно обиделась, не найдя поддержки у отца. На корню пресекавший любые грубости, он встал на защиту жены.

Оскорбленная, задетая за живое, Варя заявила: отныне она не станет ничем делиться с родителями и свои проблемы будет решать сама. В школе стала уваливать от любых нагрузок, но в учебе по-прежнему оставалась лучшей. И все чаще задумывалась о будущем и пыталась представить, какое оно — студенчество...

4.

...У столов приемной комиссии толпились абитуриенты. Шумный, пронырливый вихрастый паренек ловко втиснулся впереди замешкавшегося Артемия и сдал документы первым. Да еще саданул того локтем в бок:

— Не зевай, недотепа! Кто смел, тот и съел!

В хитрых круглых глазах светился пытливый ум, на губах блуждала насмешливая улыбка. Ссора не разгорелась: в это время Артемия позвал дежурный преподаватель и все разрешилось само собой.

Получив направление в общежитие, Артемий отправился на Невский. Подобно молекулам в броуновском движении сновали люди в толпе, гудели клаксоны городского транспорта, повсюду бурлила жизнь.

Золотая игла Адмиралтейства, как и в прежние времена, пронзала небо. Мускулистые юноши укрощали коней на Аничковом мосту. Артемий восхитился их сдержанной мужественностью и силой. И посмеялся над самим же придуманной аллегорией: как эти юноши, он берет под уздцы свою судьбу.

Дворцовая площадь крепко сжала его в объятиях и долго-долго не отпускала...

Он так увлекся знакомством с городом, что совершенно забыл о времени. Рабочий день подходил к концу, и Артемий сломя голову бросился в общежитие.

Раздраженная, усталая комендантша сердито пробурчала, мол, где он так долго шляется, и неохотно велела следовать за собой.

В крохотной комнатухе на четверых за стоящую в проходе, у двери, койку цеплялся каждый. Комендантша ткнула в нее рукой: занимай, и величественно удалилась.

На соседних кроватях лежали брошенные впопыхах вещи. Обитатели комнаты отсутствовали. Уставший Артемий решил их не дожидаться и пораньше улечься спать.

Ранним утром разудалая компания вернулась с ночной прогулки. Кто-то наглый, громкий, бесцеремонный ходил рядом, то и дело спотыкаясь о койку новичка, отчего пружинный панцирь подпрыгивал и дребезжал.

А когда невыспавшийся Артемий открыл глаза, оказалось, что его кровать соседствует с койкой вчерашнего обидчика. Ничего не оставалось, кроме как познакомиться. Паренька звали Аркадий, поступали они на один факультет и одну специальность.

Вместо обычных трех дней на подготовку к последнему экзамену выделили целых пять. Обрадованные неожиданной поблажкой, решили вечером послушать Изабеллу Юрьеву — отправиться на концерт всем скопом, скинуться и подарить певице корзину роз. Юрьева почиталась студенческой молодежью, и считалось особым шиком лично преподнести ей цветы.

Половину дня посвятили сборам, прихорашивались, наглаживались, а Аркадий даже набриолинил свои вихры.

Артемия, который призывал отказаться от дорогостоящей затеи, пока не сданы экзамены, никто не слушал, а ему пойти на попятную не позволили самолюбие и гордость.

Хрупкая тоненькая фигурка с длинными светлыми волосами грациозно двигалась по сцене. Низкий голос проникал в душу, завораживал и не отпускал.

Внешне Юрьева напомнила Артемию мать. И, забыв обо всем на свете, он смотрел на сцену. Вспоминал отца и братьев, дом и тепло материнских рук...

После концерта все подробнейшим образом обсуждали каждый выход певицы, и лишь Артемий подавленно молчал. Стоимость билетов и цветов оказалась намного больше, чем он рассчитывал. Денежный запас иссяк, а до последнего экзамена оставался еще день.

От слабости подташнивало, живот сводило коликами. Чтобы заглушить голод, Артемий брал кипяток из стоящего в закутке титана и пил его мелкими глотками.

К вечеру боль усилилась, и, стараясь ее унять, Артемий лег на живот, подложив под него подушку. Решил, как только сдаст экзамен, отправиться на вокзал — за любую плату носить пассажирам вещи...

— Вставай, недотепа, ешь! И ничего мне не говори!

В стакане дымился горячий чай, а на тарелке лежала огромная картошка в мундире и небольшая горбушка хлеба.

И, саданув Артемию локтем в бок, как при первой встрече, Аркадий с размаху весело хлопнул дверью.

Экзаменующихся в аудитории рассаживали попарно, и приятели оказались за одним столом. Вопросы билета Артемий хорошо знал. Быстренько набросал ответы и уже собрался отвечать, но поймал растерянный взгляд соседа и задержался.

Улучив момент, когда преподаватели отвлеклись, Аркадий ловко подсунил Артемию листок с уравнениями.

Словно почуяв неладное, экзаменаторы повернулись и почти все время неотрывно смотрели в сторону приятелей. Пришлось тем сделать вид, что всецело заняты подготовкой.

Решение, как поступить, пришло мгновенно. Артемий безумно любил кино и втайне от родителей при каждом удобном случае бегал в местный кинематограф. Припомнилась сцена из когда-то виденного фильма, и он ничтоже сумняшеся решил ее повторить.



Вставая, он сделал вид, что споткнулся. В попытке удержать равновесие и не упасть схватился за край соседнего стола, смахнув рукавом разложенные на нем листочки. Бормоча извинения и кляня себя за неловкость, собрал рассыпанные по полу черновики, положил на стол перед Аркадием, незаметно сунув в их стопку листок с решенными уравнениями, и сразу направился отвечать.

Пока его закидывали вопросами, Аркадий старательно переписывал решение, а как только Артемия отпустили, сияя проследовал к доске.

Артемий прыжками преодолел лестницу и со всех ног пустился на вокзал. Поезд дальнего следования прибыл по расписанию, и теперь Артемию предстояло проявить предприимчивость и сноровку.

На перроне он притормозил и стал выбирать, кому предложить свои услуги. В него тут же вцепилась мертвой хваткой баба, державшая за руку ноющую конопатую девчонку, и, несмотря на его протесты, взвалила на него необъятный ободранный чемодан и гигантских размеров сумку, которые, казалось, были набиты кирпичами. Поторапливала, понукала и клялась заплатить тройную цену. Обливаясь потом, проклиная свою стоворчивость, Артемий с трудом доволочил багаж до указанного подъезда. Пообещав вынести обещанную плату, баба велела остаться снаружи и подождать.

Наконец она вернулась, но вместо денег сунула обескураженному Артемию узелок с червивыми яблоками и заплесневелую горбушку хлеба — и с шумом закрыла дверь перед его носом.

Возмущенный и раздосадованный, он снова поплелся на вокзал. По перрону сновали пассажиры с пригородных электричек. Поезда дальнего следования прибывали глубокой ночью. В раздумьях, дожидаться их или отправиться в общежитие, голодный Артемий уныло слонялся по платформе.

В довершение всех бед к нему подошел дежурный и потребовал объяснить, почему он весь божий день болтается на вокзале. Пригрозил милицией и велел уносить ноги подобру-поздорову.

Нестерпимо хотелось пить, и Артемий остановился у выхода возле лотка с газированной водой. Утомленная продавщица молча наполнила стакан и участливо рассматривала Артемия, пока он утолял жажду. Выяснив, что он иногородний, держит вступительные экзамены в институт и хотел бы немного подработать, посоветовала устроиться на временную работу... в морг:

— Городская больница на соседней улице. Платят посуточно, прописка не требуется. Работа тяжелая, но денег на еду хватит.

Вступительный марафон наконец подошел к концу, но списки принятых всё не появлялись. Среди поступающих быстро распространилось известие: количество претендентов, набравших нужные баллы, превышает число отведенных мест, и поэтому для абитуриентов проведут дополнительное, решающее собеседование.

Вездесущий Аркадий прошел его одним из первых и делился впечатлениями с приятелями. Опрос как опрос, ничего особенного. Откуда, кто

ты, кто твои родители, чем руководствовался при выборе факультета и специальности. Преимущество отдают выходцам из семей рабочих и тем, кто до поступления трудился на производстве.

Артемий нарядился в новую, ни разу не надетую рубашку, пригладил волосы и отправился в институт. На душе у него скребли кошки.

Вопросы, кто родители, кем работал отец, имел ли какое-нибудь образование, — вызвали у него оцепенение. Пересохло и запершило в горле, на лбу выступила испарина, и Артемий долго не мог откашляться. Пауза затянулась. Комиссия с недоумением смотрела на побелевшего, растерянного абитуриента. И тогда в отчаянии — все складывается не в его пользу — он чуть слышно соврал, что его мать умерла при родах, а отца и трех старших братьев при аварии завалило в шахте.

Больше ему вопросов не задавали. Посочувствовали, пожелали успешной учебы и отпустили.

Он с благодарностью вспомнил тетку: это ее молитвы его спасают и хранят...

Возле вывешенных деканатом списков толкалась толпа абитуриентов. Строчки прыгали и путались, после бессонной рабочей ночи Артемий никак не мог отыскать свою фамилию.

Не прошел, не приняли... Он совсем уже пал духом, но толчок кулака в бок привел его в чувство. Улыбающийся Аркадий тыкал пальцем в начало списка.

У Артемия оказался самый высокий балл.

5.

Если отчим любил вспоминать о своей семье, то из отца рассказы о его прошлом приходилось буквально вытаскивать клещами. В четырнадцать лет, потеряв троих братьев, отца и мать, он уехал из родных мест и больше туда ни разу не возвращался.

Все попытки Вари растормошить, расспросить отца о его семье неизменно оканчивались ничем. Мертвенная белизна заливала его лицо, он замолкал, крепко обнимал и целовал Варю, а потом уходил в сад.

И еще ей безумно хотелось узнать о людях, по словам отца, заменивших ему родителей. Каждый год весной отец брал отгулы и уезжал привести в порядок их могилы. Варя не любила эти отъезды. После них возвращался человек из чужого, параллельного и враждебного ей мира.

* * *

Эти дни отзывались в его памяти такой застарелой и нестерпимой болью, что порой он лишался сна.

Как обычно по воскресеньям, Артемий вместе с братьями прислуживал отцу в соборе. Все храмы позакрывали, только их продолжал работать. Служба шла своим чередом, теплились свечи, тихо пели певчие на хорах.



Неожиданно, нарушая благолепие и тишину, с грохотом открылась входная дверь. Грубо растолкав немногочисленных прихожан, к алтарю подошли несколько человек с винтовками.

Белобрысый, мордатый — судя по всему, главный, — в кожаной тужурке и с портупеей через плечо, со всего размаху ударил отца прикладом в грудь так, что тот упал. Мордатый принялся пинать его ногами, не давая подняться, и старался непременно попасть в лицо. Окровавленного, растерзанного, схватил за седые кудри и как куль поволок к двери.

Старший брат, диакон, бросился к стонущему отцу на помощь, но наткнулся грудью на штык и упал, истекая кровью.

Средний брат зажал Артемию рот рукой и оттеснил в угол алтаря. В алтарную часть энкавэдэшники проходить не стали: видимо, им был нужен только настоятель собора.

Отца запихали в подъехавший воронок, туда же бросили окровавленное тело брата и увезли.

Больше Артемий никогда их не видел.

В тот же вечер стук прикладами в дверь взбудоражил дом. Тот же самый мордатый комиссар, что бил отца, с группой вооруженных людей ворвался внутрь. Все, что попадало им под руку, летело на пол: книги, иконы, посуда, утварь...

Бросили на пол и сапогами в комках налипшей грязи с остервенением топтали икону Казанской Божьей Матери, оставшуюся еще от деда. Серебряный оклад отскочил и сплющился, а икона треснула и распалась на части. Старших братьев, бросившихся спасать икону, били прикладами, пока их лица не превратились в кровавое месиво.

Мать прижимала к себе Артемию и невидящими глазами смотрела поверх голов бесчинствующих.

Взгляд мордатого наткнулся на побелевшего от ненависти подростка.

Хрустнули зубы, кровь из разбитых губ хлынула Артемию на подбородок. Мать бросилась на защиту сына, но, отброшенная безжалостным кулаком, отлетела в угол.

Хрупкая, беспомощная, распластанная в нелепой позе на грязном полу фигура вызвала у пришельцев довольный смех:

— Эй! Грамотные? Указания партии читаете? На политзанятия ходите? Атеизм изучаете? Ежели память короткая, счас напомним: к маю тридцать седьмого имя Бога должно быть забыто на всей территории страны! А за окнами у нас тридцать пятый! Берегись, поповский волчонок, доберемся и до тебя!

Наконец они ушли и увели с собой избитых братьев.

Покалеченный глаз Богородицы кротко взирал с иконы на следы их бесчинств. По углам валялись изодранные, истоптанные фолианты. Дед с отцом всю жизнь собирали книги, их библиотека в городе считалась одной из лучших...

После обрушившихся несчастий и бессонной ночи Артемия бил озноб, страшно ломило тело. Обработав вспухшие синяки и ссадины, мать отправила его к младшей сестре отца, монахине, — сообщить об аресте брата.

Превозмогая усиливающуюся тошноту и слабость, Артемий отправился в монастырь, расположенный неподалеку от городского рынка.

Возле рынка его сознание помутилось, и он упал, ударившись головой о землю.

Нестерпимо першило в горле, в нос лез едкий, навязчивый запах хлора, перемешанный с вонью пота и нечистот. Ночью Артемий очнулся в бараке для больных тифом. Как свинцом налитая, болела голова. Он с трудом оторвал ее от подушки и огляделся.

Комната смахивала на морг, и от ужаса внутри у Артемия похолодело. Серые койки, сдвинутые по две, стояли рядами торцом к проходу. На одних стонали и бредили наголо остриженные пациенты, на других лежали закрытые с головой простынями неподвижные фигуры.

От мечущихся в жару тел к потолку поднимался пар. На соседней койке паренек, очень похожий на Артемия, беспрерывно плакал, звал мать и умолял отогнать пришедшую за ним смерть. От его рвущего душу голоса у Артемия волосы встали дыбом, и он с головой забрался под одеяло.

Первое ночное дежурство выдалось тяжелым. Тиф свирепствовал, непрерывно поступали новые больные. Врачи с медсестрами падали от усталости.

Она с отчаянием думала: еще пара часов затишья, и смерть явится за очередной данью.

Их обитель располагалась неподалеку от городской больницы. Когда на город обрушилась эпидемия, послушницы и монахини поспешили сюда на помощь. Вся тяжелая и грязная работа доставалась им, и они безропотно взваливали на свои плечи непосильную для других ношу.

Она окончила курсы при Медико-хирургической академии в Петербурге еще до того, как утонули ее сын и муж, а она приняла сан. Теперь ее медицинское образование оказалось кстати, и она сама попросилась дежурить в тифозный барак.

В последнее время ночами ее снова преследовал старый сон. Солнце освещало зеркальную гладь реки с зеленым островом посередине. Набегающий ветер подхватывал белые облака и создавал волну. Лодка с ее мужем и сыном направлялась от острова к берегу. Она слышала, как, сложив руки рупором, сын кричит: «Мама, я здесь! Жди нас, мы скоро причалим, мама!» Ветер поднял песок, и она зажмурилась: песчинка попала в глаз. А когда посмотрела снова, по реке под парусами неслись вынырнувшие из-за острова яхты, а лодки нигде видно не было...



Сейчас переполненное печалью сердце невыносимо ныло о другом мальчике: где племянник, что с ним произошло? Арестован, убит, заразился тифом и умирает где-то поблизости? Вторая неделя идет к концу, а вестей об Артемии нет.

Вместе с сизым холодным утром сквозь запотевшие окна просачивалась в барак смерть.

Из дальнего угла донеслись крики. Ей почудился голос племянника, и она со всех ног бросилась на зов.

Синяя жилка, затихая, пульсировала на худенькой шее. Полные смертной муки глаза смотрели с немым укором. Если бы не большеватый, с горбинкой нос, этого мальчика можно было бы принять за Артемию.

Шепча нежные слова, она провела рукой по уже остывающей щеке. Успокоенное ее лаской тело дернулось и затихло. Аккуратно опустила ладонью веки, осенила подростка крестом и с головой накрыла простынею. Через час дежурные санитары придут забирать умерших...

Паренек, лежащий рядом с покойником, на соседней койке, вдруг застонал, заметался и лег на спину, выпростав из-под сбившейся простыни тонкие, знакомые до боли руки. Не сдерживая рыданий, она целовала родное осунувшееся лицо и молила Бога помочь, спасти.

Прислушиваясь к шагам в коридоре, трясясь от ужаса, поменяла местами мальчиков, живого и мертвого, и привязанные к их рукам именные бирки.

Поздоровалась с санитарями, заступившими на дежурство, и спокойно, деловито указала, какие тела следует забрать.

Смахивая застилающие глаза слезы, доложила дежурному врачу: среди умерших опознала племянника — Артемию Преображенского. Попросила внести его имя в списки, так как до этого в документах он числился неизвестным.

Санитары тем временем погрузили покойников на запряженные лошадьми подводы и увезли под охраной на городское кладбище. Там всех штабелями уложили в общую яму, залили раствором извести и засыпали землей. Чтобы не разносить заразу, умерших от тифа хоронили в специально отведенном месте.

— Тёма, очнись! Да очнись же наконец, Тёма! Вставай, одевайся, нам нужно уйти отсюда.

Чей-то шепот пытался вырвать его из липких пут беспамятства. Чьи-то легкие руки трясли за плечи, гладили по лицу, наголо обритой голове. Что-то горячее, словно воск, обожгло щеку, и от соленой влаги защипало в уголке губ.

Он открыл глаза и понял: это совсем не сон. Над ним склонилась любимая тетка. Натруженные, привычные к тяжелой работе руки подняли его с постели, помогли натянуть одежду. Вдвоем они вышли



в коридор, худенькое плечо монахини сгибалось под тяжестью обессиленного племянника. Утратившие за время болезни устойчивость и гибкость ноги Артемия разъезжались при каждом шаге.

После пяти часов утра смерть и жизнь заключали временное перемирие, у медиков появлялась возможность ненадолго сомкнуть глаза. Пользуясь этой кратковременной передышкой, дежурная сестра спала, уронив голову на руки.

Стараясь двигаться бесшумно, тетка и племянник миновали ее пост и черным ходом выбрались под спасительное покрывало ночи.

— Слава богу! Наконец-таки открыл глаза! Двое суток спал без просыпу...

Над Артемием склонилось улыбающееся лицо родственницы теткинго покойного мужа.

После чашки куриного бульона его снова потянуло в сон. Он очнулся, когда в окна уже заглянул вечер, и услышал рядом негромкий разговор. Тетка с родственницей обсуждали подробности его отъезда.

Мальчику следует поднабраться сил и как можно скорее покинуть город. Через несколько дней со станции отправится товарный поезд. Помощник машиниста возьмет Артемия пассажиром.

Нужно уехать куда-нибудь подальше, где его не знают и никогда не видели. Домой возвращаться ни в коем случае нельзя. Собор разграбили и закрыли, отец расстрелян, братья и мать получили большие сроки. Мордатый комиссар разыскивает Артемия, оставаться в городе смертельно опасно.

И еще вот что. Артемия Преображенского на этом свете больше не существует. Есть сын уральского горного мастера из-под Челябины — Андрей Бурмин.

Эпидемия тифа пошла на убыль, смертность снизилась, и работы в больнице поубавилось. Каждый день, преодолевая нутряной страх, тетка Артемия отправлялась туда с мыслью: вдруг придут родственники Андрея Бурмина. Выяснится, что произошла путаница, и следы, конечно же, приведут к ней...

После расстрела брата и ареста его семьи каждое утро казалось ей безлико-серым. Однажды после дежурства она, стараясь унять бившую изнутри дрожь, отправилась по адресу, указанному в списке больных, — там жила семья умершего подростка.

В небо вздымались сизые струйки дыма. Городок пробуждался, в домах растапливали печи. Но дом, который был ей нужен, выглядел безжизненным и пустынным. Из трубы не поднимался дым, незапертая калитка хлопала и скрипела на ветру.

Монахиня беспрепятственно вошла во двор. Возле крыльца сиротливо белела оброненная кукла, поодаль валялись детская варежка и шарф. Поднялась на крыльцо и постучала. За дверью было злое тихо.



Встревоженные ее появлением, в соседнем дворе забрежали собаки. В надежде, что на нее обратят внимание, монахиня стала медленно прохаживаться вдоль ограды.

Наконец в одном из окон соседского дома шевельнулась гардина. Входная дверь осторожно скрипнула, и во дворе послышались медленные шаркающие шаги. Кто-то, невидимый за воротами, недовольно спросил: «Что надо?» Монахиня поспешно заверила: не нужно ее бояться. Как только скажут, куда подевались люди из вон того дома, она уйдет.

Опасливо помедлив, ей сообщили, что с неделю назад Бурмины тихо исчезли посреди ночи. Возможно, их кто-то предупредил о готвящемся аресте. Уехали, и поминай как звали.

Вечером тетка пришла навестить Артемия. Гладила отрастающий на голове ежик, целовала в макушку, в щеку. Ей казалось, это не племянник, а ее возмужавший, сумевший доплыть до берега сынок вырос и теперь, уже четырнадцатилетний, уходит в большую жизнь.

На безмолвный вопрос Артемия утвердительно кивнула. И мальчик понял: пора покидать гостеприимный кров.

Из труб паровоза поднимался белесый пар, товарный состав стоял на рельсах готовый к отправлению. Подбежавший мужик проворно откатил дверь угольного вагона и велел Артемию забираться внутрь.

— Мой дорогой! Никогда ничего не бойся! Я буду молиться за тебя. Бог не оставит! — Тетка порывисто прижала подростка к груди, поцеловала, перекрестила.

Дверь захлопнулась, и поезд стал набирать ход.

Привыкнув к темноте, Артемий увидел брошенную для него в углу брезентовую подстилку и свернулся на ней калачиком. Слезы смешивались с угольной пылью, пыль забивалась в нос и рот...

Только под утро ему удалось сомкнуть глаза, и, погружаясь в сон, он все видел стоящую на ветру женщину, тонкой рукой крестящую набирающий скорость состав.

Глядя вслед уходящему поезду, монахиня долго стояла на платформе, подставляя ветру заплаканное лицо. Переполненное любовью, подготовленное к Голгофе сердце сдавливала печаль. Этой ночью ей снилось: ветер на воде, скользящая по реке лодка, ее мальчик стремительно плывет к берегу, а ее затягивает пучина вод... Знала: другой ее мальчик жив, не сгинул в житейском водовороте, но им больше не суждено встретиться.

Вытерла слезы, выпрямилась, улыбнулась и решительными шагами направилась в монастырь, где — она чувствовала — ее поджидала. Нынче перед уходом с дежурства заведующий больницей шепотом советовал поостеречься: о ней накануне расспрашивал мордатый белобрысый комиссар...

Прямо со станции Артемий отправился устраиваться на завод. Из заводских труб поднимался в небо едкий, вонючий пар. От него перехватывало дыхание и страшно першило в горле.

Доска объявлений пестрела приглашениями на работу, но, куда бы он ни обращался, ему отказывали. Узкое породистое лицо, природная худощавость, руки с длинными пальцами выдавали непривычность к тяжелому физическому труду.

Помогла записка помощника машиниста к другу-заводчанину с просьбой помочь Артемию устроиться на работу. В токарный цех требовались чернорабочие по уборке мусора — собирать от станков в мешки остающуюся после резьбы металлическую стружку. И хотя за работу с ночными сменами платили мало, зато приезжим предоставлялось койко-место в общежитии и выдавались талоны на обед. Как бы там ни было, Артемий теперь мог прокормиться и у него была крыша над головой.

Он не сетовал, не жаловался на тяжелый труд, исправно выполнял порученную работу. Держался особняком и ни с кем из разбитых заводских парней не стремился завести дружбу.

После ремонта цеха часть станков заменили новыми. Они занимали намного меньше места, не гудели, не скрежетали, при обточке деталей стружка слетала тоненькая и звонкая. На станки приходили смотреть из других цехов, и Артемию тоже хотелось разглядеть их как можно ближе.

— Вот освоишь наше ремесло, сможешь работать на таких станках!

Старый мастер крепко обнял Артемию за плечи. Он давно приметил, что сметливый паренек интересуется токарным делом.

Техника, действительно, приводила Артемию в благоговейный трепет. В детстве любую подаренную механическую игрушку он разбирал на составные части и старался понять, как она работает. Его отец-священник беззлобно посмеивался: Божий промысел — в семье растет исследователь!

Артемий и не заметил, как привязался к мастеру. Теперь, когда у обоих выдавалась минута отдыха, старик учил его токарному ремеслу.

Мастер не раз приглашал подростка к себе в гости. Тот упорно отказывался: он безумно боялся вопросов о своем прошлом.

Но однажды после утренней смены, когда Артемий, погруженный в раздумья, направлялся в общежитие, старый мастер догнал его и крепко схватил за локоть:

— Ну-ка, молодой человек! Теперь не отвертись! Сейчас мы с тобой отправимся пить чай.

Пахло домашними пирожками, да и чай из медного самовара оказался необычайно вкусным. Ласковая хозяйка постоянно подливала Артемию в чашку и, как он и боялся, расспрашивала о семье.



Слова застревают в горле, приходится взвешивать каждое, прежде чем дать ответ.

Старики предложили сыграть в лото, и Артемий радостно согласился.

— Барабанные палочки! — весело возвестил он, выудив из мешка очередной бочонок.

И вдруг почувствовал, как сжалось горло, а на глаза навернулись слезы. Ведь совсем недавно так же тихо спускался вечер, так же светил абажур и он вместе с матерью и братьями так же играл в лото за большим овальным столом... Где сейчас его мать? В каком лагере его братья?..

От участливого внимания и ласки Артемий расслабился, размяк — и совсем не заметил, как пролетело время. Звук старинных часов отрезвил его, краска стыда залила лицо. Ему давно уже следовало уйти.

Он стал поспешно натягивать на себя тужурку, но хозяйка дома ласково его удержала. Ему приготовили постель в бывшей комнате сына.

Ночью Артемию снился сон: свет от мерцающей лампадки озарял дом, наполняя его спокойствием и теплом.

В начале месяца в цех поступил заказ для машиностроительного завода. Норму выпуска деталей увеличили, заказ требовалось выполнить в короткий срок, и на отдых не оставалось времени.

Артемий работал в ночную смену. От монотонного урчания станков клонило в сон, глаза сами собой слипались.

Вдруг чей-то станок резко заскрежетал, и тишину цеха нарушил пронзительный вопль. Зазевавшемуся рабочему фрезой оторвали пальцы, из раны бил кровавый фонтан.

Пострадавшего отправили в больницу. Подавленные случившимся рабочие разошлись по своим местам.

Замыв следы крови и тщательно обтерев станок, Артемий решил разобраться, из-за чего же произошло несчастье. Уроки старого мастера не прошли даром. Виной всему оказалась неправильно вставленная фреза. На новых станках был иной, непривычный механизм крепления.

Артемий заменил фрезу, запустил станок и занялся обтачиванием болванки. Рабочие, занятые своим делом, не обращали на него внимания.

— Щенок, да как ты смеешь! За самоуправство пойдешь под суд! — Трясаясь от ярости, к Артемию подбежал наладчик. — Куда лезешь, неуч!

К его немалому удивлению, станок работал, а изготовленная подростком деталь соответствовала всем требованиям. Но от станка Артемия тут же прогнали.

Испуганный, он бросился собирать стружку и работал не покладая рук.

После смены его вызвали к начальству. Кляня себя на чем свет стоит, он поплелся получать наказание.

Известный своей суровостью начальник смены впился в Артемия пронизывающим взглядом и сердито потребовал объяснить, где тот выучился токарному делу.

Сердце подростка ушло в пятки от ужаса: уволят за самоуправство с волчьей характеристикой! Он сбивчиво признался, что ремеслу его обучал цеховой мастер. К его изумлению, плохие предчувствия не оправдались. Наоборот: Артемию предложили окончить училище при заводе и получить специальность токаря.

Из кабинета начальника смены Артемий вышел окрыленным. Раньше он и мечтать не смел о том, что сможет, работая на заводе неполную смену, учиться за государственный счет. К тому же, окончив ФЗУ, он мог потом поступить в любой технический вуз страны, потому что учеба засчитывалась как рабочий стаж.

* * *

...На экзаменах и зачетах обычно присутствовали преподаватели с других потоков, поэтому наличие незнакомцев никого не смущало.

— Вы могли бы решить задачу иным путем?

— Конечно, но я выбрал самое рациональное решение.

Посчитав, что обрушившиеся дополнительные вопросы связаны с прогулами из-за подработок, Артемий сосредоточился и старательно отвечал. Темы менялись, а его всё продолжали экзаменовать. Только вопросы теперь касались его планов на будущее.

Какие он ставит перед собой цели? Какие технические дисциплины ему наиболее интересны? Как он смотрит на то, чтобы поменять профиль и посвятить свою жизнь иным проблемам?

Наконец его отпустили, сказав, что в скором времени непременно с ним свяжутся...

Артемий терялся в догадках, к чему все это. Почему к его персоне проявляют повышенный интерес? Но, помня наказ тетки не привлекать к себе внимания, не делился с однокурсниками своими сомнениями и лишних вопросов не задавал. Не говорил он об этом и с Аркадием.

На этой сессии их распределили по разным группам, поэтому на занятиях приятели практически не пересекались.

— Послушай... Без свидетелей надо поговорить! — Аркадий отозвал друга в сторону с многозначительным видом, и это обеспокоило Артемия. — Слушай внимательно и не перебивай! У нас на экзаменах присутствует московская профессура. Отбирают талантливых студентов на специальные факультеты. Тебя отметили и хотят предложить перевод в один из московских вузов. Не соглашайся! Постарайся придумать какой-нибудь весомый довод. К примеру, не хочешь менять специальность. Или, мол, сирота и не можешь учиться лишний год. Как секре-



тарь комсомола нашего факультета, я вхожу в отборочную комиссию и знаю, что говорю. Я понимаю: заманчивые перспективы, новейшие разработки и технологии... Но и повышенная секретность. Всех проверяют до двенадцатого колена: откуда родом, кто дед, кто мать, отец... И если ты не пройдешь проверку, то в лучшем случае просто вылетит из вуза, а в худшем...

Пробивной напористости и предприимчивости Аркадия мог позавидовать любой. Под его руководством курс лучше всех собирал картофель, убирал институтскую территорию или мыл окна в подопечном садике.

И еще Аркадий прикрывал Артемия. Если бы не он, того давно бы отчислили за прогулы. Но Аркадий умел договариваться со старостами, и те ставили Артемию посещения вместо пропусков.

Именно Аркадий брал Артемия в напарники на подработки. И хотя самый тяжелый труд ложился на его крепкие крестьянские плечи, доходы друзья делили пополам.

Кроме того, потрясало упорство, с каким он стремился к цели.

Вернувшись под утро с ночной работы, Артемий в очередной раз застал Аркадия за учебниками. Красные слезящиеся глаза, темные круги красноречиво свидетельствовали, что тот опять не ложился спать, постигая науки, которые другим, окончившим городские школы, давались легче и проще. В сельской школе, где он учился, математику и немецкий вел учитель литературы.

Срок сдачи курсовых работ по сопромату и перевода с немецкого истекал, а у Аркадия, что называется, еще и конь не валялся. В институте с двоечниками не церемонились, неуспевающих безжалостно отчисляли.

Видя несчастное лицо приятеля, Артемий уселся за выполнение курсовика. Потом ему пришлось натаскивать Аркадия по немецкому.

От перевода в московский вуз Артемий категорически отказался.

6.

Как ни странно, про самый знаменательный в их жизни случай ни тот ни другой рассказывать не любили.

Во время геодезической практики шедшая с оборудованием, отчимом и отцом лодка перевернулась на порогах. Оборудование кануло на дно, а отец сильно разбил голову о камень. Если бы не Аркадий, в ледяной воде у него не хватило бы сил дожидаться помощи однокурсников.

...Путь к студенческому общежитию пролегал мимо дома обкомовского парторга. Все лето, с ранней весны и до поздней осени, парторг с женой проводили на даче. И его дочка, учившаяся с Артемием и Аркадием на одном курсе, в отсутствие родителей нередко приглашала друзей к себе домой.

Осень уже настойчиво вытесняла лето. Утренняя сырость проникала под пиджак, и от этого становилось зябко. Было совсем рано, на улице выползали первые пешеходы.

Дверь парадного открылась, знакомая коренастая фигура выскользнула на улицу и поспешно направилась в сторону общежития.

Поначалу Артемий хотел кинуться вслед и догнать друга, но потом резко притормозил. О своих отношениях с парторговской наследницей Аркадий не говорил ему ни слова.

— Ну и гусь! Предложение сделал одной, а спит с другой!

В душе шевельнулась неприязнь. Он представил растерянное лицо их подруги и загрустил: ему почему-то всегда казалось, что она всерьез влюблена в Аркадия. А ведь ради одной ее улыбки Артемий мог пожертвовать собой...

Светлые вьющиеся волосы струились по плечам. Зеленые с поволокою глаза смотрели в душу и, казалось, ясно видели, что там творится. При виде застывшего в восхищении Артемия девушка улыбнулась и скользящей походкой направилась к нему. Он же так растерялся от проявленного внимания, что поначалу не мог взять в толк, о чем она его спрашивает.

Так завязалось их знакомство. Оказалось, девушка учится в том же вузе, но специальность и факультет другие.

В ту ночь он долго не мог заснуть, сердце подсказывало: это его судьба взглянула на него зеленым, кошачьим глазом.

Они стали встречаться, и он уже строил планы будущей совместной жизни, как вдруг выяснилось, что за ней так же ухаживает Аркадий.

Однажды Артемий пригласил ее в кино. Девушка выглядела серьезной, не шутила, не насмешничала и оценивающе поглядывала на своего кавалера. Им обоим понравилась комедия, и в хорошем настроении, вспоминая эпизоды из увиденного фильма, они двигались по направлению к ее дому. Но веселость зеленоглазой красавицы выглядела наигранной, что-то явно ее тревожило.

На прощание Артемий попытался чмокнуть девушку в щеку, но она отстранилась и, опустив глаза, призналась: ей сделали предложение руки и сердца и теперь она думает, как ей быть... А насладившись реакцией Артемия, весело захохотала, крикнула, что это шутка, и, довольная, скрылась в подъезде своего дома...

Геодзическая практика выдалась тяжелой. Неожиданно рано похолодало. Съемку местности под строительство деревообрабатывающего завода пришлось выполнять в максимально короткий срок. Начались дожди, развезло дороги, и ответственный за практику Аркадий принял решение спуститься вниз по реке на лодках.

Местные старожилы советовали не рисковать: рыбаки считали эту часть реки проклятой. Артемий и однокурсники уговаривали Аркадия пойти пешком по берегу, но Аркадий к их мнению не прислушался и настаивал на своем.

Накануне практики его приняли в кандидаты в КПСС и пообещали: если съемка будет проведена вовремя и успешно, то геодзическую практику ему зачтут как испытательный срок для приема в партию.



В последнее время Артемий с Аркадием отделились друг от друга. Если Артемий по-прежнему грыз гранит науки и не вылезал из библиотек, то приоритеты его приятеля заметно изменились. Поняв, что общественная карьера — это верный способ достичь множества целей, в том числе и личных, Аркадий из кожи вон лез, стараясь везде зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Утро выдалось холодным. Над водой висел туман. Аркадий сказал, что, когда они подойдут к порогам, туман рассеется. Мол, он сибиряк и не раз встречался с подобными трудностями. Он с самого подъема был чем-то раздражен, все время ворчал и даже покрикивал на товарищей.

Приближались пороги, но Аркадий не успокаивался, и это тревожило Артемия.

— Да остынь наконец! Чем командовать, лучше смотри вперед. Ты совсем помешался на руководстве.

— Не тебе мне указывать, попович! Благодарю своего Бога, что я молчу...

Как раз в эту минуту лодку вынесло на пороги. Раздраженный Аркадий не удержал весло, оно выскочило из уключины и ударило Артемия.

Падая, Артемий сильно ударился головой о камень и сразу ушел под воду. Она была обжигающе холодной. Не хватало воздуха, в глазах поплыли красно-коричневые круги...

Чьи-то сильные руки вытолкнули его из воды и держали, пока не подоспела помощь.

Представляя эту картину, Варя будто сама ощущала, как в ледяной воде судорогой сводит ноги, а набухшая, ставшая тяжелой одежда камнем тянет на дно.

Она словно воочию видела в воде отца, быстро слабеющего от потери крови, и то, как Аркадий не раздумывая прыгает за другом в ледяную воду. И от восхищения мужеством Аркадия у нее перехватывало дыхание.

А вот приезжавшая к ним погостить бабушка восторгов по поводу Аркадия не разделяла и даже как будто сомневалась в его подвиге. Обаплыли в лодке в уме и здравии, и с чего бы вдруг зять оказался в ледяной воде?

7.

...На ночную погрузку вагонов с продовольствием для северных лагерей Артемия устроил пробивной Аркадий. Работа особая: кого ни попада не берут и прилично платят.

Ноги подгибались, рубаха пропиталась влагой, по спине обильно струился пот. Артемий еще недостаточно окреп после недавней пневмонии и, наверное, упал бы под тяжестью очередного мешка, если бы Аркадий, подскочив к нему, не подставил плечо...

— Да смотри ты под ноги! Ишь, зазевался, гнида! Если уронишь и порвешь мешок, заплатишь мне за него по полной!



Даже не оборачиваясь, он сразу узнал ненавистный голос. Тот принадлежал мордатову комиссару, который арестовал его отца. А ведь Артемий поначалу не заметил белобрысого среди тех, кто командовал погрузкой.

Захлестнула ненависть, он с трудом сдержался, чтобы не выдать себя. Не отвечая на злобный окрик, занес мешок по настилу в вагон и, стараясь не показать охватившего его волнения, отправился за новым.

— Заканчиваем погрузку! Поторопитесь! А ты, малый, ну-ка, поди сюда! Ты-то, вижу, из нашенских — сознательный, активный, вроде за жожака...

Краем глаза Артемий увидел: белобрысый подозвал Аркадия и стал о чем-то его расспрашивать.

— Слушай, малый! Твой напарник случаем не Артемий Преображенский? И откуда он родом, не из Сибири?

— Вы ошиблись. Его зовут Андрей, он откуда-то из-под Челябин.

— Вот как? Сдается мне, ты баланду травишь. Чуйкой чую, это он! Один в один младший сынок покойного настоятеля в нашем центральном городском храме. Больно рожи у них породистые, ни с кем не перепутаешь. Узкие, лобастые. Да и не похож он ни на заводского, ни на деревенского... Ты вот, сразу видно, привычен к физическому труду, а этот сучонок из последних силенок мешки таскает. Я папашу его арестовывал и препровождал в тюрьму. Самого настоятеля и старших поповичей расстреляли, а вот младшему удалось скрыться. Справку выдали — мол, сдох от тифа. Не поверил тогда и до сих пор не верю!.. Ну, бывай! Времени у меня в обрез, наш состав через несколько минут отходит. А ты бы поинтересовался на досуге своим дружком, навел справки. Искренне советую!

Прозвучал пронзительный сигнал к отходу поезда. Издали Артемий видел: мордатый махнул рукой и вскочил на подножку тронувшегося, выпускающего пар состава.

Мысленно поблагодарил Бога, с облегчением выдохнул — пронесло.

— Что, поджилки трясутся, Артемий Преображенский? Не бойсь, я тебя не выдам! — Аркадий разухабисто хохотнул в лицо мгновенно побледневшему Артемию. — Ну, признавайся, рохля, ты и впрямь попович?

Но тот окинул Аркадия ледяным взглядом и, не торопясь, стал стягивать рабочую одежду.

— Не говори глупостей! Какой я тебе Артемий? Собирайся, пора домой.

Из того немногого, что Варя знала об отце, ей особенно нравились истории из его студенческой жизни.

Например, как после долгих ухищрений и немислимой экономии молодые люди купили в складчину на двоих модный двубортный шевитовый костюм и желтые кожаные ботинки со скрипом. Их носили по очереди, на выход, в надежде произвести впечатление на девушек.



Варя покатывалась от смеха: тощий, длинный, как обглоданная кость, отец и не достающий до его плеча, полноватый в талии отчим ни по конституции, ни по росту не совпадали. И нога у отца была на размер больше. Поэтому ему приходилось поджимать пальцы, а отчиму — подворачивать штаны.

...Кто из них раньше отправится в обновах на свидание, решали жребием из двух спичек. Кто вытянет длинную, тот и будет первым.

Сначала тянул Артемий. И проиграл! От разочарования на глаза навернулись слезы. Оставалось вздохнуть и терпеливо ждать своего часа.

Похохатывающий Аркадий удалился с видом победителя. Его бесхитростному приятелю и в голову не могло прийти, что обе спички Аркадий предусмотрительно укоротил.

Заполненная ожиданием, невыносимо долго тянувшаяся неделя все-таки подошла к концу, и Артемий при полном параде отправился на свидание. Ботинки жали, великоватый в плечах пиджак все время куда-то съезжал, но Артемию казалось, что он просто неотразим. Встречные девушки улыбались, прохожие смотрели вслед.

При виде тоненькой фигуры в развевающемся на ветру платье сладко заныло сердце. Чрезвычайно гордый собой, Артемий, расправив плечи, ускорил шаг.

Резвые бесенята скакали в зеленых с поволокою глазах. Звонкие льдинки смеха заставили прохожих замедлить шаг и повернуть головы.

Измученный, совершенно не понимающий, чем же вызван приступ этой неожиданной веселости, Артемий растерялся. Но на него тут же посыпались комплименты, и он оттаял. Девушка оглядывала кавалера со всех сторон, восхищалась его костюмом, сочувственно интересовалась, не жмут ли ему ботинки...

И тут до Артемия дошло: их с Аркадием водят за нос — они встречаются с одной девушкой.

8.

Вскоре вслед за Вариным отцом умерла жена отчима. Объединенные общим горем — разлукой со своими половинами, Аркадий и мать много времени проводили вместе. Часто ходили на выставки и в кино, посещали театр, ездили за город.

Варя с неудовольствием отмечала: они могли бы составить весьма неплохую пару. Это мысль вызывала в душе протест; как ни трудно было себе признаться, Варя ревновала мать.

При отце стоящий в гостиной широкий овальный стол накрывался к приезду Вари старинной белой скатертью. За беседами-разговорами здесь просиживали часами.

Непреренно принаряжались, поправляли прически и макияж. Только Варе позволялись некоторые вольности по приезде — встав с постели

в пижаме или ночной рубашке, покапризничать и потребовать вкусенького к чашке утреннего чая...

Сероглазый, поджарый, всегда вытянутый в струнку отец к столу никогда без рубашки не выходил и держал расстегнутой единственную пуговицу на вороте. Ел неторопливо и деликатно, ловко пользуясь обеденными приборами. Говорил мало, но его речь — яркую, образную, насыщенную необычными сравнениями — все слушали с неподдельным интересом.

Отчим, невысокий, плотный, темноволосый, вихрастый, с хитрыми маслинами глубоко посаженных глаз, нарочно игнорировал принятые в их семье обычаи. Он бесцеремонно расхаживал по дому с голой грудью или в старой, утратившей форму майке, прозванной в народе «алкоголичкой», в линялых, растянутых на коленях спортивных брюках.

Природная склонность к полноте вкупе с любовью к обильной и жирной пище с годами сделали свое дело. Круглое брюшко отчима колыхалось при ходьбе и выкатывалось вперед, как футбольный мяч.

Не переодевшись, мимоходом ополоснув после садовой работы руки, он тотчас спешил к столу и с размаху плюхался в отцовское кресло. Ел шумно, торопливо, причмокивая, чай из кружки тянул с присвистом и звенел ложкой, размешивая сахар. Говорил без умолку, с набитым ртом. Громко смеялся, несколько скабрёзно шутил и, стараясь показать себя докой в литературе, постоянно кого-нибудь цитировал. Чтобы иметь успех у девушек и в интеллигентном обществе, он в юности специально заучивал стихотворения и запоминал афоризмы знаменитых писателей и философов.

В отличие от отца, сдержанного на комплименты, отчим подчеркнул и даже льстиво хвалил мать за любую стряпню, громогласно твердил, что таких красавиц свет не видывал и вряд ли еще увидит, не стесняясь окружающих, обнимал ее, тискал и чмокал в щеку. Мать счастливо рдела от его слов, ворковала, и самые лакомые кусочки тотчас же оказывались у отчима в тарелке.

Все это безумно сердило и раздражало Варю.

Белую скатерть в конце концов заменила клеенка с розочками, на место фирменных платяных салфеток пришли самодельные, нарваные из старых простынь.

Раньше за столом всегда обсуждались только интересующие семью события. Говорили о книгах, литературе, кино, театре. Варя подробно рассказывала о спектаклях, о концертах, которые ей посчастливилось посмотреть. Политических тем старались не касаться.

Перестройка жестоким смерчем смела прежние традиции и устои. Перемены в державе живо интересовали и отчима, и мать. Вместе они без разбору смотрели политические программы, дружно выписывали журналы и спорили до хрипоты, иногда даже до ссор. Но в одном сходились: порядка стало намного меньше и такого руководителя, как компартия, стране еще следует поискать.



Варя их взглядов откровенно не разделяла и ловила себя на том, что под любым предлогом уваливает от посиделок.

В этот раз обсуждали тему хищений на комбинате. Отчим кипел и негодовал:

— Ничего ценного, ничего святого! При советской власти такого просто не могло быть. Партия подобного расхитителям не прощала!

Варя хмыкнула. Фигурантов дела она хорошо знала по рассказам отца. Они всегда значились его соавторами и нередко пытались оспаривать полученные им премии.

— Так вот эти, которых сегодня судят, — бездари, прикрывавшиеся партбилетами. Что у них святого? Уж точно не ваша партия! Она им, как видите, не честь, не совесть и не указ. Они, оказалось, готовы ее продать за сравнительно небольшие деньги. И не Бог! Чего им его бояться?

Отчим вспылил и неожиданно прицепился к Варя:

— Как ты к партии относишься, мне понятно. Ну тогда скажи, а вот лично ты в Бога веришь?

— Я к религии отношусь исключительно как признанный всеми классик. Если бы ее не было, ее следовало бы придумать. Я считаю, у каждого человека свой Бог в душе и своя дорога к храму...

— Кто бы сомневался! По-другому и не могло быть... Яблоко от яблони...

Отчим неожиданно громко втянул воздух, губы его дрогнули, а глаза подернулись пеленой. Выскочил на кухню, шумно пил воду из-под крана, громко сморкался и сопел.

Как бы там ни было, Варя отчима уважала, отдавая должное его упорству и уму. Буйное Вариное воображение рисовало картины из его нелегкой жизни.

Утро, рассвет еще даже не занялся, жуткий мороз, пробирающий до костей. Стараясь не шуметь, пятнадцатилетний подросток тихо слезает с полатей. Стоптаные валенки, ношенный зипун, облезлый треух, в вещевом мешке небольшой кусок сала и припрятанная заранее буханка хлеба. Сонная тишина дома оглашается богатырским храпом его отца, лучшего кузнеца окрестных деревень и сел.

Манят призывно за порог звезды, и подросток как тень выскальзывает за дверь. Если отец догадается о его намерениях, обломает об него не одну палку.

На окраине села ждет обоз, направляющийся в столицу. Сильный мороз превращает в жемчуг выкатывающиеся из глаз непрошеные слезы. Шмыгая носом и смахивая их рукой, паренек отвешивает поклон дому, не сомневаясь, что прощается с ним навсегда.

Долгий тяжелый путь. Обоз наконец-таки добирается до столицы, но та не спешит распахнуть объятия незваным гостям...

Словом, воображать, с какими трудностями столкнулись в жизни отец и отчим, Варя была большой мастак. Живя в общежитии, вдалеке от родных, она хорошо представляла отцовское и отчимова студенческое

житье-бытье. И конечно, у нее вызывало уважение то, что полуграмотный юноша сумел, вопреки всему, получить образование и занять солидный пост на одном из крупнейших металлургических комбинатов мира.

Все бы ничего, Варя даже радовалась за мать: не одна, рядом с человеком, который ее любит... Но задевала и раздражала нарочитая, подчеркнутая благодарность матери к своему избраннику за любой знак внимания с его стороны. Варе помнились нескончаемые издевки по поводу каждого подарка отца:

— Никакой фантазии! Одно и то же! Мог придумать хоть что-нибудь новое! Поучись, простой деревенский парень обскакал тебя, интеллигента, по всем статьям!

Где, когда и при каких обстоятельствах между отцом и матерью пробежала кошка, точно никто не знал. Бабушка, никогда не одобрявшая придирок дочери к своему мужу, полагала, что виной всему несостоявшаяся отцовская командировка в Индию. Для отца это был период творческого расцвета, тогда и ему, и матери, и отчиму исполнилось по пятьдесят.

В арсенале отца имелся десяток крупных изобретений. Но все знали, что при желании из него бы вышел отличнейший агроном.

Все свободное время отец отдавал саду. Груши, яблони, крупная, как черешня, вишня, абрикосы, малина... И еще ему несказанно нравилось разводить цветы. Книжки и пособия по садоводству и цветоводству, всевозможные семена и саженцы покупались в магазинах, на рынке, в питомниках, выписывались по почте.

Работы в саду начинались как только сходил снег, и заканчивались когда снеговой ковер толстым слоем устилал землю. На смену крокусам, тюльпанам и гиацинтам приходили пионы и львиный зев. Расцветали ранние георгины. Их сменяли гладиолусы и так называемые золотые шары.

Под цветы отводились лучшие солнечные места. Посреди сада, вдоль протоптанной дорожки, и перед домом располагались участки для редких и необычных роз. Прохожие заглядывали через забор, соседи приходили полюбоваться, обращались с просьбами нарезать букет. Слава об отцовских розах гремела по всей округе.

Прутик, посаженный отцом сразу после Вариного рождения, вымахал в мощную и раскидистую яблоню. Переставшее со временем плодоносить дерево отец спиливать не стал. Яблоня с причудливым рисунком ствола и ветвей была неотъемлемой живописной частью сада.

В общей комнате, у окна, под которым царила яблоня, располагался старинный письменный стол, приобретенный отцом по случаю в комиссионном магазине. За этим столом Варя готовилась к урокам, вечерами по очереди за ним работали отец и мать. Отец говорил, что стол напоминает ему детство, и очень дорожил им.

Варе нравилось смотреть в окно на яблоню. Она считала, что у дерева есть душа, и делилась с ним сокровенным, как с близким другом. Вместе с яблоней она осваивала таблицу умножения, решала алгебраические уравнения и геометрические задачи и писала сочинения о смысле жизни.



Весной яблоня покрывалась цветом, но потом, обессилев, сбрасывала наряд, серебристо-белым саваном устилая свое подножие.

Когда осенью на ветвях наливалось несколько крупных яблок, и отец, и Варя несказанно радовались этому скудному урожаю. Ветку с яблоком дерево протягивало в окно: дескать, смотрите, ликуйте — есть еще порох в пороховницах!

Живя вдали от дома, Варя тосковала по своему саду. Сразу после приезда бежала туда. Прыгала по дорожкам, гоняла в колодце эхо и шепталась с вишневым деревом.

Теперь сад был другим, будто состарился и сдал, но некоторые изменения были к лучшему.

Что и говорить, хозяином отчим был отменным. Видно, с молоком матери впитал страсть к крестьянской работе и любовь к земле. Всюду царил несвойственный отцу порядок. Грабли, лопаты, прочий садовый инвентарь — все находилось в строго определенных местах. Рассортированные гвозди, шурупы и саморезы хранились в специальных баночках и коробочках, рабочие инструменты — на сделанных отчимом деревянных полках.

9.

— Что случилось? Тебя обидели?

Но мать словно воды в рот набрала.

Посередине круглого орехового стола в тонкой, хрупкой хрустальной вазочке покоился ненавистный перстень.

Вот ведь, собственно, из-за чего сыр-бор! Отчим подробно изложил обстоятельства произошедшей ссоры. Сын с невесткой пригласили стариков в гости. Отправляясь к ним, мать обычно снимала перстень и укладывала его в вазочку. А в этот раз, взбудораженная внезапным приездом дочери, забыла.

За столом весь сыновний семейный клан не сводил со злополучной побрякушки глаз. Ну а после обеда внучка Даша закатила отчиму скандал, потому что бабушка обещала передать ей перстень по наследству.

От подавленного, потерянного вида матери больно щемило сердце.

— Мама, да отдай ты им этот дурацкий перстень! Если он должен принадлежать внучке, значит — внучке. Но на кой ляд вы его дарили?

— Я об этом и говорю. Собирайся и отнеси свой перстень... — Голос матери звучал глухо.

— Да послушайте же меня! Послушайте! Мало ли что мой сын или внучка скажут! Я его сам жене дарил, сам решу, как им лучше распорядиться! Перстень останется у вас в семье. Я умру, будет обо мне память. Перейдет Вареньке, ее дочерям, внукам... И не он один. Посмотрите, что я принес! И индийские безделицы все ваши! Я хочу, чтобы они тоже у вас остались. В семье сына никто ничего не ценит!..

О работе в Индии отчим говорил с упоением, часами. Воды Ганга спускались с небес на землю. И не женщины, а мужчины-прачки поло-скали белье, зайдя по колено в воду. Луноликие пери в воздушных сари усаждали сахиба искусством танца. Бессловесные кули таскали мешки с продуктами из местных лавок и смотрели господину в рот, стараясь пред-восхитить и исполнить любую его прихоть.

Голос отчима при этом делался властным и утрачивал свою сладость. Сам он будто бы становился выше, плечи распрямлялись, глаза блестели. Не деревенский паренёк, сын кузнеца, а высокородный патриций, сахиб, повелитель судеб вставал перед вами.

Кстати сказать, и на комбинате отчима оценивали по-разному. Одни — как крепкого, жесткого производственника, который всегда по-лучает желаемый результат. Другие — как деспотичного, властного и не-далекого самодура, сделавшего свою потрясающую карьеру явно не без помощи тестя-обкомовца.

А ещё поговаривали, что отчим перешел дорогу Варинуму отцу. Но сам отец решительно пресекал подобные разговоры.

Варе очень нравились индийские вещицы — те, что отчим с нарочи-той небрежностью именовал безделицами.

Многорукие Вишну из желтоватой слоновой кости поражали экзотичностью и качеством обработки. Вырезанные из красного дерева сло-ны, инкрустированные панно с танцовщицами завораживали. Но особое восхищение у всех вызывал монах — мастерски выполненная скульптура из красного дерева, высотой около семидесяти сантиметров. В рваном рубище, босой, с выпирающим, как у отчима, животом-арбузом, он про-стирал руки к солнцу и, улыбаясь беззубым ртом, казалось, лучился сча-стьем.

— Я хочу, чтобы перстень и все безделицы стали частью твоего дома, Варенька. Я умру, и тогда этот брахман будет за меня вымаливать тебе место под солнцем и отмаливать и мои, и твои грехи.

От таких разговоров Варя испытывала смятение: сильный, умный, властный и такой непростой мужик становился слезливо-сентименталь-ным.

Мать расставила заморские ценности в гостиной, но посмеивалась, что это их временное хранилище.

Вскоре выяснилось: чтобы поддержать внучку, отчим освободил квартиру и сдал ее внаем.

Живя в столице, Варя постоянно перезванивалась и переписывалась с друзьями детства, а приезжая к родителям, непременно встречалась с ними. Они тоже, то и дело бывая по делам в столице, рассказывали по-следние новости.

— Ходят слухи, твой отчим продает дом и присматривает большую квартиру в центре.

Неожиданное известие неприятно ошеломило Варю. Как же так?! Для чего? Зачем вдруг на старости лет сниматься с насиженного места?



Обустроенное и вполне удобное жилье сменить на новостройку... Да многие всю жизнь мечтают о таком доме! Газ, вода, канализация, гаражи, хозяйственные постройки, теплицы, сад...

Трудно ухаживать, не хватает средств? Но ведь не нуждаются, не все же свои деньги отчим отдает на содержание внучки Даши. Да и Варя помогает старикам: каждый месяц в один и тот же день отправляет почтовые переводы на имя отчима. Матери с ее больными ногами трудно ходить на почту...

— Понимаешь, мамочке станет легче! — оправдывался отчим. — За квартирой следить — не то, что за домом. Ты, как ясный месяц, приедешь, чуток побудешь — и поминай как звали! А я старею, силенки-то убывают...

— Мама, я не понимаю! Для чего вам нужно продавать дом? Вы сдаете квартиру, я присылаю деньги! Средств у вас достаточно, чтобы раз в неделю кто-нибудь пришел и помог его убрать...

— Да о чем ты, дочка! Какие деньги? Я уж позабыла, когда держала их в руках.

То, что у матери нет никаких собственных, даже карманных, средств, вызвало у Вари недоумение и досаду.

— Варенька, ну что ты сердишься, зачем ей деньги? Мамочка никуда не ходит. Все, что нужно, я покупаю сам. Жизнь дорожает. И мы, естественно, вынуждены экономить.

Варя с грустью думала: слепой говорит с глухим. Отчим, казалось, ее не слышал...

Перемен к лучшему Варя больше не отмечала. Ей все меньше и меньше нравился материн настрой. Всегда красившая ее таинственная улыбка сошла с постаревшего лица. Некогда звучный и глубокий голос утратил силу, зеленые глаза потухли и уже не полыхали кошачьим светом.

Никаких больше дифирамбов отчиму, холод и равнодушие в каждом взгляде. Ни макияжа, ни нарядов — один и тот же старенький, но опрятный шелковый халат при встречах. И казалось, тело матери постепенно, клеточку за клеточкой, заполняют апатия и отрешенность.

Отчим тоже в последнее время сдал. Былая властность сменилась угодливой суетливостью, а в его общении с родственниками так и сквозила поддобирастная зависимость.

Варя списывала все на возраст: ничего не попишешь, старость берет свое. И даже пыталась встать на его защиту.

Реплика матери умерила ее пыл:

— В старости отчетливее проявляется человеческая сущность.

Варя попыталась разговорить мать, выяснить, откуда и почему возникло между стариками такое упрямое охлаждение.

— Глупая ты и наивная... Неужто не понимаешь? Для своих старается, готов расшибиться для них в лепешку. Он же гол как сокол! Не дай бог, что со мной случится — любящие родственнички выкинут его на улицу. И кто знает, как ты тогда поступишь. Вдруг дом продашь, ведь это твое наследство! Он же, прежде чем на мне жениться, все, что



имел, сыну с невесткой отписал: сад, гараж, машину... Дарственную на квартиру — внучке. Верно, думал: не ровен час, раньше меня помрет и тогда нам с тобой большая часть его состояния достанется. Сын с невесткой его подзуживают продать наш дом. Купим квартиру — будет общая собственность на двоих в браке. Если что, они законные наследники. А сейчас этот дом только мне принадлежит...

Мать помолчала.

— Выбирала сама и, как видишь, выбрала. Так и буду доживать свой век. Говорили, а я не верила... Что поделаешь, такая у него сущность — всегда и во всем искать выгоду. Был бы жив Андрей, о многом бы его спросила. Думала всю жизнь одно, а вон как вышло. Если доведется, спрошу его на том свете... И не уговаривай меня перебраться в твои хоромы — не поеду. Да к тому же, как ни крути, он мне муж законный, никому не нужен, немолод и нездоров...

Денежными и хозяйственными делами теперь всецело заправлял отчим. Мать замкнулась, углубилась в себя, жизнь в ней как-то резко пошла на убыль. Прижимала к груди пекинеса Джоню, часами рассматривала фотографии в альбоме. Вертела в руках коробочку с аметистовыми украшениями. Перстень в вазочке убрала в сервант и больше к нему не прикасалась.

Из сада тоже уходила жизненная сила. Яблони и ягодные кусты чахли, зелень жухла. Сквозь трещины в бетонированных дорожках на свет настойчиво выползали сорняки. На местах отцовских розариев отчим высаживал картофель.

В первое утро нового года Варя сообщили, что матери стало плохо. Ближайшим авиарейсом Варя отправилась к старикам. То, что дни матери сочтены, сомнений не вызывало. Подавляя слезы и стараясь заглушить боль, Варя взяла на себя роль сиделки.

Отчим каждый день исчезал из дома под предлогом, что надо навестить родных. Варя даже радовалась его уходам: ей казалось, его присутствие мешает совершаться таинству перехода от жизни к смерти.

Неожиданно, вытирая пыль во время уборки, она обнаружила отсутствие заморских диковин.

Исчезли инкрустированные панно. Многорукие Вишну больше не притягивали взгляд. Слоны из красного дерева не попирали ногами землю. И только один брахман по-прежнему обращался к небу.

10.

После похорон в доме толпились люди, приходили и уходили, и Варя никак не удавалось побыть одной. Не притрагиваясь к еде, пекинес Джоня безучастно лежал у тахты, где раньше спала его хозяйка. И Варя с грустью подумала, что в ближайшее время ее ожидает еще одна утрата.

— Вот и мать отправилась за твоим отцом. Что ж, и ей есть в чем каяться и за что просить прощения...



Бывшие приятели и однокурсники отца смотрели на Варю с грустью:

— До чего талантлив был твой папа, Варенька! Очень непростой человек, со стержнем. Но почему-то позволял себя обходить Аркадию. Многие, в том числе и твоя мать, думали: голова — Аркадий! А на деле инженерный гений был твой отец. Все изобретения, совместные с Аркадием, — его, Андрея. Но вот чего у Аркадия не отнять — так это нюха на все талантливое и значимое, напора, недюжинной пробивной силы...

— Странная их связывала дружба. Как будто Андрей по жизни Аркадию был обязан. И еще Аркадий отцу твоему какой-то давней историей грозил. В общем, была в их отношениях червоточина...

— Когда отбирали специалистов в Индию, поначалу даже не поняли, что же произошло. Почему вдруг вместо Андрея в Индию улетел Аркадий? На всех комбинатах внедряли Андреевы разработки... Потом слух прошел, что он вовсе и не Андрей, что его отец — не фабричный мастер, а расстрелянный священник. Но вот с чьей подачи стали вдруг под него копать, это мы вряд ли когда-нибудь узнаем... Сильно, Варенька, он тебя и твою маму берег. Будет время, Аркадия расспроси — может, все-таки он кое-что знает... Он, помнится, возле Андреева гроба у какого-то Артемия прощения просил. Все подумали: не в себе, друга потерял, от горя оговорился...

— Ох, мать бедовая у тебя была, огонь! Что и говорить, цену себе знала. И не только Аркадий и твой отец — сколько мужиков, да еще каких, за ней ухлестывали! А уж твоим отцу и отчиму она голову на всю жизнь вскружила. Ох и насмехалась, и издевалась она над ними! Аркадию сказала, что предпочла твоего отца. А отцу твоему — что, конечно же, выбирает Аркадия. Многие считали, что она в Аркадия влюблена, а она возьми и выскочи за Андрея! И Андрей от нее совсем голову потерял, считал: без нее ему нет жизни...

— Так никто и не понял, что они на Зее не поделили. Что и говорить, Аркадий Андрея, конечно, спас. Вот только кто знает, что между ними произошло? Двое их тогда было в лодке. Андрей как-то обмолвился, мол, ссорились, зазевались — вылетели на пороги, борт качнуло, Аркадий случайно его толкнул... Да они постоянно ссорились из-за твоей мамы! Но Андрей говорил, если бы не Аркадий, еще неизвестно, удалось бы ему выжить...

— А потом на Аркадия стала вешаться дочь обкомовского парторга. Это она только с виду квашня квашней, хватка у нее бульдожья! И сыночек, и внучка пошли в нее. Это на производстве Аркадий большой начальник, а дома перед ними на цырлах всегда ходил. Дочка эта выгоду свою поняла сразу. Обольщала Аркадия изо всех сил, шантажировала, на испуг брала. Мол, если на ней не женится, из института вылетит и вся карьера на свалку. Ну, Аркадий парень не промах. Смекнул: любовь любовью, а с такой женой не пропадешь. И квартиру, и рост карьерный ее папаша им быстренько обеспечит!..

— Дело уже шло к свадьбе, но Аркадий все не решался маме твоей об этом сказать. А потом этот случай... Аркадий тогда все представил так, будто твой отец от несчастной любви сиганул в реку, а он ради друга

любовью своей пожертвовал. Вот и мать твоя так считала... Вас ведь, женщин, не разберешь. Может, это и льстило ей... Ты ни маму, ни Аркадия не суди. Он по-своему маму твою любил. И на свадьбе Андрея от невесты глаз отвести не мог, пил потом по-черному. Было время, даже пытался уговорить твою маму подать на развод. К тому времени уже ты родилась, а сынишка Аркадия собирался в школу...

— А потом — война! Дипломы получили досрочно, и все на фронт. Андрей с Аркадием могли больше никогда и не увидеться. Но судьба их снова свела. Получили, независимо друг от друга, назначение на комбинат — поднимать и развивать черную металлургию. Встретились, обустроились, стали подтягивать сюда кадры. Вот мы, бывшие однокурсники, и очутились здесь...

На девятый день собрались родственники и знакомые. Предавались воспоминаниям, поминали усопшую добрым словом. Суется вокруг родни отчим выглядел озабоченным, расстроенным и пришибленным. Семенил за Варей по пятам, постоянно топтался рядом и явно намеревался о чем-то ее спросить.

Наконец, улучив момент, приблизился к ней вплотную, сглотнул слюну. Раздался подобострастный, горячий шепот:

— Варенька, у меня вопрос щекотливой важности... Отнесись с пониманием к моей стариковской просьбе! Ты продай мне перстень, а? Прикинь сама, ты же знаешь, он стоит немалых денег. Я же не прошу просто так отдать, а хочу купить его. Заплачу сколько скажешь, за ценой не постою! Ну так как?

— Я не ювелирный магазин и драгоценностями не торгую! И кольцо мне еще по наследству не принадлежит!

— Я к тебе со всей деликатностью, а ты грубишь.

Варя от усталости не чуяла под собой ног. И готовить, и накрывать на стол, и менять приборы пришлось самой: помощи никто так и не предложил. Родственники деловито поглощали приготовленную еду.

Перстень лежал в серванте на видном месте, внучка Даша не сводила с него глаз. От Вариной усмешки она побагровела, поперхнулась, закашлялась и пулей вылетела в прихожую.

Наблюдавший за ними отчим, опрокинув стул, кинулся за ней вдогонку. Сквозь закрытую дверь с крыльца, заглушая подобострастное стариковское воркование, доносились сердитые внучкины вскрики.

Когда гости засобирались домой, Варя остановила Дашу. Попросила протянуть руку и вложила в нее ненавистный перстень. Сжала Дашину ладонь с такой силой, что внучка взвизгнула и заверещала.

Следующий день прошел в бесконечных хлопотах: кладбище, паспортный стол, нотариус... Возбужденный гомон пассажиров в маршрутке, переполненной в час пик, вывел Варю из полусна.

Вдоль по спуску, по направлению к дому внучки, бодро семенил отчим. Из-под мышки у него торчал брахман, простирающий руки к солнцу.

Наталья БЕЛОЕДОВА

ТАК СПОКОЙНЕЙ

* * *

Мы ехали в вагоне шесть часов,
и женщина беззвучная сидела.
А я спала, пила, читала, ела,
читала. А потом опять спала.
Она смотрела вдумчиво в окно,
и взгляд ее был полон и печален.
И можно было предложить ей чаю,
но не хотелось прерывать ее.
Мне не хотелось прерывать себя.
Ее — себя.
Все стало равнозначным.
Все стало узнаваемым,
прозрачным.
Текло, струилось
в продолженьи дня.
Там ветер шевелил густые ели.
Там крупный дождь шумел который час.
Она в окно глядела — я ей верила.
Происходило что-то, кроме нас.

* * *

Мост над рекой,
Перекладины расходятся.
На воде пена.
Ступени, как водится.
Дыры, дыры.
Под ними пропасть.

Давай руку. Трусись?
 Брось ты.
 Дыши ровно,
 Нырять не бойся.
 Пройдем по мосту —
 Попадем в осень!

* * *

ты знаешь, там открыли кафетерий,
 там пахнет карамелью и ванилью,
 еще там тихо музыка играет
 и часто за стеною дождь стеной.
 я приведу тебя за этот дивный столик,
 и попрошу мороженого шарик,
 и отпущу тот шарик, что привязан,
 тот шарик, что покоя не дает,
 тот шарик, что меня так крепко держит,
 тот шарик, что меня ножами режет,
 тот шарик, что отчаянно поет.
 лети, мой шарик, в безвоздушный космос,
 а мы с тобой тут посидим немножко,
 мороженое с шоколадной крошкой,
 поговорим, подумаем о прошлом
 и дальше по делам своим пойдем.

* * *

Отпускаю удочку.
 Отпускаю.
 Подо мною белые облака.
 Я сижу у самого края
 и ногой качаю слегка.
 Отпускаю удочку.
 Без намека,
 без прицела.
 Искренний жест.
 А с другой стороны
 кто-то дергает
 и спускает
 меня с небес.



* * *

Настроение, как в море,
на самом дне.
Я подобна морской звезде —
красной, коралловой, немного колючей,
не плачущей и не плавучей.
Тихой звезде, у которой ни дел, ни времени,
нет опозданий, нет имени, нет племени,
есть только море, огромное море всюду.
Красное тело —
пусть красными мысли будут.
Море в ответ, укрывая, становится красным.
Все не напрасно, поверь мне, все не напрасно.

* * *

тут мои стихи
тут стол кровать
окно ведет на площадь
тут мне так сладко было
целовать
и обнимать
и думать проще
не изменилось ничего
но ты
но целовать
но было
над площадью
открытое окно
в нем облако оранжевое плыло

* * *

во главе угла стол
во главе стола отец
во главе отца — род
а не наоборот
и я живу так
во главе меня род
во главе рода — свод
во главе свода — бог

Так спокойней

Невесомое тело становится тоньше.
Наряд — проще.
Звонче поют птицы,

те, что на дереве.
Тех, что в небе, — не слышно.
Земля становится выше, гуще.
Так лучше,
наверное.
Так спокойней.

* * *

Стать заложником кафе.
Заложником ложек и чашек,
красивого мальчика-бармена,
заложником его начальника,
у окна расположенной стойки,
у окна стоящего стула.
Я бы прыгнула в эту улицу —
но утонула бы.
И потому,
отмотав
суп, десерт и два кофе назад,
сизу за стойкой
и гляжу на мокнувший сад.

Государство бабочек

Государство бабочек
Велико.
Яркий мир распластался
В десятках клумб.
Я стою и неслышно едва дышу.
Их глазами смотрю.
Я их новый Колумб.

Крыльев взмах.
Разноцветье.
То тут, то там жук мелькает
Черный, как вертолет.
Микрокосмос открыт.
Понимаешь вмиг —
Он меня сегодня возьмет в полет.

Вкус нектара сладок.
Роса бодрит.
В нашей жизни разные полюса.
Жук замечен
У стыков иных орбит,
Если молча сесть и открыть глаза.

Михаил КАЛАШНИКОВ

ВРОВЕНЬ С РЕКОЙ

Р а с с к а з

1.

«Что-то давит на грудь... Отчего я проснулась? Муторно как-то, то ли тошнит?..»

Аня провела рукой по койке рядом с собой. Место пустое, но еще теплое: Николай только недавно ушел на вахту. Может, он хлопнул каютной дверью и разбудил ее?

Она перевернулась со спины на бок, однако больше не уснула. В круглом иллюминаторе серел рассвет. А еще покачивалась крохотная птичка. Наверное, присела на бельевую веревку. Птица чиркнула клювом по стеклу, своровав у паука его добычу.

Аня оделась и вышла из каюты. Свежим ветерком выдуло остатки тошноты. Пароходные колеса тихо перебирали воду. Реке нравились деревянные перепонки старого угольного служака и их работа. Другое дело — дизельный зверюга. Пройдет — и масляную пленку за собой растянет. Дыхание у него тяжелое, удушливое, винты хищные — не перебирают воду, а кромсают вместе с водорослью, буран от них и шуму много.

На взгорке блеснули свежим мелом белобокие хаты. Зелень садов разбавляла серость выцветших соломенных крыш и подернутой мхом черепицы. У высокого речного берега дрожал заведенный трактор. Он стоял боком вдоль течения, к прицепной серьге крепился трос. На конце его держалось что-то громоздкое, какая-то каменная глыба. Тракторист в восьмиклинной кепке отвязал трос и, перекатив ломом глыбу к краю берега, свалил ее в воду.

С плещ сыпались потоки воды. На ребре колеса повисла длинная камышовая плетель, описала в воздухе полукольцо и снова скрылась в реке.

Тракторист еще какое-то время стоял на берегу и смотрел на воду. Глинистый утес под его ногами лизнула набежавшая от парохода волна.

В груди у Ани что-то кольнуло, и подкатила тошнота, совсем как та, что разбудила ее. Она схватилась за бортовое ограждение и наползла на него животом. Тело передернуло спазмом, но рвоты не было.



«Господи, неужели?.. Быть не может. Доктора сказали, что не смогу носить...» Она приподняла голову и сквозь шум плиц услышала на лестнице частую дробь шагов. С верхней палубы спускался помощник капитана Гришка Косарь — холостяк и бабник, гармонист и кавалер «южного банта»*.

Остановившись, он наклонился к Ане:

— Чего с тобой, милота? Чёй-то взбледнула.

Не поймешь: шутит по-своему или сочувствует?

— Никак по-женски? Так пойду Кольшу обрадую.

— Не ходи! Замолчь. Это не то совсем...

— Может, кого из баб позвать? — уже без улыбки спросил Косарь.

— Не надо никого. И не болтай чего не знаешь.

Косарь хмыкнул, поправил фуражку с белым верхом и зашагал по палубе. Аня дождалась, когда он скрылся за баком, почти бегом двинулась к камбузу. Там выщедила сквозь зубы кружку воды и еще половину. Оторвав губы от края, почуяла: чуть отпустило. Немного постояв, она забрала швабру с ведром, пошла по пустым каютам.

2.

Аня перебросила за борт ведро на веревке; взгляд ее плыл по знакомому холмистому берегу. Голый склон с редким кустарником, кое-где глыбы и россыпи мела под цветастым разнотравьем, посередине горы лесистая шапка. Из нее вылезал длинный узкий язык — деревянный лоток на высоких подпорках с полотняным рукавом на конце. В древесной гуще едва узнаваема крыша зернохранилища. По длинному желобу зерно бежало в трюмы барж, а те везли его на узловую станцию, откуда оно разлеталось на четыре стороны света.

В прошлом году, когда Аня со своей бригадой работала на барже, они грузились здесь. Тогда кто-то обмолвился, что раньше на этом месте стоял монастырь, но, как всегда, нашлись «неверующие», и лоцман указал на заросли:

— Гляди, вход над Доном. Пещеры-то от монастыря остались.

Метрах в двух над кромкой воды и вправду темнел провал подземелья с арочным сводом. До него было далеко, однако «неверующие» вразной передернули плечами, как будто от холода, дохнувшего из сердца горы, а кто-то, наоборот, с интересом напряг взор, пытаясь то ли заглянуть в таинственный коридор, то ли отыскать еще какое-то подтверждение былой монашеской обители. Хозпостройки и подсобки нынешнего зернотока, а в прошлом братские корпуса и монастырские экономии прятались за деревьями на вершине холма.

Команда бурно заговорила о пещере:

— Низенько над водой, в половодье небось заливают ее.

— Как же монахи туда ходили?

* «Южный бант» — комплект медалей за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа.

— Пока разлив — шабаш, нету прохода.

— Не зуди. Думаешь, он единый, этот ход, что ли? Там еще штук пяток наверху есть, да они засыпаны давно.

Теперь на том месте, где, как казалось Ане, тогда был черный провал, громоздилась куча мелового щебня вперемешку с дерном. Склон сполз или вход намеренно завалили — наверняка и не скажешь.

Про другой обвал Аня точно знала. Тем летом она только устроилась в речное пароходство. В Лисках была их конечная пристань, а выше лежало ничем не примечательное село Аношкино. Но в тот год оно прогремело если не на всю страну, то на всю область. Даже в бухгалтерии пароходства ощутили пассажирский наплыв.

Толпы народа заполнили улицы и околицу Аношкина; ночевали под плетнями, во дворах сердобольных сельчан да и попросту в поле. С рассветом снимались со своих стойбищ и шли к берегу реки. Местные и тут не скучали. Кто имел лодки — озолотились: за гривенник с человека перевозили паломников на правый берег. Здесь люди стихийно строились в живую очередь и медленной цепочкой тянулись к глубокой расщелине в меловом склоне. Лодочники прятали выручку в карман и презрительно сплевывали: «Как к Мавзолею, не иначе».

Колонна упиралась в подножие холма; первый в очереди замирал на мгновенье, всматривался в полумрак мелового разлома и чаще всего крестился. Потом отходил, уступая место напиравшим сзади. Были среди них и праздные — те уходили в глубоком изумлении, потрясенные, задумчивые. В тусклом полумраке разлома угадывался мерцающий женский лик, а вокруг него плавали желтые размытые звезды, как солнечные зайцы.

Тысячные толпы паломников висели бельмом на глазу уже не районного начальства, а областного. Скоро на дорогах и проселках, ведущих в Аношкино, появились конные милицейские пикеты и даже воинские патрули. Поток страждущих поубавился, но большинство упрямцев шли бездорожьем, полями, оврагами. Тогда из области вызвали альпинистов. Они спустились по веревкам в расщелину, однако лик в этот момент исчез.

Кто-то из начальства высказал мысль о кинопроекторе (в расщелине полумрак — благодатная почва для шарлатанства). Милицией был прочесан прибрежный лес, где мог сидеть жулик с проектором. Поиск ничего не дал. Лик продолжал испытывать нервную систему обкома. Попытались спихнуть все на матушку природу и некое безобидное «явление погоды». Народ не поверил.

Партийную опалу на местное чудо не снял даже проезд столичного высшего духовенства, когда на месте соборно отслужили молебен. Во время службы пошел дождь, но Дона он не перепрыгнул: те, кто стояли на левом берегу, промокли насквозь, а на молившихся под правобережным склоном не упало ни капли.

Скорее всего, этот молебен и переполнил неглубокую чашу обкомовского терпения. Быстро нашлись двое добровольцев с казенным динамитом. Склон рухнул, похоронив и расщелину, и «природное явление».



Аня знала о бывшем монастыре и проплывавших мимо, спрятанных внутри горы пещерах. Часто о них рассказывала бабка: места эти святые и нынче до поры закрытые, оскверненные, как и иные пещеры, что есть в Гороховке и Семейках, в Колыбелке и Дивногорье. Все эти пристани Аня не раз проходила на барже либо пароходе и, когда выпадала минутка, пыталась найти на склонах следы пещер. Но выжженные солнцем холмы были неприютны и пустынно, лишь степные травы колыхались под ветром.

И все же были на их маршруте пещеры, хоть и невидные с реки. Мать Ани Ирина Митрофановна каждую субботу подсаживалась в Дуванке к дочери на пароход и шла на нем до Костомарова. Там за селом среди степи высилась одинокая гора и в ее склоне были прорыты маленькие кельи и катакомбы. Кем, когда — кто знает? После оккупации местные жители выхлопотали у властей право на учреждение христианской общины, обзавелись небогатой утварью, очистили пещеры и добились проведения еженедельных служб. Бабке Гале уже перевалило за восемьдесят, и она в дальнюю дорогу была не годна. Ирина Митрофановна же поездки в Костомарово соблюдала и, пока ходил транспорт, с мая по октябрь, не пропускала ни одной всенощной.

3.

Про белогорские пещеры бабка Галя рассказывала такой случай:

«Когда пришли времена и веру стали глушить наповал, в округе все церкви позакрыли и монастырь в Белогорье тож. Только разрешили немцу одному в монастырских угодьях коммуну сделать, чтоб хозяйство прок приносило. А немец не коммуну создал, а мощи пещерокопателей вынес — Марии да Ивана. Пошли к тем мощам христиане. За то что дозволял мощам поклониться, стал немец плату брать — и заплатился. Приехал следователь, Усатый прозвищем, заарестовал немца-арендатора, а мощи на щиток выкинул и стал палкой на них указывать: вот, мол, никакие не мощи, а так, костяшки обнаковенные. Сделалась тогда с Усатым через время болезнь. Стали у него глаза да подмышки рыбьей чешуей зарастать. Сколько-то помучался, по врачам его повозили, да и издох. Тогда приехал на его место другой следователь — Каменский. Он людям объяснял, чтоб смуты не было, будто Усатый не Божьим гневом наказан, а самой простой болезнью. Ее от человеческих костей подхватить можно. Будто была раньше такая болезнь и солдаты царя французского, когда могилы в Египту грабили, сплошняком от нее сгнули. Вышла тогда одна женщина, спросила Каменского: отчего ж все те, кто церкви разломал да мощи потоптал, еще по земле ходят, болезнь их французская не берет? Обиделся Каменский, уехал».

Аня оперлась на швабру и поправила косынку. Раннее, еще не жаркое солнце выбило на ее лбу мелкие крапины. Девушка провела рукой по своей смуглой от природы коже и подумала: «Послезавтра, когда опять вверх по Дону пойдем, надо будет мать захватить. Как раз суббота».

Службы в костомаровских пещерах велись без батюшки, лишь староста из местных читал молитвы да бабы псалмы тянули хором. Был еще юрод Петрушка, однако он постоянно скитался меж Белогорьем и Костомаровом, жил то в одних пещерах, то в других, зимовал по людям, но чаще одной ночи ни у кого не задерживался. Когда на земляной пол стелили солому или кожух, то все убирал прочь и ложился так. Уже давно он прозорливостью своей памятен. В революцию молился не сходя с колен, и пол под ним мокрым был от слез. Обводил купола рукой и причитал: «Молитесь, люди, спешите! Скоро ничего не будет».

Перед войной Божий человек приходил на белогорскую паромную переправу, насыпал на дороге холмики из пыли и земли, ставил в них маленькие крестики, слепленные из веточек. Летом сорок второго над переправой размоталась дьявольская карусель: в небе потемнело от самолетов с квадратными крестами и драконами, земля по обеим сторонам реки не вмещала пролитой крови, и кровь стекала в Дон, где волна взбивала розовую пену.

Много народу лечил Петрушка и скотины домашней. Люди бы и дальше прятали его. Последнее время он удалился, вырыл в глинистом склоне близ Молочного озера себе келью и там обитал. Один раз пришел к Петрушке местный и привел незнакомца с забинтованной щекой. Юродивый встретил их словами: «И не болящий он, а из милиции». Юродивого увезли к сумасшедшим, чтоб мракобесия не разводил. Там его след затерялся.

4.

Пароходный гудок объявил пассажирам, ждущим на берегу, чтоб они поторопились: транспорт уже на подходе, осталось обогнуть ему небольшой увал. Остальным же жителям Белогорья гудок этот был вместо часов — звучал строго по расписанию два раза в день: утром, когда шел на Лиски, и вечером, когда на Павловск. Пожилая крестьянка, роясь в огороде, разгубила спину и крестилась на макушки деревьев, туда, где лет двадцать назад торчали позолоченные кресты и каждый час сторож на колокольне отбивал время.

На дебаркадере толпился народ и среди него — Рая, подруженька. Сходни еще не подали, а она уже протискивается сквозь толпу и приговаривает:

— Дорожку, дорожку, граждане пассажиры, пропускаем работника пароходства.

Заняв место первой в очереди, она увидела Аню и, встав на цыпочки, помахала ей.

Райка — сколько с ней хожено... Хоть и постарше она Ани, хоть и дите у нее уже, а вот поди ж ты — сошлись, как ниточка с иголкой. Не случайно и в крестные Райка именно Аню взяла.

За столом в ленинской комнате однажды разглядывали свежий «Крокодил». На карикатуре были парень с девушкой у темного, мрачного

строения с погасшими окнами. Мимо них парочки и группы шли к храму, где мягким светом горели окна и двери. Девушка на карикатуре спрашивала: «Что это все вместо клуба в церковь тянутся?» А парень, указывая на неосвященные окна клуба, лаконично, но двусмысленно отвечал: «Темнота...» Всем нравилась карикатура, ее скрытая и в то же время понятная суть. Аня разглядела в рисунке еще кое-что. Храм был без тени ветхости и запустения, как обычно рисовали журнальные карикатуристы, вполне стройный стоял себе на холме, а не в низине, как темный, кривобокий клуб. В силуэтах прихожан тоже не было карикатурности, вроде скукоженных бабок с носами величиной в картофелину.

Аня свою веру никогда на выставку не выпячивала, но и не прятала. Она провела рукой по рисунку и твердо произнесла:

— А может, это про другой свет?

Присутствующие переглянулись:

— Про какой про другой?

— Ну, не про электрический.

— Понятное дело, не про электрический. Откуда в церкви электричество? Там свечи горят.

— И не про свечной.

— Ну, а про какой же тогда?

— Про Божий. В клубе нет Божьего света, оттого люди туда и не идут.

Сидевшие за журналом недоумевали еще какие-то секунды, потом набросились разом:

— Да ну тебя, Анька, городишь тут!

— Тоже мне, божья корова!

За смелость свою Аня угодила сначала в лучшие Раины подруги, а после и в крестные. Только дороги у них в пароходство разные были. Райке повезло: у нее мать кладовщицей в промкомбинате работает — ей, как дочери служащей, легче было паспорт в сельсовете получить и на работу устроиться. У Ани же мать колхозница, да и сама Аня с десяти лет в поле ишачила — таким паспорта на руки не выдаются, в канцелярии мертво лежат. Мать в ногах у председателя валялась, вымаливала, чтоб он паспорт дочкин из сейфа вынул.

Люди и не на такие унижения идут: жизнь колхозная в разы горше производственной. Работа без нормы, с зари до зари, денег не платят, только трудодень, натуральных налогов край непочтатый: молоко, масло, яйца, сало, кожа. Никого не интересуется, держишь ты поросенка или нет, — кожу обязан сдать. Режут хозяева с соседней улицы поросенка, а мать Анина уже бежит к ним, в очередь «на кожу» становится, чтоб норму в конце года было чем отдавать. Так и карабкались.

Бывалые мужики и те, утерев пот, нет-нет да и скажут с оглядкой: «На фронте иной раз легче было». Дошло до того, что на каждое фруктовое дерево налог ввели. И завизжали в ночи зубастые ножовки — перевели свои сады колхозники. Помимо натурального налога, еще и на госзаем записаться в обязательку заставляют. А где ж на него денег взять, если в

колхозе трудоднем расплачиваются? Поневоле от такой жизни убежишь. Последние годы только послабление началось. «Пришел Маленков — поели блинков».

5.

Рая вспорхнула по крутым сходам:

— Привет, Анютка! Как вы тут?

— Привет. Да скучно без тебя. Что там мой крестник?

— Ничего, баловень растет. Опять в баню не затащишь. Васька уже и силком тянул — тот в крик.

— Бедное дите.

— Да брось ты! Неженка он, в задницу зацелованный.

Аня знала о страхах крестника. До поры он ходил с матерью в женскую половину общественной бани, но годы свое брали, и повел Василий сына с собой. А там что ни клиент, так либо безногий, либо безрукий, или с иным увечьем по мужской части. Малыш с непривычки в слезы. Василий ничего, думает: это по первости, потом пообвыкнет, перестанет и замечать. Но раз от раза детский рев нарастал, чужое уродство грозило перерасти в личную болезнь несмышленища. Аня не раз намекала подруге: может, повременить с баней, не мучать мальчика? Рая лишь отмахивалась: какое дома купание в корыте? А крестная мать понимала своего крестника.

...В тот год и пятнадцати ей не исполнилось, только война прошла, еще не все по домам успели вернуться. Она с матерью на рынок в Павловск пошла, творог да масло продавать. На обратном пути в потребиловку* заглянули, керосину на вырученные купить. Там они и сидели: пьяные, неухоженные, жалкие, калечные. Здесь была их тихая заводь, приют неприкаянных и отверженных. Здесь они снова и снова штурмовали рейхстаги и кенигсберги, форсировали Днепр и Одер, здесь любой из них был за брата.

Аня потом долго боялась сама заходить в потребиловку, как и к соседке Леське, у которой дядька вернулся контуженным. Мать Леськи дохаживала за ним, потому что законная жена от нетрудоспособного, потерявшего разум мужа отказалась. Он почти не спускался с лежанки, голова и руки его постоянно мелко дрожали, и он никогда не говорил. Все знали, что от тяжелой контузии он потерял и слух и голос. Пока однажды по радио не зазвучал полонез Огинского... Аня в тот вечер снова была у Леськи, помогала ей с выкройкой и, когда услышала голос с лежанки, с шумом выронила ножницы. Увечный сидел в своем привычном положении, свесив босые пятки, и вдруг негромко заговорил, растягивая слова: «Когда мы переплывали Днепр, он вышел из берегов от наших трупов...»

* *Потребилровка* — магазин потребительской кооперации (разг.).



6.

— А как там Васька? — наконец спросила Аня.

— Васька все ждет не дождется, когда с кумом выпьет. Когда, говорит, Кольша с Анютой заглянут?

— Есть у него кум, а у мальчика крестный.

— Да где ж того кума найти?

Когда Райка позвала Аню в крестные, та отозвалась без сомнений. Василий же долго не мог подбить никого из друзей на крестины. Согласился было один, да вовремя вспомнил, что он в комсомоле. Сказал, что от звания почетного не отказывается, погремушки-машинки будет дарить, но на обряде присутствовать не хочет. Плюнули Васька с Раей на такого «крестного» и поехали в Павловскую церковь, единственную на всю округу не закрытую. Там на паперти предложили какому-то богомольному мужичку их дитя покрестить. Тот не противился. Видно было, что в храме он не первый день и крестит явно не первого. Бабка Раина после крестин серебро ему подарила, монетку в двадцать копеек, как в старые времена принято было. Окрестил да и исчез. Нет, не пропал, однако Райке-то с Васькой не пристало в церковь ходить. Они бы, может, и совсем сына некрещеным оставили, но бабка Райкина с матерью и Васькина мать — попробуй такой кагал переспорь! Вот и выходит, что есть у пацана крестный, живет где-то, молится за него каждый вечер, только кумовьев своих, как и крестника, не встречает.

Хотя, наверное, пусть лучше так, чем как у тетки Нинки из Колодежного, что поварихой у них на камбузе. Она сына в середине войны родила. От кого — непонятно: мужа-то еще до войны репрессировали. Злые языки поговаривали, что от мадьяра. Родила весной ранней, по слякоти, а через Колодежное поп-скиталец проходил. Пригласили окрестить новорожденного. С крестной матерью проблем не было, а где мужика найти, когда они все на фронте? Отыскался один, из госпиталя вчистую выписанный пришел. Смурной, нелюдимый, но уговорили-таки. Годы идут, а мужик крестничка сторонится. В прошлом году пришел к тетке Нинке, лбом в землю ткнулся, говорит: «Прости, кума. Я на твоего Сашку донос в тридцать девятом накалал. Прокляни меня, ирода». Нинка ему: «Чего ж ты тогда не открестился? Зачем согласие давал, когда в кумовья позвали?» Молчал кум, что-то свое в мозгу перебирая...

7.

Пароход отчалил от плавучей пристани, плавно заскользил мимо «засола». В заливаемом лугу был распахан участок под колхозную огородню. Урожай сносили прямо к донскому берегу, благо недалеко, здесь же перемывали овощи, здесь же их и солили, оставляя в бочках под камышовым навесом до осени. На исходе октября, прямо перед концом навигации, придет баржа и отвезет разносолы в Лиски, а оттуда они по



железке разъедутся по городским гастрономам. Обратно же баржа приволочет платформу с буртами угля, промтовары и текстиль в закрытых ящиках.

Сторожит огородню (и разносолы заодно) дед Юхым. Вон его кожух на берегу маячит. И детвора тут же кружится, частушки похабные про него сочиняет, в локте руки переламывает: «Придет дедушка Юхым — покачает вот таким». Злятся пацаны на старика: дело он блюдет четко. Невдомек огольцам, что лежат у него в жестянке из-под монпансье между старой фотокарточкой и похоронкой на сына два Георгиевских креста, а в углу шалаша камышового единственное добро нажитое — завернутая в рушник доска с Богородицыным ликом. На щеке у Иверской кровь прорисована. Четверть иконы срублена, Младенец лишь вполонину уцелел. Следы от топора на доске рядом с раной, и кажется, что кровь не нарисована, а выступила. Спокойные глаза с иконы говорят: «Я все вынесу и все прощу».

Погрозит дед Юхым огольцам палкой, прокричит для порядку: «Ух, прокляты сатаны!» — и снова взгляд в груды огурцов оставит. Скорей бы вечер: бабы для засолки придут, хоть словом с ними обмолвишься.

Пассажиры еще не разбрелись по каютам, еще толпились в проходах и на верхней палубе. Бабы с лукошками и сумками стелили на припорошенную угольной пылью палубу свои рогожки — либо на базар едут, либо по местности, к родне. Вот этот в шляпе, галстук и с объемистым чемоданом — наверняка на курорт. Много военных (хоть и одеты они теперь в цивильное) — отпускники с семьями и поодиночке. Пароход собирает их вдоль всего пути, потом выпустит на лискинской пристани и разлетятся они по гарнизонам. Вместо них с лискинского вокзала придут на пристань иные отпускники, те, что жарились под сибирским солнцем и загорали в магаданских санаториях не один год. Покуривая папиросы и стряхивая пепел с прожженных рукавов фуфаяк, беспокояно тебя лямки заплечных мешков, они будут смотреть на речную гладь, на песчаные полосы вдоль воды, на меловые дивные столбы и сами себе верить не будут. Которые из них невиновные, по амнистии до срока выпущенные?

Аня впервые видела их несколько лет назад, когда на Волго-Донской канал камень привозили. Всяких там было: и невинных и виноватых, и мужиков и баб. Весь берег ими усеян был. Задолго до Волго-Дона экипаж предупредили: на берег ни под каким предлогом не сходить. Аня заметила кишашее море людей, вручную рывших канал и укладывавших камень, и ей стало жутко. Кто-то произнес: «Как черви кишат». По одному берегу будущего канала тянулся мужской лагерь, через колючий забор от него, на другом берегу — женский.

Пока разгружалась баржа, из бабьего лагеря, несмотря на постоянные окрики охраны, несся галдеж и смех:

— Эй, начальник, пусти на баржу погулять!

— Ты, ты, в фуражке который!

— Гляди, а вон длинный какой! И у него небось длинный...



Под вечер, когда нутро баржи опустело и катер потащил баржу назад, Аня видела, как в сумерках схватились врукопашную несколько сот каторжан. По катеру мгновенно пролетел пущенный с берега слух: блатные требовали с «мужиков» пайку, но те не подчинились — пошла рубка. Стрельба поверх голов ни к чему не привела, тогда подогнали пожарный катер. Струей из брандспойта удалось разбить массу на отдельные кучки. Потом охрана долго растаскивала по грязи мертвых и изуродованных.

8.

Рая подсела к подруге после ужина, когда уже допивали чай. Наклонилась к уху, шепнула:

— Представляешь, кума, опять Косарь проходу не дает.

Аня о своей сегодняшней встрече с Косарем промолчала. Вместо этого дала совет:

— Сказала б Василию. А не то, хочешь, своему скажу, он тебя в обиду не даст.

— Да брось, Николая хоть сюда не вмешивай.

Аня присмотрелась к Райке:

— Так, может, тебе нравится, что Косарь руки распускает?

Рая смутилась, но легкая игривая улыбка не ускользнула от Аниных глаз.

— Гляди, Райка, будет тебе как в Вешках.

Та глянула на Аню и, вспомнив, рассмеялась.

Привезли тогда в Вешенскую уголь. Целый день стояли на разгрузке. Среди местных рабочих был один угрюмый и нелюдимый, над которым все подшучивали и звали Паликмахтером. Аня украдкой спросила одного из грузчиков: «Если он парикмахер, то почему на пристани работает? Или за пьянку выгнали?» Рабочий расхохотался: «Да он жинку с другим застукал и обрил ее наголо. Вот тебе и Паликмахтер».

Рая закатывалась все громче, и Аня, не выдержав, тоже со смехом добавила:

— Будут и твоего Ваську Паликмахтером звать. Пожалела б его, неужто он заслужил?

Рая сбавила смех.

— До свадьбы все они хорошие. И мой, пока холостой был, в рот водки не брал. Как оженился, так каждую неделю наливается.

Частенько жаловалась она подруге. Один раз Василия и Раю позвала родня белить хату. После дела, само собой, праздник. Василий набрался так, что в разгар гулянки выхватил из чугунка с окрошкой две ложки и стал молотить ими себя по коленям, по рукам, по затылку. Звук получался не очень ясный, ложки оловянные, лишь навесил себе на уши вымоченных в квасе огурцов и укропа. Его хотели утихомирить, но ложкарь не унимался. На другой день возле проходной комбината его поджидали мужики, бывшие на гулянке: «Ну, Васька, ты вчера дал!» Василий прятал синяк под глазом и тихо отвечал: «Да то не я, то “экстра”, “экстра”...»

Рая долго ругала Ваську за тот вечер, однако Аня знала, что ей больше жаль своего обручального кольца, по нечаянности вмазанного вместе с глиной в стену хаты, а не Васькиного поведения.

Глядя на жизнь Райкину, она не раз говорила ей:

— Ну зачем ты его грызешь? Живи да радуйся! Вон взгляни на мать свою. Она-то теперь об отце твоим словом плохим не обмолвится.

Рая умолкала. Отца ее следовало бы помянуть не просто плохим словом, а, может, и самым последним, но нынче он воин, без вести пропавший. Рая не забыла, как до войны отец напивался и буянил так, что мать убегала со всем выводком и пряталась по соседям. А теперь мать часто сидит в огороде под плетнем, у одинокой могилки, где похоронены несколько красноармейцев, погибших на второй год войны при бомбежке Белогорья. Она сама стаскивала тела убитых в воронку, сама присыпала их землей, сама убирала могилку после войны и клала на нее красное пасхальное яичко.

Однажды с матерью и вовсе случилась истерика. В который раз она пошла замазывать потолок в погребе. Рая помнила, как они прятались в нем от бомбежки и, когда наверху все стихло, открылась дверь погреба, вошел немец. Он показал жестом, что всем надо выйти, мать же вцепилась в детей, и никто не двинулся с места. Тогда немец провел стволом над их головами. На детей посыпалась глина, пыль и меловая крошка. Семья вывалила на улицу... Мать каждый год по весне замазывала след от автоматной очереди, но глина снова и снова отпадала, открывая продырявленные меловые блоки. В тот раз она и упала на сырой пол погреба, заколотила по нему руками, забилась в плаче...

Всем тогда хотелось поскорей забыть ее, проклятую, да не давали дырки в потолке, могилки под плетнем, обрубки рук и ног в общественных банях.

9.

Рая, стерев улыбку с лица, пошла по своим работам. У Ани опять затомило в груди и накатила тошнота.

Сдав грязную посуду, от раздаточного окна шел Николай.

— Прихворнула, что ли?

— Да нет, так... Может, съела чего, не знаю...

— Косарь говорит, видел, как тошнило тебя с утра.

— Вот же трепач! Просила ж...

Николай глядел с тревогой, не зная, радоваться ли, сомневаться.

— Думаешь, то самое?

— Чего думать-то? — отмахнулась Аня. — Чудо если только.

...В ту черную осень Аня была на восьмом месяце. Дорабатывала последние дни перед четырехмесячным материнским отпуском. Лист облетел, и зарядили длинные дожди, от которых не только раскисла земля, но и река, казалось, стала черноземной. Навигация заканчивалась, пароход ставили на прикол в порту. Как получилось, что Аня оказалась



между швартовочным тросом и бортом, она и после вспомнить не могла. Помнила только перекошенные ужасом глаза Николая, до этого всегда спокойные, немного улыбочивые, как и все его лицо, редко выражавшее эмоции. Он перемахнул через ограждение верхней палубы и летел с ее высоты очень долго. Так ей, терявшей сознание, казалось. Она еще на миг открыла глаза, когда он достал ее из ловушки и поднял на руки, и отключилась.

В больнице Николай беззвучно плакал и признался:

— Знал я... еще на Сахалине когда служил... Ворожка мне нагадала бездетным быть.

— Зачем же меня брал? Так любил, что «осчастливить» не терпелось? Меня любил аль себя?

Николай не вставал с колен у койки Ани, лишь склонял темя к ее подушке, будто просил прощения.

— Не в ворожке дело, — тихо добавила Аня без упрека. — Так нам написано.

Ирина Митрофановна приходила навестить дочь и тоже горько убивалась:

— То ли я тебя Скорбящей на свадьбу благословила?..

Теперь же Аня думала: «Через трос, которым ребенка перебило, примотал Ты меня к Себе навечно. Твоя воля. Редко кто по легкому пути к Тебе идет».

Николай обернул голову на пароходный гудок и снова, низко склонившись, заглянул Ане в глаза:

— Так, может, оно и есть? Чудо?

— Не знаю, ждать буду. В больницу пойду, когда уж совсем ясно станет.

Он ласково обнял жену. Тихо сказал на ухо:

— Ты знаешь, как знак сегодня видел. На рассвете, когда вахту нес, гляжу: на берегу трактор гудит и мужик у серьги возится. Присмотрелся, а к тросу бюст прицеплен.

Аня вспомнила утреннее виденье, вздрогнула:

— Чей?

— Да уж вряд ли Ленина. Его, небось.

Аня постояла задумавшись.

— Никакой не знак это. При чем тут?

— Да, — согласился Николай через минуту. — Время пришло — и булькнул.

Колеса-плицы молотили по воде, и мальчишки с берега бросались на широкую волну. Река лениво ворочалась, подставляя усталому солнцу то один, то другой бок. Над улочками придонских хуторов стелилась дымчатая пыль. Гнали череду* с пастбища, и роняло раздутое коровье вымя на дорогу невмещенные капли. Дизельный «Сталинец» тащился с поля, везя за собой караван из трех телег, а в них беспокойный гомонящий народ —

* Черда — стадо (обл.).

бабы. Семь потов сошло с них в поле, а дома еще дойка, готовка, мытье. И все равно с шуткой и песней, не уймешь их. Протарахтела повозка. В ней старик согнулся, годы прошедшие вспоминает, смотрит на улицу: чем не жизнь нынче?

С первыми звездами народ повалил на палубу: не усидеть по каютам в такую пору. Косарь баян растянул, а вслед за мехами и песню: «Раскину-лось мо-ре широ-ко...» Но скоро умолк — на смену ему с берега заговорили девичьи голоса. На верхней палубе тихо. В вечернем сумраке слышно, как сквозь шепот пароводных колес плывет над рекою девичье двухголосие. Гуляют девчата по берегу, забавно им на пароход поглядывать, слаженным хором мелодию вести. Куплет протянут и ждут. С парохода ответили, подхватили на втором куплете, да не так гладко вышло: публика из случайных пассажиров разношерстная, не спетая, не чета девчатам с берега.

Лодка бакенщика качнулась на ласковой пароводной волне. По лицу с седой щетиной проплыла гордая улыбка: «Куда им до наших девок!» Не торопясь развешивает бакенщик на реке огни. С правого борта красный эшелон тянется, а по левому — мягкая зеленая ниточка. Стемнеет совсем — и по огонькам на бакенах можно все изгибы на реке читать, все загогулины.

Жизнь течет вровень с рекой. Только на тихом Дону не встретишь ни уступа, ни порога...



Роман РУБАНОВ

ПОЕЗД НА МОСКВУ

* * *

Завтра дождь, как пить дать, пойдет,
а сегодня опять недолет:
тучи днем друг за дружкой ходили,
и, казалось, вот-вот упадет...

У воды есть небесная сила,
и во имя Отца и Сына
все смывает она, все грехи.
Жметя с холода к вербе осина,
и ворона слетает с ольхи.

Скоро будут и громы, и дождь,
скоро землю прорежет крапива...
Скоро, скоро уже, потерпи,
потеплеет. Вон радостный бомж
пьет в кустах недопитое пиво.

Он весне, как воробышек, рад.
Закурил бы, да нет сигареты...
Вот менты в форме серого цвета
«проходите» ему говорят.

* * *

Ты смотришь вечером в окно.
Горит звезда.
А время ходит — вот оно —
туда-сюда.



Спит дочь. Лежат повсюду сны.
Струится свет.
Окна замерзшего коснись —
и будет след,

и будет в комнате тепло.
Прийти. Обнять.
И тускло отразит стекло
меня.

Вот так стоять, смотреть в окно
с тобой вдвоем.
Спит дочь. И спит уже давно
микрорайон.

Дождем, что поспешил к весне,
снег будет смыт.
Смотри, кто это там, в окне?
А это — мы.

* * *

Здесь когда-то росли такие мальвы, высокие мальвы...
Дом был выкрашен весь голубой эмалью,
И окно, распахнутое в рассветную свежесть,
Чуть скрипело, и в этом была нежность.

В этом была такая любовь — большая, как мальвы,
И ее, казалось, будет ни много ни мало,
Будет ровно столько, сколько в саду молодых побегов,
Чтоб на всех хватило, на ангелов и человеков.

Здесь когда-то фонари горели оранжевым светом,
Расщепляя мрак на мирный вечерний атом,
Голоса шуршали, поскрипывали качели,
Пили пиво люди с фресок Мазаччо и Боттичелли.

В этом была такая гармония — совершенней дневного света.
Место каждое не было пусто, поскольку свято.
И поэты, менявшие мир стихами,
Уходили молча по вертикали.

* * *

Лёши Дьячкова «Короткое лето».
Поезд идет на Москву.
Выйду в Орле, закурю сигарету,
Пару минуток дымну.

Молча в вагон возвращусь, где соседка
Смотрит пейзаж из окна.
Книжка Дьячкова «Короткое лето»,
Словно дорога, длинна.

Май за окном загудит проводами,
Рыбой в реке запоет.
Сельская местность все ближе, с годами
Я понимаю ее,

Все ей пишу и пишу без ответа
Мелким дождем по песку.
Лёши Дьячкова «Короткое лето».
Поезд идет на Москву.

* * *

Я сплю. Мне снишься ты.
Мне снишься
В сиреневом прозрачном платье.
Я сплю. Мне снишься ты.
Мне снишься
В домашнем розовом халате.

Мне снишься ты, твое дыханье.
Мне снишься
В платье и халате.
Мне снишься ты, твое дыханье...
Мне снишься.
Хватит.

Не надо снится мне. Не надо
Мне снится.
Надо мне не снится.
Не надо снится мне. Не надо
Мне снится.
Ходят проводницы,



И по вагону ходят дети.
И дети ходят по вагону.
И все на свете
Теперь проходит по-другому.

Всё по-другому. По вагону
Туда-сюда проходят люди.
Проходят люди по вагону.
Одни сойдут. Других не будет.

А ты останешься мне сниться
И будешь говорить со мною.
А поезд мчится, чтобы слиться
Со временем, весенней тьмою,

С ночным Орлом, леском березовым,
Чтобы помочь добраться мне,
К тебе в сиреновом и розовом,
Как в этом сне.

* * *

Береза, лиственница, клен —
В строю шагают вдоль обочины,
И машут вслед мне, ну а прочее,
Как говорится, общий фон:

То поле выгянет, то луг,
То речка, то какой-то хутор...
То сосны — слышно, наверху там
Какой-то дятел: тук-тук-тук.

Сейчас произойдет закат,
И краски смажутся мгновенно...
Нет, все приходит постепенно:
Тускнеет взгляд,

Усталость набирает ход,
Снижается все ниже небо,
И горизонт натертым нёбом
Закат жует.

Строй тонет в гуще темноты,
И вот уж не видны на склонах
Березы, лиственницы, клены,
И я, и ты.

Оксана ВЕТЛОВСКАЯ

В УПОР НЕ ПРОМАХНЕШЬСЯ

Р а с с к а з

1.

Раз в неделю почтовый ящик приходилось чистить от рекламных буклетов. Это ж представить жутко, сколько людей работают на мусорку, сокрушалась про себя Лика, выгребая из ящика нарядные глянцевые бумажки, в которых было столько холодящей свежести и упругости, словно жизнь им предназначалась куда более долгая, чем полет до ближайшей бумажной корзины. Всякий раз Лике было даже немного стыдно скармливать буклеты мусоропроводу: такую внушительную толпу маркетологов, дизайнеров и типографов ей рисовало воображение.

«Уважай чужой труд». Бабушкина наука. И еще вот это: «Заботься о близких». Вспоминалось в те минуты, когда Лика думала, что вот есть же, есть на свете приюты для престарелых...

Она глубоко вздохнула: не хотелось идти домой. Но придется. Надо.

Из пачки рекламных буклетов ей под ноги спланировал иссиня-белый конверт. Еще один шаг — и сгинул бы в мусоропроводе. Лика подняла его, недоумевая: для квитанций на квартплату еще не время, а никаких других конвертов в этом ящике давно не появлялось. Раньше бабушке писали подруги, но она пережила их всех еще с десятков лет тому назад.

Непривычный формат. Побитые дальней дорогой углы. Чужие яркие марки, неразборчивые печати. Наклейки-штрихкоды. Рукописная латиница сопротивляется глазу. Похоже, ошибся почтальон, сунул не в тот ящик. Лика едва не отложила письмо на подоконник, но еще раз рассмотрелась в строку с именем адресата.

«Nora Nikolajewa». И в адресе отправителя — «Zürich». Подумать только!

— Ба, тебе письмо. Представляешь — из Швейцарии!

Нора никак не отреагировала. Лика вообще не была уверена, что та услышала, хотя бежевые накладки слухового аппарата были у старухи на месте. Девяносто пять лет. Лике все чаще казалось, что безвылазно сидящее в квартире человеческое существо уже не имеет никакого отношения



к ее бабушке, да и вообще большую часть дня обитает в каком-то параллельном мире. Ладно, Нора порой бормотала что-то невнятное или, жестикулируя, разговаривала сама с собой. Ладно, зависала, не донеся ложку до рта. Ладно, вдруг вздрагивала, словно разбуженная ходом времени, и громко спрашивала, не пора ли Лике делать уроки, хотя школу Лика окончила без малого полтора десятка лет тому назад. Ладно, эти бесконечные лекарства, которые надо было выдавать Норе по расписанию, потому что сама она, разумеется, забывала об их приеме, как накрепко забывала и все остальное. Ладно даже, ее внезапные побеги, когда она еще могла перемещаться без ходунков, — и, возвращаясь с работы, Лика или мама могли обнаружить ее озадаченно кружащей на лестничной площадке или заблудившейся во дворе (дверь в квартиру, разумеется, оставалась нараспашку). А как-то раз, года два тому назад, Нора умудрилась упиливать в парк за два квартала и Лика с мамой чуть с ума не сошли, а привел старуху назад добродушный алкаш, сам едва державшийся на ногах. Это, по крайней мере, было терпимо.

Страшнее всего становилось, когда Нора целиком возвращалась в реальность. Точнее, возвращался вместо нее кто-то другой, совсем не похожий на твердую и суховатую, но в общем, как помнилось, добрую и справедливую Ликину бабушку. В такие минуты Лика была готова верить в духов, в бесов, в потусторонних существ, злонамеренно подседающих в человеческое тело, потому что ее бабушкой этот кто-то, наблюдательный и чудовищно жестокий, быть просто не мог. «Уже, считай, разменяла четвертый десяток, а все при мамке сидишь, — произносила вдруг Нора, больно тыкая в Лику холодным заскорузлым пальцем. — Ну сиди дальше. Кому ты нужна, такая рохля». «Все молчишь, хоть бы рассказала чего. Ну молчи дальше. Немым нет в жизни счастья». «Зачем такие штаны надела? Задница у тебя слишком толстая для штанов. Вон, девчонки в телевизоре...»

«Ну а что вы хотите, — говорил, приходя, врач. — Деменция. Гибель нейронов. Распад личности. Ей сколько лет-то? Скажите спасибо, что не лежачая».

«Ну почему это так страшно?..» — шептала Лика, и ей никто не отвечал.

Вообще-то, Лика была хоть и молчунья, но не толстая и уж точно не рохля. Дипломированный инженер, специалист по строительству мостов и тоннелей. И квартира у нее своя имелась, «однушка», купленная не из надобности, а для престижа — вроде как положено в Ликином возрасте жить отдельно. И в Москве Лика полтора года жила, работала по приглашению, да вернулась обратно: не по ней оказалась охота за столичной жизнью, ни друзей себе не нашла, ни мужчины. Да и с бабушкой к тому времени стало так сложно, что мама одна не справлялась, а найти толковых сиделок в небольшом городке было трудно. Тех, что удалось сыскать, маразматичная старуха выжила, выдавила прочь. Кидала в них разные предметы, замахивалась ножницами, грозила разбить голову — им или себе самой...

Ли́ка осторожно открыла письмо. От зарубежного фонда? Что-нибудь насчет компенсации участнику Великой Отечественной войны? Когда-то бабушке приходили и такие письма. А еще у нее регулярно просили интервью, чем в детстве Ли́ка гордилась. Интервью прекратились, когда разум Нору начал рассыпаться на осколки. А сколько журналистов когда-то приходило: из газет, с телевидения... Немного Нора им рассказывала — куда меньше, чем тем хотелось, но поняла это Ли́ка, только когда уже институт оканчивала. К тому времени Нора начала заговариваться, и журналисты про нее постепенно забыли. Словно людская память о ее военных подвигах уходила во мрак вместе с ее собственной.

Письмо было рукописным. И на русском. От строк веяло некоторой неуклюжестью, словно сочинять письма да и вообще изъясняться на этом языке автору было непривычно:

«Здравствуйте, уважаемая Нора! Я надеюсь, что Вы или Ваши родственники прочтете это письмо. Я рад, что мне удалось найти Ваш адрес, это были долгие поиски. Я пишу Вам по просьбе моего деда. Он находится в клинике Dignitas в Цюрихе. Моего деда зовут Кристоф Венцель. Это и мое имя тоже. Мой дед парализован, он не может писать письма и плохо говорит. Ему очень важно получить от Вас ответ как можно скорее. Можно прислать его на мою электронную почту... или связаться со мной по номеру... или отправить сообщение на мой аккаунт в Facebook...»

Нахмурившись, Ли́ка покосилась на Нору. Та дремала в кресле (остов в сморщенной крапчатой коже, уже больше предмет, нежели человек). Никогда Ли́ке не приходилось слышать о *таких* бабушкиных знакомых. За границу Нора страсть как не любила, а все немецкое у нее было под запретом. «Чтоб я в своем доме не слышала собачьего языка!» — сказала Нора, когда первоклашке Ли́ке надо было выбрать, какой язык учить — английский или немецкий, — и Ли́ка выбрала английский.

«Перед смертью мой дед просит пощадить и простить его, если Вы сможете».

Ли́ка опустила письмо на колени.

— Ба... — окликнула почти без надежды на ответ. — Ты знаешь, кто такой Кристоф Венцель?

Старуха резко подняла голову. Взгляд ее, пустой, но какой-то дикий, уткнулся в Ли́ку почти ощутимо, подобно ледяному персту. Ли́ка невольно сжалась: почему-то ей показалось, что Нора сейчас закричит на нее, истошно, надрывно, с силой гораздо большей, чем позволяли иссохшие старухины легкие.

«Просит пощадить его...»

Однако Нора уже поникла, вяло заозиралась и прошамкала:

— Телевизор... включи телевизор. Там «Поле чудес» сейчас начнется.

— Сегодня только вторник, ба. Не пятница, — разочарованно сказала Ли́ка. — Далось тебе это «Поле чудес».

— Не пора ли тебе делать уроки?..



— Господи боже ты мой! — тихо провела Лика, чувствуя сразу всю усталость последних лет. — Тебе лекарство пора принимать, ба.

Письмо она положила на крышку ноутбука. Бумажный прямоугольник в тяжелеющих сумерках налился почти фосфорической белизной и так и притягивал взгляд. Будто намеренно из всех сил привлекал внимание. Придет мама со смены, надо будет посоветоваться, как и что ответить. Так и написать: извините, мол, но у бабушки глубокий маразм и никого из знакомых ни вспомнить, ни тем более простить она уже не сможет? Может, мама что-то слышала про Кристофа Венцеля?

Как этим же вечером выяснилось — нет, не слышала. Ни разу. Совершенно точно.

— Но что с письмом-то делать?

— А что хочешь. Можешь выбросить. У нас своих проблем хватает.

Перед сном Лика включила компьютер. В укромном мятном свете монитора снова развернула письмо. Вот, человек специально искал их адрес, каким-то немыслимым образом нашел, написал... Неудобно игнорировать. Да и любопытно.

«Просит пощадить и простить его, если Вы сможете...»

Чрезвычайно любопытно!

«Фейсбук». Указанный в письме профиль: Christoph Wenzel. Тридцать три года, судя по дате рождения. Вся личная информация на немецком, ни шиша не понятно. На обложке страницы заснеженные горы (синеватой белизной и вершинами-углами будто родственные странному письму), а на фото — далекая крошечная фигурка на фоне белых склонов.

Как могла, Лика вкратце объяснила ситуацию, отправила сообщение. И принялась ждать, листая доступные для просмотра фото на странице — горы, горы, горы... Ледники. Какие-то дырки во льду. Палатки. Группы улыбающихся людей.

Ответ так и не пришел. Ни этим вечером, ни следующим.

Будни — как куб затхлого квартирного воздуха: сколько ни проветривай, не уходит ощущение, что этим воздухом уже отдышали и он уже ни на что не годен. В первой половине дня за Норой приглядывала мама, во второй половине, ближе к вечеру, — Лика. Будни — как бесконечная манифестация долга.

В областном центре Лика еще несколько лет тому назад нашла через Интернет дом престарелых, выяснила все условия, но мама резко воспротивилась: «Ты что, совсем не любишь бабушку?! Это же наш долг! Меня ты потом так же сдашь в приют?»

Долг вообще определял всю жизнь семьи Николаевых. Руководствуясь им, Лика в какой-то момент начала целенаправленно искать спутника жизни, это было что-то вроде экзамена на женскую профпригодность. Дело в том, что бабушка родила ее маму в сорок лет, непонятно от кого; мама повторила этот путь, будучи помоложе, и Лика чувствовала себя обязанной разрушить странное проклятие женского одиночества, повисшее над их родом. Создать нормальную, полноценную семью. Как на зло, Лика росла крупной, не особенно красивой, очень серьезной и очень



молчаливой девочкой. Не помогло даже кокетливое имя Анжелика, данное мамой, видимо, в надежде на лучшую дочерину долю: Лика его ненавидела и переделала во что-то такое же холодное и неприступное, как бабушкино имя Нора.

К двадцати годам Лика окончательно растеряла детскую полноту, а к диплому вышла вполне ладной девушкой, но привыкла думать о себе как о большой и неуклюжей. Поэтому движения ее были скованные, а выражение лица — замкнутое. Сокурсники просили Лику помочь с курсовыми, коллеги — с работой, а больше ни в каком качестве ее не рассматривали. Лика не хотела сдаваться и, стесняясь непонятно кого, зарегистрировалась на сайте знакомств. Долгое время она там просто чистила личные сообщения от однообразных посланий типа «покажи сиськи». Потом познакомилась с благонамеренным мужчиной, желавшим обзавестись семьей, детьми, загородным домом и прочими радостями правильно сложившейся жизни. Он присылал чудовищно слащавые виртуальные открытки с сердечками и толстощековыми младенцами, запакрованными на манер подарков, уверяя, что подобный подарок Лике непременно сделает. Лика смиренно терпела это почему-то очень тягостное общение, проглатывая тошноту, будто выписанную невесть кем таблетку. Таблетку правильной жизни, «как у всех». Но на работу она шла с радостью несравнимо большей, нежели на первое свидание. В ресторане перекладывала с места на место столовые приборы и мучительно старалась поддержать разваливающийся разговор. Лика все знала о мостах, могла спроектировать любые узлы крепления, — но вот в жизни она мосты наводить не умела. Казалось, даже вкус еды отдавал нестерпимой скукой и неловкостью. От следующего свидания Лика отказалась по телефону, прибавив: «Извините, пожалуйста», на что получила сообщение: «Ну и пошла ты!..» Лика заблокировала отправителя. Подумала и удалила профиль на сайте знакомств. В конце концов, у нее хорошая работа, проживет как-нибудь.

«Вот будешь помирать, как я, — так даже скорою некому будет вызывать», — будто что-то почуяв, сказала по этому случаю Нора, а может, и не она вовсе, а та неведомая злая сущность, что подменяла Ликину бабушку в минуты ее нечастых возвращений из маразматической мглы. Кто-то однажды сказал, что родные люди — слишком близкая мишень. Нельзя промахнуться. А Нора, снайпер Великой Отечественной, вообще никогда не промахивалась.

«Тебе лекарства пора принимать, ба», — вздохнула тогда Лика.

Из Швейцарии ответили спустя неделю.

«Добрый день. Это Крис. Спасибо за то, что написали мне! Простите за опоздание с ответом, я был в важной экспедиции...»

Оказалось, Крис Венцель, внук того загадочного Кристофа Венцеля, — специалист, называющийся редким, даже на слух холодным и сверкающим словом «гляциолог». Ученый, изучающий лед. Крис прогнозировал сход лавин и вел наблюдение за таянием ледников в Альпах.



Но об этом Лика узнала немного позже. Сначала ее просто оторопь взяла: совершенно незнакомый человек вот так запросто написал ей в личку «Фейсбука», что его девяностошестилетний дед ждет в клинике улаживания формальностей по поводу эвтаназии и все же очень надеется получить от Норы ответ, чтобы спокойно отойти в мир иной. Страшное слово «эвтаназия», упомянутое как бы между прочим, Лиду шокировало.

Где-то далеко отсюда человек будет усыплен, как старый и больной домашний питомец. Причем по собственному желанию. И они ждут ответа — он и его внук.

Придя с работы домой, Лика заставила себя взять то, первое письмо, сесть рядом с бессмысленно глядящей в телевизор Норой, выключить динамики и громко, членораздельно прочитать письмо вслух. Разумеется, старуха никак не отреагировала. Даже головы не повернула. Будто загипнотизированная, следила за сменой картинок на экране:

— Звук... где звук? Сейчас Ельцин должен выступать...

— Господи, ба! Ельцин помер давно.

«Здравствуйте, Крис. Мне ужасно жаль, но моя бабушка действительно не сможет простить вашего деда. Я прочитала ей ваше письмо. Она ничего не вспомнила, потому что полностью потеряла контакт с реальностью. Быть может, вы просто скажете своему деду, что моя бабушка его простила? Так будет лучше всего».

Ответ был короткий: *«Я не могу ему врать».*

«Тогда давайте я возьму на себя ответственность и прощу вашего деда вместо моей бабушки. Буду вроде как ее заместителем. Я уверена, будь она в здравом уме, она бы так и сделала».

«Вы знаете эту историю?»

«Нет. Бабушка очень мало рассказывала о своем прошлом. Но наверняка там все можно простить».

«Это очень сложная история».

«Расскажите».

«Я попытаюсь».

Однако свой рассказ — много-много личных сообщений — Крис начал далеко не сразу. Сначала Лика не могла не полюбопытствовать, откуда швейцарец так хорошо знает ее родной язык. Оказалось — он русский по матери, эмигрантке во втором поколении, а по отцу — немец; родители погибли под лавиной, когда он был подростком. Простодушно похвастался, что читал Достоевского в оригинале. Лика и про экспедицию поинтересовалась, вот тогда и узнала о профессии Криса. Рассказала о своей. Отважилась спросить о деде — неужели для того нет иного пути, кроме как добровольно уйти из жизни? Нет. Он давно болен. О подробностях Лика спрашивать не решилась. На встречный вопрос, почему ее бабушка не в приюте для престарелых, написала, что в России так не принято.

С тех пор они стали регулярно обмениваться сообщениями, легкими, необязательными. Иногда вообще глупостями, вроде мемов из соцсетей. Порой фотографиями: синь и белизна швейцарских гор, в ответ — золото



приволжских степей. Иногда на фотографиях попадались головокружительные швейцарские мосты. Лика смотрела на них в восхищении: она-то участвовала в куда более скромных проектах. Писала Крису о своей работе: например, о том, что она физически чувствует, когда расчеты произведены неверно, — воображаемое избыточное напряжение стальных балок отдается напряжением в мышцах. А Крис рассказывал ей о разновидностях ледников, о том, как по снежному профилю прогнозируют лавины, и о том, что из-за глобального потепления льды в Альпах тают со скоростью один кубический километр в год. Лика прикрывала глаза и представляла темно-голубую живую толщу идущей стеной воды, в которую превращаются белые альпийские вершины. Еще Крис написал, что отступающие ледники открывают самые темные тайны прошлого: пропавшие экспедиции, разбившиеся самолеты, тела несчастных одиночек — альпинистов или самоубийц...

Почему-то эта странная, лишенная любой пользы или смысла переписка казалась Лике невероятно увлекательной. Поначалу она вообще не задумывалась, как Крис выглядит (и даже в голову не приходило спросить, где он на групповых фотографиях) и есть ли у него своя семья, кроме деда, все еще ждавшего в клинике завершения каких-то бюрократических проволочек, которые, как Лика наивно считала раньше, не свойственны степенной Швейцарии. Затем однажды поймала себя на том, что рассматривает группу ученых в лыжных костюмах, пытаясь угадать, кто из них Крис. Глупо, но этот спокойный и бесхитростный человек, представленный в ее реальности лишь в виде цепочки сообщений на экране, ей все больше нравился. По-настоящему нравился. Очень глупо.

Тут Крис сообщил, что все документы его деда подготовлены. Пора рассказать ту давнюю историю — он чувствует себя обязанным сделать это. Даже если она покажется Лике невозможной. И пусть Лика решает, достойно ли все, что произошло тогда, прощенья.

Читать оказалось трудно, но вовсе не оттого, что русский не был для рассказчика повседневным языком. Лике постоянно приходилось менять точку восприятия — будто забираться в зазеркалье — и мысленно накладывать прочитанное на то небольшое, что рассказывала когда-то бабушка. Кое о чем оставалось только догадываться. Что Нора чувствовала тогда — это Лика могла лишь додумать, примеривая обстоятельства на себя. И в результате история, которую рассказывал Крис, пройдя через Ликино воображение, становилась отчасти ее собственной.

И с каждым новым сообщением словно отступал ледяной покров прошлого, открывая вещи, прежде глубоко скрытые...

2.

Враги прозвали ее die weiße Jungfrau — Белая Дева, и еще der weiße Tod — Белая Смерть. Каким образом в те времена, когда Интернет не могли вообразить даже самые смелые мечтатели, ее фотография оказалась за линией фронта? Да все просто: о ней писали в советских



передовицах, а к немцам, разумеется, попадали советские газеты. Однополчане прилепили ей прозвище куда менее поэтичное — Ледяная Баба.

В конце 1942 года Нора Николаева приехала на передовую вместе с пополнением, в качестве санитарки, из далекой сибирской деревни. Война уже подчистую сожрала мужскую часть ее семьи: на фронте сгинул отец, три брата и дядя. Почти все они полегли под Москвой. Как сообщил командир части, где служил отец (письмо пришло в мае), тот погиб от снайперской пули во время контрнаступления: получил ранение в живот и долго мучился, умирая. Перед смертью все вспоминал о жене и дочери. Очень просил командира написать им.

Широкая в кости, фигуристая, с длинной льняной косой, рублеными скулами и упрямым лбом, Нора была настолько молчалива, что производила впечатление почти идиотическое, красноармейцы даже решили, что у девки что-то не в порядке с головой. И каково было всеобщее удивление, когда Нора вдруг громко, хрипловатым голосом, объявила, что не собирается быть санитаркой, а хочет быть снайпером. Говор у нее был карикатурно окающий. Кругом только посмеялись: «Ты хоть знаешь, за какой конец винтовку держать и чего с ней делать?» «Щи хлебать ей буду», — огрызнулась Нора. «Щи» она произносила как «шишы». Тогда кто-то из офицеров ради развлечения вручил ей винтовку и приказал привести трех пленных немецких солдат: «Ну, стреляй!» Все ожидали, что белобрысая деваха пустит сопли. Нора же, где-то к тому времени насобачившаяся обращаться с оружием, молча, спокойно и быстро сделала три выстрела подряд. Три выстрела — три трупа. Дома, в деревне, она резала кур и поросят, а тут что — даже не птица или скотина, а куда хуже. Фашисты — они ж не люди.

Фашистов Нора ненавидела так, что, казалось, кровь в жилах обращалась в кристаллы, прорастала холодными иглами сквозь сердце, бесчувственное с тех пор, как в большой осиротевшей избе она с матерью получила четыре похоронки подряд да то командирское письмо в придачу.

После полновесной минуты мертвой тишины офицер выдал глубокомысленное «мда-а» и в тот же день определил Нору в школу снайперов.

Талант Норы к снайперской стрельбе оказался воистину пугающим. Только дивиться оставалось и гадать, чья могущественная рука вложила в грудастую деревенскую девчонку такое, почти сверхъестественное, хладнокровие, какое редким мужчинам дается, такую сметливость и расчетливость, зоркость и точность.

После окончания снайперской школы (разумеется, с отличием) Нора, уже в качестве бойца, прибыла в расположение N-й стрелковой дивизии и в первые же дни уложила пятерых вражеских командиров. Прошло не слишком много времени, и слава о Норе докатилась до Мо-

сквы. Кто-то из фронтовых журналистов сделал фотографию: хмурая девушка с винтовкой в окопе, белая коса через плечо. Этот-то газетный снимок вместе со статьей и попал к немцам.

Всякая судьба могла ждать женщину на фронте: могла она стать и уважаемым боевым товарищем, и «походно-полевой женой», и женой настоящей, без дураков. Многие девушки влюблялись в однополчан, подавали рапорт о браке, хрупком, как человеческая жизнь на войне: любого из молодоженов могло не стать уже завтра. Нора не влюблялась никогда и подступиться к себе никому не позволяла. Стоило ей только презрительно глянуть удлинненными бледно-серыми глазами, бездушными, будто винтовочный прицел, как любого поклонника окорачивала враз. Так и стала Ледяной Бабой.

Работали снайперы обычно парой — один следит за целью, другой стреляет. Полгода напарницей Норы была смекалистая рыжая Анята. Ее убили: вражеский снайпер засек блеск оптического прицела. Нору снабдили новым напарником — Ванькой Шуваловым, одногодком, но с виду почти мальчишкой, конопатым и ушастым, поначалу нерасторопным настолько, что Нора на него крепко, по-мужски ругалась и требовала у командования, чтобы к ней приставили кого-нибудь другого. Но затем сработались — и на «охоте», и вообще: Ванька оказался заботливым и притом совсем не навязчивым. Нора относилась к Ваньке снисходительно, как старшая к младшему, однако все чаще замечала, что ей хочется быть поласковой с парнем — и сдерживала себя, для чего ей порой требовалась вся ее ледяная выдержка.

Тем временем их дивизия была уже за Киевом: сорок третий год, декабрь. Посреди занесенных снегом сумрачных лесов, на освобожденном от немцев наполовину выгоревшем хуторе они с Ванькой получили задание. В этих местах, где вовсю идет наступление Красной армии, с недавних пор завелась у фрицев «кукушка». Снайпер то есть. Что ни день — находят убитых советских бойцов, званием не ниже лейтенанта, и убиты-то как — аккурат в висок или в лоб. Опытный снайпер, опасный. Вот его и надо уничтожить.

Чего только Нора с Ванькой ни придумывали, какие только засады ни устраивали. В конце концов соорудили отличную приманку: шагающее чучело в маскхалате и шапке; это чучело Ванька должен был вывести из-за заснеженных кустов в нужный момент. И когда чучело приподнялось — немец выстрелил, — а Нора выстрелила в ответ... Тишина. Но только Нора шевельнулась — пуля выбила щепы из березового ствола прямо возле ее щеки. Деревесные занозы впились в кожу, хорошо в глаз не попали. Жив, значит, фриц! Невредимо и чучело... А вот Ванька лежал мертвый.

С неделю после того у Норы так тряслись руки, что она не могла выходить на задания. «Ты хоть поплачь, легче станет», — советовали девчонки-однополчане. Нора молчала. А когда дрожь в руках наконец унялась, начала мстить. Сутками лежала в засадах, убивала



уже не просто с ненавистью — с яростью. Не только офицеров, а кого попало, лишь бы немцев, лишь бы побольше — даже желторотых пацанов из пополнения, даже поваров... Часто делала выстрелы-ду-плеты: снимала офицера и сразу еще какого-нибудь подвернувшегося рядом фрица, любого, хоть зазевавшегося рядового.

Красная армия продвигалась в сторону Ровно. Немецкий снайпер, убивший Ваньку, так и кружил где-то поблизости, устраивал засады то тут, то там и явно охотился на Нору.

Однажды солдаты притащили связанного «языка», и у того в кармане обнаружилась немецкая газетенка, в которой рассказывалось, что на Украине, приближая победу рейха, воюет молодой, но уже прославленный снайпер Кристоф Венцель, впервые отличившийся в битве под Москвой, у него на счету почти полтысячи бойцов противника (против Нориных двухсот фашистов). Отличившийся под Москвой. Подробности, вряд ли имевшая какое-то значение, однако же Нора ее, разумеется, накрепко запомнила. Имелась фотография: длинноносый, нагло лыбящийся фриц с бритыми висками и лохматым чубом. Вообще-то, улыбка у него была самая обыкновенная, однако Норе она показалась невероятно мерзопакостной. Нора сразу поняла: Венцель и есть здешняя «кукушка». Конечно, едва ли он был именно тем, кто застрелил Нориного отца, — ведь сколько еще, кроме него, под Москвой воевало снайперов. Но это точно он убил Ваньку. Его отточенную манеру профессионала Нора ощущала всем своим существом, подобно прикосновению ледяного острия.

У каждого опытного стрелка есть свой почерк. Венцель, как многие немецкие снайперы, работал один; не клевал на ловушки и чуял засады; хорошо распознавал, где чучело, а где человек; бил почти без промаха; никогда не отступал заячьими перебежками, а терпеливо прятался в укрытии. В полной мере изучив его стиль, Нора снова открыла охоту на него, только отныне она и сама была одиночкой.

Теперь она сидела в засаде по несколько суток подряд. В любую погоду окапывалась в снегу и в грязи, ждала — и, день за днем проводя в полнейшем молчании, казалось, вообще забыла человеческую речь. Нора знала, что Венцель где-то поблизости — а тот знал, что где-то рядом она. Иногда немец, словно издеваясь, убивал кого-нибудь из однополчан Норы совсем неподалеку, и Нора издевалась в ответ: обзательно снимала парочку фрицев и тут же уходила в другое укрытие. Это был обмен выпадами. Каждый выпад — чья-то оборванная жизнь. Но и для одного, и для другой чужие жизни давно стали лишь зарубками на винтовке.

Нора сделала очередное чучело, загодя ночью притащила его на позицию, чтобы уловить момент и потянуть за веревку, как будто по снегу ползет человек. Это не сработало. Зато прямо над головой Норы чиркнула пуля, когда она, уже в глубоких сумерках, покидала позицию.



Ненависть к Кристофу Венцелю превратилась у Норы в истинную страсть, порой в груди болело так, будто в сердце лежал жгуче-холодный и острый кусок льда. Гибель отца Нора с яростной уверенностью тоже записала на счет Венцеля. Так было проще: у ее горя наконец появился исход, а у нее самой — цель. Она всегда носила с собой обрывок газеты с фотографией немецкого снайпера и часто представляла, как целится в его ухмыляющуюся рожу, чтобы выстрелить прямо промеж глаз. Каждый день просыпалась с мыслью об этом человеке, жила этой сумасшедшей ненавистью так, как иные живут сумасшедшей любовью.

Красная армия продвигалась на запад, начались февральские оттепели, распутица, а еще пошли болота. Зная о том, что немцы обычно не ждут удара со стороны болот, командование проводило солдат и технику по гатям через топь.

Здесь Венцель снова дал о себе знать, да еще как! Укладывал по несколько советских бойцов каждый день. Нора решила для себя, что не вернется с «охоты», покуда не застрелит проклятого фашиста. Готовилась она как никогда тщательно, изучила местность, уже зная, что Венцель предпочитает самые неожиданные и, на первый взгляд, неудобные для позиции места. И мгlistым утром отправилась на свою, с ночи подготовленную.

Тягучие привычные часы выжидания, стылая промозглая тишина. Минули сутки, пошли вторые. В какой-то момент Нора поняла, что Венцель отступает. Прежде ему это было несвойственно. Нервы не выдержали или здоровье фрица подвело? Вот, кажется, качнулась ветка. Вот еще, дальше... И Нора, забыв об осторожности, предвкушая победу, двинулась вперед, держа в уме карту местности, загоняя фашиста в самую глухую топь. А места здесь были на редкость дикие, нехоженые, и, видимо, какие-то руды залегали на глубине, потому что компас показывал не на север, а черт знает куда; к тому же из-за сильной оттепели над болотами расстилался такой густой туман, что порой вытянутую вперед собственную руку едва можно было разглядеть.

Среди ключев тумана Норе показалось, будто немец мелькнул в дальних кустах, и она несколько раз выстрелила. Дальше была тишина столь долгая, что Нора уже решила — все, капут фрицу. И почему-то ощутила не радость, а лишь огромную пустоту кругом и в себе. Только и было у Норы, что ее ненависть-страсть, и что она будет делать без нее, чем жить?..

Добравшись до кустов, Нора ничего не нашла — лишь крупные кочки с жухлой травой, будто лохматые головы вмерзших в лед мертвецов. И следы на остатках растаявшего снега. Ушел, гад!

Туман тем временем снова сгустился. Ничего, она подождет, когда видимость станет получше, переместится на другую позицию, выследит эту хитрую тварь и влепит пулю, точно как представляла, прямо между глаз...

В поредевшем тумане Нора осторожно двинулась вроде бы назад, но вдруг обнаружила себя в незнакомом месте: кочки больше и выше, гнилые поваленные деревья, а еще слепые серые окна затянутой подтаявшим льдом воды. Нора чертыхнулась. Заблудилась, это же надо! Попыталась выйти на прежнее место — и заплутала еще больше. И снова все кругом заволокла сумеречно-белесая пелена тумана. Беспомощно озираясь, Нора переступила с ненадежной кочки на другую, пошире. Нога соскользнула, Нора взмахнула руками и с тонко-стеклянным треском льда провалилась по самые плечи. Винтовка куда-то делась, ноги прочно увязли в трясине. Нора шевельнулась, ища, за что ухватиться, но под руками лишь хрустел, роня края, хрупкий лед, а трясина не отпускала, затягивала все глубже. Обжигающе-холодная вода полилась за шиворот.

Нора беззвучно заплакала, роняя слезы в черную воду. Такая глупая смерть! Нарочно не придумаешь...

И тут из тумана прямо перед ней выступил человек, похожий на болотного призрака. Он был мокрый насквозь, перемазан в грязи и тине по самые уши, на голове снайперская каска — с маскировочной сеткой и остатками каких-то веток в ней, которые торчали, как рога. Винтовки у него тоже не было. Он стоял, опираясь на длинную сучковатую палку, и смотрел на Нору невозможно холодными голубыми глазами, ярко выделявшимися на перемазанном грязью длинным носом лице.

А Нора молча смотрела на него. Сейчас Кристоф Венцель увидит, как она будет умирать. Долго, муторно, захлебываясь, пуская пузыри. Но лучше такая смерть, чем немецкий плен. Нора слышала, что фашисты творят с русскими девушками-снайперами, как жестоко над ними издеваются, прежде чем убить.

Тянулись минуты. Нора старалась почти не дышать, словно это могло замедлить погружение в топкую бездну. А Венцель все смотрел, смотрел... И вдруг резко протянул ей палку. Рукой можно было дотянуться.

Нора дернулась назад и сразу провалилась до подбородка. Помогала головой: нет. Лучше смерть сейчас, чем пытки во вражеском плену. Однако немец молчаливо и настойчиво совал ей жердь — и за Нору все решило ее тело, которое очень хотело жить. Рука вцепилась в палку столь судорожной хваткой, что когда Венцель, упираясь и скалясь, выволок Нору из топи, она долго не могла разжать болезненно сведенные судорогой пальцы. А едва выпустила палку, первым делом схватилась за пистолет. Гранаты, конечно, намокли, но, может, хоть «ТТ» не подведет...

Немец мгновенно наставил на Нору вымазанный в грязи «парабеллум». И так они стояли, взяв друг друга на мушку, в сером коко-не тумана, пока у обоих не начали подрагивать от усталости руки. Нора первая вдавила спусковой крючок, но грязный и мокрый пистолет дал осечку. То же произошло у немца. Еще мгновение они смотре-



ли на бесполезное оружие в руках друг друга, и внезапно оба начали дико, истерически хохотать. Похоже, сработал какой-то внутренний механизм, спасающий перегруженную психику. Они просто выли от хохота, почти одновременно упали на колени и все хохотали — до слез, до икоты и боли в животе.

Опустошенная истерикой, Нора с трудом выговорила:

— Ты зачем... зачем меня спас, сволочь?

Венцель серьезно ответил на ломаном русском:

— Кароший снайпер не долъшен так умирать.

— А как должен? В ваших пыточных застенках? Только подойди — глотку перегрызу!

Что делать дальше, Нора не знала. Немец сидел напротив и нападать явно не собирался. Да и она... Чем ей убивать мужчину на голову выше нее? И как — после... вот такого?

Мокрая одежда начала леденеть, тело немело от холода. Нора плелась из последних сил по кочкам куда глаза глядят. Немец шел следом — другой дороги просто не было. Она то и дело отгоняла его, как собаку:

— Пошел вон!

Выбравшись на сухой островок, решила развести огонь, а то так и околеть недолго. Почти падая от усталости, принялась искать пригодный для костра валежник. Немец занялся тем же, она на него замахивалась:

— Да отойди ты, сволочь!

Оказалось, что спички промокли, и у Норы не осталось сил даже выругаться. Немец смотрел на нее издали. В конце концов подошел и достал тускло блеснувшую зажигалку. Развел костер. Нора подползла с другой стороны, глядя в землю, в сторону — да куда угодно, только не на Венцеля. Так они долго сидели, поворачиваясь к огню то одним, то другим боком, пытаясь просушить мокрую одежду, с трудом выныривая из трясины сна и тогда дико косясь друг на друга: а вдруг, если уснешь, тот, другой, убьет тебя?

По болотам они скитались несколько дней.

Первые сутки молчали, совсем не спали, на ходу жевали каждый свой паек. Держали дистанцию в несколько метров. Но когда от недосыпания оба стали падать, то все так же молча подползли друг к другу на четвереньках по грязи, приткнулись, заворачиваясь, путая свой и чужой маскхалаты, и сразу провалились в сон — уже не люди, а просто теплокровные животные, которых природа гонит спать в общей куче тел, чтобы не замерзнуть насмерть.

На вторые сутки начали разговаривать, по-прежнему почти не глядя друг на друга. У Норы заканчивалась вода во фляге, у немца — сухой паек. У следующего костра сидели уже рядом, тесно прижавшись друг к другу, и сипло обсуждали, как будут растягивать жалкие остатки еды и воды. Растопить бы снег, но снега почти не было, рас-



таял; всюду грязь, и кочки, и черные остовы деревьев, и гиблая гнилая вода под тонким льдом.

На третьи сутки едва брели, поддерживая друг друга, и задавали друг другу вопросы. И отвечали честно, как на последней исповеди. Никогда прежде молчаливая Нора не разговаривала с кем-то по душам (и конечно, она не могла знать, что никогда раньше этого не делал и обычно немногословный Венцель). Нора признавалась, что ей нравилось убивать из мести — даже не столько ради победы, сколько ради личного темного торжества. Венцель признавался, что ему нравилось убивать из спортивного интереса — не ради имперских амбиций, а просто брать на мушку и стрелять.

Никому до этого Нора не рассказывала столько о себе. О четырех похоронках в течение месяца, одна за другой. Об отце, которого любила тихой, глубокой любовью и который умер от кровотечения в разорванных пулей внутренностях. О Ваньке. О том, с каким хищным злорадством убивала немецких мальчишек из пополнения: отстреливать этих раззяв, фашистский молодняк, было легко — будто сорняки на огороде выпалывать. Никому прежде Венцель не признавался, что в самом начале войны ушел из пулеметчиков в снайперы просто потому, что выживаемость среди снайперов была выше. Ни с кем прежде не делился, что при атаках вражеской пехоты всегда применял особенно жестокую, придуманную им самим тактику: пережидал несколько линий атакующих и стрелял в солдат, наступавших позади, причем целился именно в живот — чтобы пронзительные крики раненых за спиной подорвали боевой дух тех советских бойцов, что наступали первыми.

Услышав все это, Нора совершенно не удивилась:

— Ты его убил, сволочь. Я знала.

Немец посмотрел на нее. Явно хотел что-то сказать, уже открыл рот, но промолчал. Откуда он мог знать, кого тогда убил. И сколько убил. Много. Подобные попадания даже не входят в снайперский счет...

Наконец-то они не таясь рассматривали друг друга. В глубокой тени всего услышанного, всепринимаяще, внимательно, ни на миг не отводя взглядов. С каким-то бездонным топким ужасом Нора вдруг поняла, что Кристоф Венцель — обычный, мало того — видный парень: плечистый, с удлиненными, как у нее, глазами, только не серого, а голубого льда, и с пшенично-русый чубом. Будь он русским, девки в ее родной деревне за него наверняка передрались бы. Венцель с таким же странным испугом разглядывал ее — и думал примерно о том же самом. И еще Нора поняла, что впервые видит перед собой человеческое существо, абсолютно равное ей по внутренней сути, с тем же льдом и азартом в крови, словно мужскую свою ипостась, сработанную настолько ей по мерке, что бездной разверзлось понимание: с миром, где два настолько похожих человека вынуждены друг друга убивать, что-то катастрофически не так.

На четвертые сутки обоих взял жар и озноб. Обняв друг друга, они ковыляли куда-то, уже не чувствуя направления, и вместе упали в тростник.

— Слышь, сволочь, мы что, умираем? — с трудом выговорила Нора сухими горячечными губами, глядя в глаза напротив, ловя чужое лихорадочное дыхание.

— *Di wirst nicht sterben*, — прошептал Венцель. — Ты не будешь умирать. Ты будешь жить долго.

Вдруг он сжал ее голову в грязных ладонях и принялся целовать. Это было настолько безумно, настолько чудовищно — и так искренне, так беззащитно, каждое прикосновение к губам — будто к открытой ране, что Нора заилась слезами, никогда бы в жизни она не подумала, что способна так плакать. Ее раньше никто не целовал. Ее и потом, за всю вековую жизнь, никто так не целовал — словно тысячи прожитых жизней и смертей за миг, когда по всему телу проходит судорога и зубам больно от силы поцелуя.

Именно тогда она и услышала шум моторов неподалеку. Ничего не соображая, поднялась, едва высвободившись из объятий немца. Тот тоже поднялся, в глазах его плескалась та же безумная пустота, что в ее собственных.

— Кажись, выбрались, сволочь, — с сумасшедшей улыбкой сказала Венцелю Нора.

И тут до нее дошло, кому и что она говорит.

Еще несколько шагов вместе, рядом, — и Нора изо всех сил, с самой донной горькой яростью толкнула Венцеля с кочек на лед с темным оком полыньи. Немец провалился по плечи, в точности как Нора несколько дней тому назад. Тяжелая длинная палка, на которую они вместе опирались, валялась на кочках. Нора подняла ее. Венцель протянул правую руку, словно она еще могла его вытащить после того, как сама же толкнула. Нора со всего размаху ударила Венцеля палкой по вытянутым пальцам. Судя по его болезненной гримасе, пару пальцев то ли вывихнула, то ли сломала...

Венцель что-то сказал по-немецки. Норе, немецкого не знавшей, даже перевода не понадобилось, чтобы понять его.

— В упор не промахнешься, верно? — вот что сказал ей Венцель.

Нора молча отвернулась и пошла прочь, дрожа от озноба и накрывшей ее слабости. Никаких целей у нее больше не было.

Дальше ее жизнь покатилась своим чередом. Нора вышла на относительно сухой перешеек, по которому болота преодолевали советские танки. Попала в госпиталь с воспалением легких. А еще, видимо от холода, у нее так воспалились суставы пальцев, особенно на правой руке, что больше она уже не смогла выходить на задания: палец не давил на спусковой крючок.

В ту промозглую фронтową зиму она словно прокляла сама себя — настолько вымороженной, бесстрастной, выхоленной оказалась вся ее дальнейшая жизнь. Но была эта жизнь долгой-долгой, как ей и обещали.



3.

«Я уверена, моя бабушка простила его давным-давно, — написала Лика в окошке сообщения. — Если бы она была здорова, то наверняка бы обрадовалась, узнав, что он тогда выжил. Я бы на ее месте точно обрадовалась».

«А вы сами его простили бы? За то, что было под Москвой?» — спросил Крис. — Не ваша бабушка, а вы».

«Честно? Я бы простила еще тогда, когда он протянул палку. Ну... наверное».

«Вы не уверены?»

«Не знаю. Я не могу судить. У меня нет ни отца, ни братьев. И вообще... Слушайте, он столько людей убил!»

«Ваша бабушка тоже».

«Да... Это все война».

Крис надолго замолчал. Наверняка тот, другой Кристоф Венцель был хорошим дедом. И хорошим снайпером. Врагом. Убийцей, намеренно и расчетливо стрелявшим из укрытия солдатам в живот. Самым что ни на есть настоящим фашистом.

Лика подошла к Норе, села рядом. За окном медлительный провинциальный день наконец дал течь, нехотя накренился, лоя отблески заката, и теперь тонул в вечерних сумерках. Тишина в квартире определенно была как-то связана с ходом времени: Лика почти физически ощущала, как эти две субстанции, тишина и время, смешиваясь, пылью оседают вокруг. Старуха молча смотрела бессмысленными слезящимися глазами в какие-то свои внутренние глубины. Теперь Лика знала: там было то, что неотрывно притягивало взгляд.

В последние дни Нора вела себя тише, не злобствовала, — а может, это Лика стала сильнее, ее больше не обижали старухины маразматические выпады. Будто история, рассказанная Крисом, отворила какие-то двери в ней самой, оттуда пошел свет и воздух, и стали уже не важны чужие слова, пусть даже самые обидные.

«Добрый день, Крис! Я тут подумала... Наверное, я — мы — не имеем права осуждать. Не мы прошли через все это. Но у нас есть право прощать. Честно — я бы его простила. Потому что он спас и не ударил в спину».

Крис ответил только через три дня. Написал, что его деда вчера кремировали. Дозы смертельных препаратов не понадобилось: Кристоф Венцель умер ночью сам. Крис не то что не успел показать старику Лики сообщения на экране смартфона — даже не смог с ним попрощаться.

Еще через день Крис написал, что в скором времени, возможно, прилетит в Москву на научную конференцию. И после этого замолчал. Очень надолго.

Скорее всего — при мысли об этом Лика внутренне встряхивалась от глупейшей, острейшей, до ужаса настоящей и такой неуместной обиды, — замолчал вообще. Насовсем.

Отступивший ледник забвения, пядь обнажившейся земли, останки давнего, пережитого, но не отжившего... Что делать с рассказанной швейцарцем историей? А что вообще с ними делают, с такими вот историями из прошлого?

А что хочешь. Можешь просто забыть. Своих проблем не хватает?

Спустя два месяца рано утром Лику разбудил короткий сигнал смартфона. Она взяла мобильник с тумбочки и, протирая глаза, прочитала новое сообщение:

«Доброе утро, Ангелика. Вчера я прилетел из Москвы в Самару. Я только что приехал из Самары на ужасном поезде, который называется “электричка”. В нем совсем нет туалетов!!! Как это вообще возможно? Не понимаю. Сейчас я стою на вокзале. Я жду вас здесь, потому что не знаю, куда идти».

Никогда в жизни Лика не собиралась так быстро. Только натянула джинсы и свитер, волосы причесывать не стала, и они, необычно светлого льняного оттенка, так и остались рассыпанными по плечам.

На вокзале Лика узнала его сразу. Долговязый, в пестрой, как у подростка, курточке и подвернутых выше лодыжек джинсах песочного цвета, с легкомысленного вида оранжевым рюкзаком за плечами, он с любопытством вертел головой по сторонам и резко выделялся среди садоводов с тележками и торговцев вяленой рыбой. Смешной иностранец, немного нелепый, как и полагается ученому. Вот заметил ее, помахал рукой. У него были пшеничные волосы, длинный нос и ярко-голубые глаза, выделявшиеся на смуглом от горного загара лице.

Лика шла к нему через толпу и уже сейчас понимала: вот человек, скроенный ей точно по мерке, с которым будет легко, и весело, и спокойно.

Что делают с историями из прошлого?

Читают и перечитывают, как пролог к собственной.



Евгения Джен БАРАНОВА

ПОЛЕ ВЕРЛЕНА

* * *

Ажурного дня собирается пена
у леса Верлена, у поля Верлена,
у синей избушки в седых камышах.
А ты не умеешь землицей шуршать.
А ты не умеешь похрустывать сердцем.
Не тронь колокольцы, им видится Герцен.
Они научились звонить ни о ком,
как будто в небесный стучатся райком.
Все пенится, мнится, кряхтит, остается
синицей во рту, журавлем у колодца,
а ты посторонним киваешь во мгле.
Какие все мертвые, милый Верлен.

Тихие дни в Москве

Любим любимой тихо говорил,
что не хватает в номере чернил.
Ну как тут не повеситься Любиму?
Такие дни стоят, что хоть в Клиши,
хоть в Лобне о неизвестном пиши.
Пиши, покуда часть неотделима

от целого.

Как выдумать закат,
когда лишь снег, хитер и ноздреват,
является за мартовской зарплатой?
Не вымечтать тропическую чужь.

Здесь тихо так, что даже чересчур.
 Не поискать ли в небе виноватых?

Не спиться ли, не спянуть ли, не спеть?
 Мне кажется, я снежная на треть,
 на две другие — сахар и поэмка.
 Осталось подождать, авось вернет
 брильянтовую зелень белый йод,
 авось отыщет в женщине ребенка.

* * *

Ходили чистые, безгрешные,
 а вот приходится страдать.
 Трясти знаменами потешными,
 любовь «Фейсбуку» предавать.

Когда и краски не останется,
 когда всех наших заметут,
 пойдем выпрашивать свиданьица,
 как пропуска в литинститут.

И лишь тогда, отбросив фантики,
 сыграв на приступе вины,
 прорвутся буковки-десантники,
 предложат выпить белизны.

И ты, пригнувшись, выпьешь взвешенно,
 лишишься рода и лица,
 найдешь под садиком черешенным
 ружье трехлетнего отца.

Бычок

Ты вырос. Ничего не удержать.
 Ни музыку, что в горле шевелится,
 ни ощущений жалкий урожай,
 ни анемонов бархатные лица.

Как шла в костер пожухлая трава,
 так ты пошел за хлебом и распался
 на бабочек — хранитель естества
 земли и пыли, пыли и пространства.



Как ты ловил на удочку звезду!..
Как ты держал фантазию за шею!..
А что теперь? Вдыхаешь на ходу,
ни досточки, ни страха не имея.

* * *

Мы так долго живем, погруженные в чудо,
что закончился лес, что луга начались.
Так стоит особняк, и гуляют в нем люди,
и гуляет в нем шторм, и витийствует жизнь.

Так стоишь и сопишь, утомленная сводня,
лампа-лапа-растяпа, живой огурец.
Только принял вчера — нужно выжать сегодня,
годовых на коленку примерить колеу.

Чем подушка полна? Кто присутствует в теле?
Кто чеканит морщинок кудрявый ожог?
Мы так долго живем, что, скажи, не весне ли
подбегать в переулке с карманным ножом?

Для чего мне гортань, альвеолы, желудок,
если я не могу о серьезном хрипеть?
Мы так долго живем, погруженные в чудо,
что осталось молчать, что осталось терпеть.

* * *

На рукавице вымышленной руки
вышит кентавр, зяблики, мотыльки,
вышито все, что словом нельзя сберечь:
воздух, земля, дыхание, речка-речь.

Я так люблюшь вышивкой, так боюсь
сердце добавить к призрачному шитью,
что отпускаю — рыбкой пускай плывет
маленький Данте околородных вод.

Из хлорофитов тесную колыбель,
может, совет себе, может, нырнет к тебе.
Как серебрится дикий его плавник.
Если отыщешь, дафниями корми.

А затоскуешь — боже не приведи —
слушай, как бьется возле твоей груди.

* * *

Так неужели волшебство
закончилось, так неужели
остался только хвост его
напоминанием о теле?

Зря нарисованный павлин
стучит в ребро — там грусть и шорох —
прогорклый звук не отличим
от остального разговора.

Когда молчу — мне день не бел.
Когда хриплю — гогочет дворня.
Я остаюсь сама в себе,
как флешка, выдранная с корнем.

Так мячик, брошенный, ничей,
минуты две не понимает,
что он лишь царь, что он лишь червь,
и потому его пинают.



Владислав РЕЗНИКОВ

ОСТАНОВКА

Р а с с к а з

Самое страшное в этой истории — что у маленького Матвея лопнул шарик.

В одно из майских воскресений двадцать первого века на остановке напротив налоговой сидел бомж.

Сидел бомж с самого утра в коробке остановки из прозрачного пластика, как одинокая старая рыба на дне прямоугольного аквариума с закругленными краями. Еще в пять часов на него обратил внимание выходявший на утреннюю пробежку марафонец из семьдесят второго дома. Был тихий час перед началом выходного дня, когда время как будто замерло, на улицах предрассветная синева, нет машин, нет людей и солнце не торопится включать новое утро, — бомж сидел уже тогда.

Темный квадрат ссутулившейся спины. Сверху полукруглый взъерошенный бугор поникшей головы. Растрепанные черные пряди. Снизу торчат черные ноги в профессиональных беговых кроссовках японской фирмы ASICS. Марафонец из семьдесят второго дома ни с чем не мог спутать эту прекрасную модель с улучшенной амортизацией и поддержкой стопы и подумал: «Хм!»

Кроссовки на бомже, конечно, были сильно изношены и уже не годны для бега, но сама модель была непозволительно дорогой для марафонца из семьдесят второго дома. Ее цены с лихвой хватило бы на две, а то и три пары обычных кроссовок. Он долго изучал эту модель на спортивных сайтах, держал в руках и даже примерял в фирменном магазине, почти уже нес коробку на кассу, однако в последний момент гигантская жаба сигала ему на грудь, душила и говорила свое слово.

Интересно, на какой помойке бомж их откопал? Марафонец еще раз с досадой обернулся и, покуда это было возможно, держал кроссовки в фокусе. Спортсмен легкой трусцой направлялся в парк Победы, где недавно проложили новые пешеходные и беговые дорожки по берегам Везёлки. На сегодняшнюю пробежку был план не спеша преодолеть восемь кругов по пять километров.

Полицейский патруль из второго городского отдела заметил бомжа на остановке напротив налоговой в семь десять, вскоре после начала смены, но подошел не сразу (не знал, к чему прицепиться), а часа через три. Мало ли бомжей в округе сидят на остановках напротив налоговых или прочих контор, на ступеньках храмов или торгово-развлекательных центров, валяются в ногах у прохожих на перекрестках, попрошайничают? За пару часов на одном пяточке можно нарубить административных палок на месячный план и получить премию!

Патруль состоял из сержанта Колюни Варфоломеева и младшего лейтенанта Алешки Меморандина. Варфоломеев поступил в ППС три года назад. В полицию пошел не чтобы ловить преступников, а чтобы однажды самому не сесть по пьянке, хулиганке или прочей бытовухе. Уж очень он склонен был и к тому, и к другому, и к третьему. Дядька его родной, Константинович, во вневедомственной охране всю жизнь оперативным дежурным служит — он и посодействовал.

— Ты, Колюнь, чем Светлану по синеве рукоприкладствовать, шел бы к нам в охрану или в отдел патрульным. Все ж органы, как ни крути. Там и кварталки, и тринадцатая в конце года, и пенсия, и все. А то, глядишь, не ровен час, пойдешь по статье. А оно кому надо? Ей?

Дядька махнул на его жену. Светлана с переносицей цвета спелой ежевики и черничными полукружиями под глазами ставила на стол глубокую тарелку с дымящейся вареной картошкой в укропе и сливочном масле. Глаза жены были черными, как крупные ягоды черной смородины, а белки глаз — красными, как красная.

— Или ей?

Дядька махнул в стену, за которой была детская комната, в которой была детская кроватка, в которой была Колюнина и Светланина дочка Настя.

Колюня кивал тогда, остекленело смотрел сквозь холодильник в стену, сквозь стену на то, что за стеной, но не видел ничего и пел под гитару на двух аккордах:

Погоны на плечи давят, как скала.
 Нет, не сюда меня душа звала!..

Напарник Колюни и формально старший патруля, молодой офицер Алешка Меморандин, перешел на выпускной курс юридического института и стажировался в отделе полиции. С детства Алешка воспитывался в духе патриотизма, хотел пойти по стопам старшего брата, погибшего на чеченской войне, — служить в войсках, или в органах МВД, или каких-то подобных органах. С детства занимался спортом, имел молниеносную реакцию и был лучшим вратарем в дворовой футбольной команде, в школьном классе, а затем и в сборной института.

Время перевернуло с ног на голову отношение юношей к военной службе — нынче все хотят быть пограничниками, летчиками, полицей-

скими: у них хоть какое-то положение в обществе и гарантированное президентом будущее.

Старший брат Алешки (теперь ему было бы сорок) рос в девяностые годы прошлого века и был из той молодежи, которая, чтобы не идти в армию, учиняла себе разные членовредительства. В большинстве случаев это помогало: призывники получали отсрочку. Тогда служба по призыву длилась два года, шла чеченская война, в гарнизонах процветала дедовщина. В случае с Алешкиным братом что-то пошло не так: переломанная в трех местах рука срослась неправильно, не разгибалась полностью в локте, а средний и безымянный пальцы все время были согнуты, точно их обладатель показывал хеви-метал. В армию его все равно призвали, после учебки направили в Чечню, где в самоволке он был по ошибке застрелен сослуживцем.

Это было еще до рождения Алешки. Собственно, своим появлением на свет он был обязан безвременному уходу брата...

Бомжа патрулю передали по смене со словами: «Смотрите, там на остановке напротив налоговой бомжара сидит. С виду тихий, но вы поглядывайте. Мало ли...» Ну, они и поглядывали. Сидит и сидит. Живой вроде, не бухает, не обгажен, не смердит, вокруг сухо. Общественного порядка, к сожалению, не нарушает. Палок на нем не нарубить, хотя... Пальто какое-то. Вот это пальто и привлекло внимание молодого офицера на третьем кругу по патрулируемой территории.

— Слышь-ка, стой, Коляныч. — Алешка подтолкнул в локоть сержанта Варфоломеева. — Зацени. Настоящая?

На бомже была до ужаса старая, затертая, с растянутыми и местами разошедшимися швами милицейская шинель из серого сукна. С плеч свисали нитки, словно погоны были сорваны, как с врага народа. Зато на вороте еще оставались пришитые петлицы. Некогда красные, советские, а нынче как клубничное варенье — бурые, со звездочками, проржавевшими насквозь.

Полицейские подошли и стали за остановкой, что-то обсуждали, тыкали пальцами и даже собирались обойти вокруг пластикового аквариума и задать бомжу пару вопросов, а там и накинуть палку-другую за что придется. Скажем, нахождение в состоянии опьянения. Кто его освидетельствует? Если матюгнется — плюс мелкое хулиганство. Еще и неповиновение требованию полицейского при исполнении... Вот уже три палки в одно тело!

Старший государственный налоговый инспектор Канаев был переведен из районной инспекции в областную. Здесь он получил небольшое повышение, переехав с первого этажа на пятый, и отдельный кабинет с видом на Преображенскую улицу и прямехонько на остановку, располагавшуюся через дорогу.

— О, а это что еще? — проговорил вслух Канаев, заведя внизу бомжа с черным от жизни лицом.

Не считая ученика восьмого класса «Г» девятого лица Тараса Матрасова, управлявшего квадрокоптером с крыши налоговой, Канаев был единственным, кто хотя бы теоретически мог видеть это лицо. Лицо бомжа было таким черным, что невозможно было понять, где кончается лоб и начинаются волосы, похожие на застывшие языки черного пламени, и есть ли на лице борода. Непременно должна быть борода, уверял себя Канаев, вспоминая образы элитных бомжей из «Нашей Раши».

Оттуда, где сидел бомж, никак не было видно Канаева в окне на пятом этаже, но он с ужасом представил, как вдруг вспыхивают на угольном лице два ярких огонька — бомжовские глаза, а в них слепящий огонь восходящего солнца. И от них никуда не деться. Они всё видят, они всё знают. Они ввинчиваются в его лицо, в его мысли, сверля и прожигая, неизбежно, как бормашина всверливается в зуб. А сам Канаев и есть этот зуб, и он ничего не может поделать — только ждать, когда мучение прекратится. Расплывается в ухмылке черный рот с черным языком, черными деснами и зубами и разоблачающим черным хохотом: «Я тебя излечу! Я избавлю тебя от недуга!»

Канаев вздрогнул и брезгливо отодвинулся от окна на полшага.

Молодой и очень одаренный стилист-парикмахер Саша Прядкин этим утром был хмур и немногословен. Во сне ему явился идеальный образ — тренд сезона и новая классика! Он увлеченно обрабатывал клиента в салоне своих грез, порхая с ножницами на крыльях вдохновения, воплощая свое видение мужской модельной красоты. И вот, когда до завершения портрета оставались последние штрихи, будильник, заведенный на девять часов, выхватил его из сна, из салона мечты и в прах развеял образ идеальной стрижки.

Саша Прядкин, мрачный и расстроенный, шел на работу, тоже в салон красоты, но не в салон грез, где он мог бы творить, созидать, парить. Радужные и вдохновенные фантазии настигали его лишь в снах. Стоило ему проснуться, как все исчезало, ничего не оставляя в памяти.

Вдруг то ли зайчик солнечный, отразившись в одном из окон, заскокчил в лицо, то ли камушек, забившийся в подошву, заставил Сашу остановиться и поднять голову...

— Божечки ты мой господи! — радостно вскричал Саша, увидев со спины человека языки черного пламени, зафиксированные в мастерски продуманном до мелочей неистовстве творческого хаоса. — Вот же он! Вот он!

Саша Прядкин хотел было обежать остановку, чтобы взглянуть на идеальную прическу спереди, однако едва не столкнулся с возникшим перед носом полицейским патрулем, не замеченным им в приступе эйфории, и припустил трусцой дальше. Он уже увидел все, что ему было нужно увидеть. Он все вспомнил.

Он был счастлив!

Конечно, областная налоговая инспекция по воскресеньям не работала, но любой сотрудник в случае необходимости мог выйти в выходной день. Такой необходимостью старший государственный налоговый инспектор Канаев обозначил месячную отчетность: сроки сдачи истекали, а всю прошедшую неделю он провел в разъездах. Так он написал в служебке, согласованной с начальством и переданной на проходную.

На самом же деле Канаев плевать хотел и на отчетность, которая всегда писалась с потолка, и на службу в целом, которая текла по инерции, а привело его в воскресенье на работу следующее.

Напротив налоговой, по другую сторону улицы, стоял семьдесят четвертый дом. В этом доме двумя этажами ниже окна Канаева была квартира некоей гражданки, которую Канаев про себя прозвал «моя принцесса». Эта гражданка, его принцесса, во время игр определенной тематики с игрушками определенного назначения не зашторивала окно, а порой даже распахивала его настежь и располагалась исключительно удобно для обозрения налоговым инспектором Канаевым.

Одна, какая-то очень правильная часть его натуры пыталась убедить его, что нет, что нельзя, что это неправильно, что это личная жизнь и он не имеет права в нее проникать. Канаев соглашался и отвечал, что да, что все, что это последний раз. Но другая часть, которая была явно сильнее первой, правильной, говорила: ну и что, что здесь такого, ты просто стоишь у окна и никому вреда не причиняешь. И каждый раз она, будучи более зрелой и увесистой, завладевала им и несла к окну. И не было никаких сил превозмочь это животное влечение.

Для наблюдения за столь открытой персоной у Канаева был скоμμунизженный у бывшего тестя старый бинокль с двенадцатикратным увеличением и резкостью на нужное окно. С этим биноклем ни одна складочка, ни одна родинка на лице принцессы, ни один изгиб ее притягательного организма не ускользали от взгляда инспектора Канаева. Рядом на подоконнике лежали две пачки салфеток — влажных и сухих.

Не беда, что картинка в бинокле известным образом подрагивала: старший государственный налоговый инспектор знал свое дело и всегда достигал положительного результата. И даже рассевшийся на остановке бомж не мог этому помешать.

Когда-то очень давно гражданке из семьдесят четвертого дома сделалось дурно и стыдно и хотелось провалиться сквозь пол и все нижние этажи: из окна налоговой на нее пялился мужик. И не просто, а, вы подумайте, в бинокль! Она сразу задернула шторы. А потом немного подумала, рассмеялась и снова расшторила и растворила окно, впустив в комнату свежий воздух новых ощущений.

Одновременно с тем, как она напоказ просовывала свою игрушку в рот на всю длину, человек в квартире над ней просовывал себе в рот на всю длину дуло пистолета «Беретта 92» в надежде застрелиться.

Этим человеком был известный на всю округу американский шпион Нео Андерсон. Худощавый долговязый брюнет в извечном черном

плаще. Соседям и социальным службам он был известен как Владюша Резвый, программист-безработный, алкоголик-дебошир, инвалид-детдомовец, состоящий на учете в психдиспансере.

Психдиспансер, до недавнего времени находившийся в соседнем доме, в начале года съехал на Новую, здание опустело, что означало для Нео конец миссии и конец всего.

— Что вообще я здесь делаю?! В этой стране, в этом дворе?! Что это за горсти разноцветных таблеток, которые выдают мне еженедельно? — в который раз, ничего не понимая, задавал себе одни и те же вопросы Нео Андерсон.

В ответ он всегда слышал одни и те же слова Большого Брата. Они звучали в голове шпиона, как какое-то заклинание или мантра:

— Нео, ты Избранный! Твоя миссия настолько секретна, что не только тебе не положено знать о ней раньше времени... но даже сам... о ней не подозревает.

Услышанные однажды, эти слова навсегда засели в памяти шпиона, и ничто не в силах их оттуда вышибить. (Здесь девятимиллиметровый патрон в стволе пистолета «Беретта 92», засунутого в рот, согласно улыбнулся.)

— Но помни, Нео, покуда ты ходишь в эту дурку за пилюлями, ты и есть Избранный. И покуда ее не снесли, а ее не снесут никогда, тебе опасаться нечего.

— Что же будет потом? — сокрушался Избранный.

— Никакого «потом» не будет, Нео.

И вот это «потом» наступило. С Большим Братом почти полгода нет связи.

Перво-наперво исчезла старая желто-красная телефонная будка с выбитыми стеклами и телефоном-автоматом, отключенным от городской сети. Именно эта будка была основным каналом связи: в тишине трубки нет-нет да проходили мгновенные шумы, щелчки, имевшие большую важность для миссии. Нео до конца не понимал, что именно он там слышал, однако, ощущая твердость зажатой между плечом и ухом трубки, был спокоен: он знал, что не одинок и что он Избранный.

Все интернет-телеграммы, что отправлял Нео под видом комментариев к заказам на «АлиЭкспресс», оставались без ответа. Каналы связи через «Ибэй» и «Амазон» оборвались и того раньше.

Судьба здания бывшего диспансера долгое время оставалась неопределенной, но на днях его обнесли жестяным забором и стали подтягивать спецтехнику.

Не раз и не два в подпитии разной степени Владюша Резвый плакался соседям на свою нелегкую судьбу. Издевательства санитаров и воспитателей в детском доме, заматывание в простыни, избияния и сбрасывание из окон на пики скал и в медвежий лог... В последние же месяцы все чаще, и под строжайшим секретом — только вы смотрите, никому, ни-ни, это государственная тайна! — выдавал себя за американского шпиона с проваленной секретной миссией, о которой он даже не знал. Восьмидеся-

тилетние бабушки у подъезда в платочках и вязаных кофтах сочувствовали провалу его миссии, кивали, гладили его лысеющую голову, понимающе переглядывались и добавляли на опохмел...

Ласковым майским воскресеньем, выглянув в щель зашторенного окна, Нео Андерсон увидел внизу на остановке странную фигуру. Ряженный под бомжа здоровенный агент сидел не шевелясь, ничего не делая и вряд ли ожидая автобуса. Час спустя он все еще сидел. По несколько раз проехали все возможные номера маршруток — бомж не уезжал. Еще через час за его спиной возник полицейский патруль. Нео стало до слез обидно и жаль себя: даже группу захвата привлечь не стали, чтобы удалить его из Матрицы.

А вскоре за окном раздалось монотонное жужжание. В щель между шторами Нео увидел зависший квадрокоптер с вылупленным на него черным глазом видеокамеры. Это был конец!

Ученик восьмого класса «Г» девятого лицея Тарас Матрасов с отличием окончил третью четверть и получил в подарок на четырнадцатилетие что хотел — дрон с функцией видеосъемки высокой четкости.

Тарасик давно хотел завести собственный ютуб-канал, где размещать панорамы городских пейзажей: крыши, кварталы, трущобы, восходы и закаты, снятые с высоты птичьего полета. Почему-то он был уверен, что, как только его запустит, девочка из девятого «В» Надя Тыквина, которая давала всем, кроме него, обязательно даст и ему.

В одно из первых испытаний, запустив квадрокоптер с балкона, Тарасик неожиданно увидел на другой стороне улицы мужчину в здании налоговой. Мужчина глядел в бинокль, улыбался и облизывался. Его окно было точно под буквой «Ж» в гигантском слогане на крыше госучреждения: «Уплата налогов — дело жизни россиян!»

На другой день Тарасик снова его увидел. И на третий. И потом чуть ли не каждый день. Забравшись на крышу налоговой и проведя несложные расчеты на смартфоне, он нашел окно, куда смотрел мужчина.

Вот это удача! Когда Тарас выложит видео с этой теткой на своем ютуб-канале, у него взлетит подписка, попрет бабло и Надя Тыквина из девятого «В» ему, точно, даст!

Выбрав намеченный день, выждав нужное время, Тарасик по пожарной лестнице привычно забрался на крышу налоговой инспекции. Расположившись за буквой «Ж», закрепил смартфон на пульте квадрокоптера, включил приложение и, нацелившись на теткинo окно, запустил летательный аппарат.

В неизменном черном плаще, стоя перед зеркалом в полный рост, в бежевом полумраке комнаты с зашторенным окном Нео Андерсон достал изо рта пистолет.

— Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, — про-

говорил, глядя на свое отражение, Избранный и добавил: — Славься, Отечество наше свободное!

Сунул дуло в рот, изо всех сил зажмурился, замер на вдохе и нажал на спусковой крючок.

Старший государственный налоговый инспектор Канаев, стараясь не сбиться с несущей его волны, не мог понять, что не так. Почему ему все время хочется перевести объективы бинокля с принцессы туда, где сидит этот бомж? И вот зачем-то он это сделал. Желтые огоньки на черном лице сверкнули истребляющим лазером как раз в тот момент, когда раздался выстрел, и Канаев тут же испачкал стену под подоконником.

Его скорчило, повело и, уже скрюченного на полу, давило утихающими накатами в паху. Отныне каждый раз, беря в руки бинокль, Канаев будет видеть эти глаза. В его мозгу проронила живое семя мысль: уж не вернуть ли бывшему тестю бинокль, соврав, что случайно нашел, прибираясь в кладовке?

Тарас Матрасов, уставившись в экран смартфона, потя и облизывая губы (как подсмотрел у мужчины), управлял камерой летучего робота. Тарасику представлялась Надя Тыквина. Скоро, скоро она будет вот так же возлежать на его надувном матрасе! И вместо этой розовой штуковины (у Тарасика даже в глазах потемнело) в руках ее будет...

Звук выстрела вдарил по ушам, отбросил подростка, стукнул пятой точкой и обеими ладонками о нагретый солнцем битум крыши. Пульт со смартфоном выскочил из рук, гаджеты упали, разъединились. Синхронизация приложения с устройством прервалась, управление дроном прекратилось.

— Блин, фиг ли я тут делаю? — словно вынырнув из дурмана, вскричал Тарас. — Хотел же снимать закаты с высоты полета. Можно и Надю брать с собой! А за эту порнуху меня забанят на ютубе на веки вечные!

Он резво побросал в рюкзак свои приспособления и побежал к пожарной лестнице.

Несостоявшаяся звезда видеоканала Тарасика Матрасова взвизгнула и швырнула в раскрытое окно дорогой немецкий вибратор. Хит продаж! Семь тысяч в секс-шопе напротив Преображенского собора! Ах! Вскочила и одним прыжком перемахнула через всю комнату, захлопнула и зашторила окно.

Пластиковая конструкция с четырьмя вертолетными винтами и видеокамерой обрушилась на голову сержанта Варфоломеева, на какие-то секунды лишив его ориентации в пространстве.

Силиконовая колбаса диаметром четыре сантиметра шлепнулась на полукруглый изгиб остановки, отпрыгнула, подобно хищному зверьку, и бросилась в лицо младшему лейтенанту Меморандину. Но маленький хищник со стимулирующим рельефом и двенадцатью режимами вибрации не знал об отличной реакции молодого офицера и был схвачен на месте.

— Я поймал! Поймал его! — закричал Меморандин, а в мыслях пронеслось: «Срубил палку».

И тут раздался громкий и безнадежный плач маленького Матвея. Он все же выпустил из ручки веревочку воздушного шарика, наполненного летучим гелием. Мальчик даже понять не успел, как шарик только что был, а теперь его ладошка пуста — и этот взрыв! Когда шар взмыл вверх, его оттолкнули воздушные струи из-под винтов квадрокоптера, швырнули к дому и насадили на угол стального подоконника на третьем этаже.

— Ну, ну, не надо, не плачь. Это же шарик, все шарики лопаются. Купим новый.

Мама взяла Матвейку на руки и гладила его кудрявый затылок.

— Я знала, что так и будет. Только двести рублей выбросили...

Нажав на спусковой крючок, Владюша Резвый кинулся было собирать по стенам свои выбитые выстрелом мозги, да мозгов там не было. С таким же успехом он мог бы застрелиться пальцем. Его «Беретта» была куплена в магазине «Детский мир» и стреляла исключительно пистонами. Лишь несколько секунд перед глазами сверкали искры в виде крошечных зеленых буковок. Их тонкие струйки ползли вниз, как будто стекая по обоям, и исчезали. Навсегда.

Придя в себя, оба полицейских бросились вязать бомжа. Прогревший теракт, несомненно, дело его рук! Но прозрачная коробка остановки была пуста, а все пространство вокруг засыпано разноцветным конфетти...

Никто больше никогда его не видел и не вспоминал о нем. Только марафонец из семьдесят второго дома, выходя на пробежку, отныне каждое утро бросает благодарный взгляд на остановку напротив налоговой. Его нарядные пятки сверкают новыми профессиональными беговыми кроссовками!



Татьяна МАХОВИЦКАЯ

ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ

Р а с с к а з

— Что ты молчишь и злишься, как дура?

Лера, действительно, от самого Донецка не произнесла ни слова. Не хотелось ей ничего говорить.

— Ты хоть представляешь, что тут начнется вот-вот? И главное, смысла сопротивляться — никакого! Куда им против армии!

Вдоль мариупольской трассы тянулись поля подсолнуха. Уже поникшие тяжелые корзинки и темно-зеленые лопушистые листья...

«Вот, подсолнушки люди сажали... А придется ли убирать?»

К Донецку стягивалась украинская армия.

— Ну ничего, психуй. Приедем, на работу пойдешь — успокоишься. А к Новому году тут все закончится, и вернешься.

Лера сжала кулаки и сунула их за спину, чтобы не огреть ненароком Альку по затылку.

«Тише, тише! — скомандовала она себе. — На ее машине едем».

Если бы только машина! Жить предстояло тоже у подруги. После развода Алька благоденствовала с дочерью в трехкомнатной квартире и усиленно зазывала Леру к себе.

Дозвалась.

«Имела б я в виду такие гости...»

До сих пор они с Алькой тесно общались. Но теперь дружба грозила оборваться в любой момент.

Подсолнухи все не заканчивались.

— Тебе жизнь дороже или ленточка георгиевская? Или папины ордена? Папочке на том свете легче станет, если ты досрочно с ним встретишься? — Подруга тоже заводилась, все сильнее и сильнее.

Сейчас Лера на нее смотреть не могла, не то что отвечать.

«Может, вернуться? Пока не поздно...»

Но, во-первых, Лерина работа, связанная с разъездами по области и регулярными визитами в Харьков, на глазах накрывалась медным тазом, а во-вторых, вид зеленого вертолетика, по-хозяйски прошедшего над Южным вокзалом, оптимизма не вызвал.



Было это уже после взятия аэропорта украинским десантом. Лера ждала автобуса в Енакиево. И тут появился этот вертолетик. Низенько летел, вальяжно. Люди, оцепенев, следили за ним, задрав головы. Никто даже с места не сдвинулся, не попытался спрятаться в здании вокзала. Возможно, еще не верили, что будет стрелять (хотя знали, что с таких же «стрекозок» поливали пулеметным огнем поселок на Путиловке). А может быть, чувствовали, что бесполезно.

С вертолета стрелять не стали, презрительно развернулись и удалились. Как будто пригрозили: ждите, ждите...

А ведь когда-то война казалась совершенно невозможным событием! Лера до сих пор не могла сообразить — как же так? Чтобы здесь, в рабочем Донбассе, в мирном и трудовом регионе, далеком от всех горячих точек, вдруг заговорили пушки? Чтобы Украина объявила Россию врагом и захватчиком — и появились гнусные, липкие словечки: «ватники», «колорады»?

До определенного момента было безразлично, на каком клочке разорванного Советского Союза кто оказался — все привыкли считать его единым целым.

Язык не вызывал раздражения. «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайко Лера считала самой веселой детской книжкой, несмотря на то что сама — русских кровей, в родословной украинцев не было...

А еще на украинском неплохо читались переводы с польского. В годы, когда популярные книги на русском языке в Донбассе купить было почти невозможно по причине насильственной советской украинизации, обходились польскими детективами. Тадеуш Доленга-Мостович, Анжей Збых... А если «выбрасывали» хорошую русскую книжку, к ней «в нагрузку» обязательно цепляли что-нибудь на «мове».

Но, несмотря на все усилия, «мова» не очень-то приживалась. Лере вспомнилось, как они с мамой, любительницей детективов, отстояв очередь, купили «Ставка більше за життя» Збыха. Она тогда разочарованно спросила:

— Мама, ну зачем их сюда привозят? Ну в школе учим — понятно. Но читать-то лучше на русском!

— Наверное, украинцы читают, — ответила мама.

Лера даже посреди дороги остановилась:

— Украинцы? А где они?

«Співуча мова солов'їна...» Возможно. Когда на ней песни поют да стихи сочиняют, а не кричат: «Москаляку на гіляку!»

— Вот последний дыровский* блокпост, — предупредила Алька. — Дальше украинские пойдут. Смотри не ляпни там чего! А то сейчас молчишь, а где не надо — рот откроешь.

* Дыровский — пренебрежительное, от сокращения ДР — Донецкая Республика.

«Дыровский»?!

Кулаки снова сжались.

Блокпост был основательный. Прямоугольное укрепление из бетонных блоков, с бойницами, обложенное мешками с песком. На обочине — пара шалашиков, костерок: еду, наверное, готовят.

Четверо ополченцев проверяли документы. Действовали споро, привычно, поэтому машин скопилось немного.

— Видишь, уже и очереди нет! Все, кто соображает, давно уехали. Только тебя надо месяц уговаривать!

«Выйти покурить, что ли?»

Лера курила очень редко. Под рюмочку, кофе, задушевную беседу. Пачка сигарет у нее жила два месяца. Но вот сейчас захотелось — до смерти просто!

Она выбралась из машины и закурила.

Алька выглянула, посмотрела косо, но ничего не сказала.

В поле на противоположной стороне, как раз напротив того места, где они остановились, торчал какой-то холмик, поросший кустарником. Непонятно было, сам он когда-то образовался или же был насыпан. Судя по размерам кустарника, давно.

Лера смотрела на ополченцев. Она уже давно заметила, что при виде их успокаивается. С самого начала, встретив кого-нибудь в камуфляже на улице, непременно провожала взглядом. Небрежно закинутые за спины автоматы не пугали, наоборот — хотелось взять оружие в руки, взвесить, погладить, понюхать...

«Жалко, стрелять в свое время не научилась. Пошла бы сейчас добровольцем, и гори оно все...»

Впрочем, можно обойтись и без стрельбы. Поварихой бы взяли — кашу стряпать.

Она подумала о том, что вот еще минут пятнадцать пути — и «своих» она уже не увидит. Машину окружают люди в таком же камуфляже, но, скорее всего, в балаклавах, и взгляды у них будут сквозь эти дырки презрительные. Начнут трясти багаж, отпускать грубости «мовою», еще «сепаркой» обзовут...

Леру передернуло.

«Как я буду там с этим жить?»

— Отошли бы вы от машины. И вы, женщина, выходите.

Лера обернулась.

К Алькиной «тойоте» подошел один из ополченцев.

«Ух ты! Какой мужик интересный!»

Лицо у ополченца было того типа, который Лере больше всего нравился: высокий лоб, выступающая челюсть, русые волосы и огромные светлые глаза. И борода — как у ее любимого с детства артиста.

«Интересно, он дончанин?»

— А что? — Лера постаралась взглянуть на мужчину пококетливее. — Не положено?



— Не в этом дело. Укры уже несколько дней подряд неожиданно обстрел начинают. Лучше от бензобака подальше быть. Мало ли что.

— А вы давно воюете?

— С самого начала.

— А что ж на блокпосту? Я слышала, тут только новички дежурят.

— Это временно. Переформируют нас...

— Из Донецка?

— Макеевчанин.

«Уже хорошо!»

— Лерка, тебе говорят! — рявкнула Алька, выбираясь из машины. — Потом я виновата буду, если тебя пристрелят!

— Лера? — улыбнулся ополченец.

— Валерия.

— Очень приятно. А я... — Мужчина внезапно замер, прислушиваясь.

Откуда-то с запада донеслась пулеметная очередь. И тут же — звуки разрывов.

— Начали, вурдалаки! — сплюнул так и не успевший представиться ополченец. — От машины отойдите! — И ринулся куда-то вперед.

Леру зазнобило.

«Какого черта я сюда поперлась? — пискнул в ней маленький трусливый зверек. — Дома еще бабка надвое сказала, а здесь... Не хватало только в чистом поле сгинуть!»

— Ложись! — вдруг раздался чей-то истошный крик.

Какое там! Она и пошевелиться не могла. Буквально остолбенела, парализованная незнакомым пронзительным свистом. Как при замедленной съемке, в пятидесяти метрах расцветал пыльный цветок...

Грохот резко ударил по ушам. Лера отмерла, завертела головой, пытаясь сообразить — куда деваться? И вдруг ноги сами понесли ее через дорогу к холмику.

Умом она понимала, что именно сейчас, сию минуту, совершает смертельно опасную глупость: при обстреле или бомбежке бежать нельзя ни в коем случае — падай, где стоишь, и точка! Покойная мама говорила, что так во время Отечественной войны погиб ее двоюродный брат. Дедушка, мамин папа, забрал племянника в эвакуацию, а на станции Красная Могила (в Донбассе же, в Луганской области) эшелон стали бомбить немецкие самолеты. Мальчик испугался и побежал от насыпи в степь...

— Ему кричат: «Юра, не беги! Юра, падай!» — а он остановиться не может, — рассказывала мама. — Осколком убило... Дед твой всю жизнь себе простить не мог...

Лера сейчас понимала, что испытывал тот мальчик. Она чувствовала, что если перестанет перебирать ногами, то упадет поперек дороги, на самом виду, а это страшно, надо непременно добежать до холмика и под ним укрыться!

— Стой, идиотка! — орала Алька сзади.

Опять этот противный свист!

Думала ли мама, что и ее дочери придется от обстрела прятаться?

Лера с размаху шлепнулась у подножия холмика и вцепилась в траву.

Холмик доверия не оправдал. Через секунду он содрогнулся от глухого удара такой силы, что сердце стукнулось о ребра (прямо как рядом с ударной установкой на рок-концерте). Земля стала осыпаться, поползла под руками. Лера судорожно хватала ее пальцами, но вдруг задохнулась, в глазах заплясали радужные точки...

— Лера! Лера! Вы живы?

Кто-то тряс ее за плечо.

Она с усилием вдохнула, открыла глаза. Заморгала.

— Слава богу! Все цело?

Над ней склонился тот самый ополченец, с которым они беседовали, казалось, целую жизнь тому назад.

— Кажется, все, — просипела она, хотя была вовсе в этом не уверена.

— Вставайте... Осторожно! Куда ж вы рванули? Нельзя же так!

— Я знаю... просто от неожиданности... С перепугу. — Лера слабо улыбнулась.

— А вы знаете, что в рубашке родились?

— Почему?

— Сейчас увидите.

Он помог Лере подняться. Она оглядела себя и ахнула. Вся одежда перемазана землей, на коленях и груди — зеленые пятна от травы. В довершение всего из волос посыпался песок.

— Какой ужас!

— Это — не ужас. Ужас — вот он!

На этот раз она не смогла издать ни звука. Медленно до нее дошло, что, собственно, произошло.

В двух метрах от места, куда плюхнулась Лера, из развороченных кустов торчал аккуратный конус.

— Что это? — наконец выдавила она.

— Это, извольте познакомиться, мина. Осколочная. Целенькая, к счастью. Иначе бы мы вас сейчас по кусочкам собирали и в коробочку складывали.

«Вот почему взрыва не было, только удар!»

— И что теперь с ней делать?

— Вам — ничего. Отойдите, наконец, отсюда. Саперов уже вызывают.

И он силой потащил Леру к дороге.

Там стояла разъяренная Алька.

— Дубина стоеросовая! Тебя что, черт за пятку укусил? Вот помогай таким!..

— Женщина, помолчали бы! — неожиданно резко осадил ее ополченец. — Вашей подруге и так плохо, а вы орете!



— Я же еще и виновата! Хочешь как лучше, вытаскиваешь ее из этого гиблого места...

— А не надо меня вытаскивать! — вдруг завопила Лера. — Сама проваливай к своим укропам! Никуда я не поеду! Открой багажник сейчас же!

Алька остолбенела.

— Ты что, умом тронулась? Хочешь, чтоб тебя вместе с этими, — она кивнула в сторону ополченцев, — зачистили?

— «Эти» нас своими жизнями прикрывают! От выродков, которые пуляют минами в незащищенных людей! Никто в Донецк не войдет, поняла? Давай сюда мои вещи!

Лера рванула дверцу, наклонилась и выхватила из машины сумочку.

— Ну ладно, — процедила Алка. — Пожалеешь, да поздно будет.

Она взяла пульт и открыла багажник.

— Давайте помогу. Какие тут ваши? — К удивлению Леры, ополченец сам вытащил ее сумки и отнес на обочину. — А вы проезжайте, — холодно обратился он к Алке. — Дорога свободна. И вообще... поспешите, пока ваши друзья опять концерт не начали.

Не попрощавшись, Алка хлопнула дверью «тойоты» и подъехала к проверяющим. Через пару минут ее уже не было.

— Ишь ты, — хмыкнул ополченец, — «гиблое место»... Из-за таких вот укры так глубоко и продвинулись. Вместо того чтоб оружие в руки брать, здоровые мужики в Россию бегут. А бабы вместо поддержки... зачистку ждут!

— Ну, не все же, — Лере вдруг стало весело. — Вот вы здесь. И я теперь точно никуда не уеду!

«Нервное. Хоть бы истерика не началась. Не удивительно».

— Как же мне теперь в Донецк вернуться? Не знаете, отсюда никто не возит?

— Да стоит тут один обычно... Если не удрал... Нет, вон он! Позвать?

— Да, пожалуйста.

Ополченец замахал рукой и свистнул.

Подъехали раздолбанные «жигули».

— В Донецк, дамочка? Поехали!

— А вы так и не сказали, как вас зовут... — в растерянности повернулась к ополченцу Лера. Она понимала, что людям сейчас не до нее... Но уезжать так не хотелось!

— Ах, да! — спохватился ополченец. — Андрей. Лера, а вы... телефончик свой не дадите?

— Конечно! — возликовала Лера. — Записывайте!

Андрей поспешно вбил номер.

— Не знаю, куда зашлют, но позвоню обязательно! Надо же убедиться, — он хитро прищурился, — что с вами все в порядке. После такого потрясения!

- Спасибо, вы мне так помогли!
- Да не за что. Ну, я побежал. Всего доброго!
- Ну так что, дамочка, едем? — стал проявлять нетерпение бомбила.
- Да-да... Вот сумки...

Мужик вез Леру и балаболит что-то свое — что такой обстрел был уже три раза, а он все равно ездит, зарабатывать-то надо, и дома у него новенькая «школа», перед войной купленная, а эту развалюху хотел продать, да вот пригодилась, ее не жалко...

«А себя тоже не жалко?» — хотела спросить Лера. Но решила не вступать в дискуссию — его жизнь, пусть делает как знает... К тому же накатывало какое-то странное спокойствие. Хорошо, что осталась! Все свое, родное, и сама — на своем месте!

По свободной дороге в Донецк добрались быстро. Да и на улицах машин попадалось мало. Город пустел. И это оскорбляло Леру до слез. Словно это от нее, попавшей в беду, убегали друзья и близкие...

«Зажрались! Привыкли к хорошей жизни. Чуть трудности — как крысы с тонущего корабля! Прав Андрей... Ну нет, мы не потонем, не дождетесь! Ничего, не пропаду. И работа найдется».

В городе было очень чисто. Даже клумбы цвели как ни в чем не бывало.

Лера ехала домой.



Владимир СЕДЫХ

КАК Я СТАЛ СИБИРЯКОМ

Выбор

Окончив в 1957 году лесной факультет Харьковского сельскохозяйственного института, я мог остаться в Харькове, а мог поехать по направлению в Минск или Крым. Но я выбрал для себя Ташкент и отправился в Первую среднеазиатскую агролесомелиоративную экспедицию — заниматься изыскательскими делами, чтоб в будущем в Голодной степи и пустынях раскинулись леса. Впрочем, полутора лет экзотики мне вполне хватило. Нахлебавшись досыта местной жизни, скитаясь по убогим квартирам обездоленных войной домохозяек, испытывая постоянные бюрократические препоны в работе, а также пройдя через обязательный осенний сбор хлопка, — я покинул Среднюю Азию. Мне захотелось найти такое место, где успех в работе зависел бы только от меня и небольшой группы моих подчиненных. После голых пустынь влекло заняться неисследованными таежными территориями за Уралом.

Я отправился в Москву получить во Всесоюзном объединении «Леспроект» информацию обо всех сибирских лесных экспедициях. Там мне предоставили все необходимые сведения о Сибири и Дальнем Востоке и даже организовали встречу с управляющим новосибирским трестом, как раз находившимся в столичной командировке. Тот предложил мне работу в только что открытой им экспедиции в городе Канске Красноярского края, пообещав оплатить дорогу и выдать подъемные. Я дал согласие. Управляющий особо подчеркнул, что все мои расходы он оплатит в Новосибирске после оформления меня на должность инженера-таксатора, и при этом добавил, что новая экспедиция станет базовой в Восточной Сибири. На этом мы расстались.

Было начало марта. За окном вагона светило солнце, с сосулек, густо свисавших с крыш, капала вода, и продолжалась эта весенняя капель до встречи с Уралом. Здесь погода сменилась на пасмурную с бураном. В Челябинской области начались горы. Кроме голых склонов Бабатагского хребта, отделяющего Узбекистан от Таджикистана, я до сих пор никаких гор не видел. Изменение рельефа вызвало во мне восторг. Паровоз на подходе к Златоусту, протискиваясь сквозь ущелья, стал чаще издавать протяжные гудки. Признаков весны в горах еще не было видно. Но предвкушение встречи с неизвестным безбрежным краем настраивало меня на благодушный лад. На занятиях по географии у меня почему-то сложилось впечатление, что повсюду в Сибири распространены горы

и сопки. И эта красивая страна простирается, как известно, аж на семь с лишним тысяч километров, до самого океана.

Горы кончились и началась равнина — Барабинская лесостепь. Прильнув к окну, я с пристрастием наблюдал, как под стук колес мимо проплывала унылая заснеженная пустыня с редкими деревьями и массивчиками березово-осинового леса. Частокол столбов дыма, подпиравших небо, указывал, что за стеклом стоит безветренная лютая стужа. Два дня кряду я ни рядом с дорогой, ни на далеком горизонте не видел тайги, о которой так проникновенно писал В. К. Арсеньев в своих дневниках. А на четвертый день поездки рано утром на высоком берегу великой Оби мне явился огромный город — это и был Новосибирск.

Железнодорожный вокзал, один из лучших в стране, мне понравился сразу. Я невольно задержался в нем, и вот почему. Справа от лестницы в начале огромного зала ожидания мне встретилась необычная точка общепита: три стандартных круглых столика и рядом, за стеклом — огромная кастрюля, в которой кипели и распространяли аппетитный, домашний запах настоящие щи. Ничего подобного нигде, ни в Харькове, ни в Москве, ни тем более в Ташкенте я не видел и вообще в последний раз пробовал щи дома у матери. Не в силах побороть любопытство, я остановился, а хозяйка заведения без названия, истолковав это привычным образом, тут же налила мне глубокую миску варева, подала два ломтя хлеба и сообщила, что рассчитываются здесь, когда возвращают посуду. Съев огромную порцию щей и расплатившись, стоило это копейки, я вышел из вокзала сытый и довольный.

На привокзальной площади в будке справочного бюро я узнал, что мой трест находится на улице Карамзина, 103 и добраться до него лучше всего трамваем, что я и сделал.

Найдя нужное здание и даже не прочитав вывески на воротах, я вошел, отыскал приемную и обратился к секретарю:

- Могу я видеть управляющего?
- В больнице.
- А главного инженера?
- Он пошел проведать управляющего. А вы по какому вопросу?

Тогда я рассказал о своей московской встрече с управляющим трестом. Секретарша выслушала и отправила меня к Василию Ивановичу, не уточнив, кто он по должности. Я нашел кабинет Василия Ивановича, второй раз подряд изложил свою историю и... узнал от него, что справочное бюро направило меня совсем в другое учреждение, сходное по названию и по профилю работы, — в Трест лесной авиации. Заодно Василий Иванович кое-что разъяснил. Их трест был создан в Новосибирске в 1938 году для проведения таксационных работ в неизведанных таежных районах от Урала до Камчатки. А трест, куда меня пригласили работать, — аэрофотолесоустроительный — появился в 1947 году и занимался классическими лесоустроительными работами. После этого Василий Иванович добавил, что им здесь, в конторе лесосырьевых изысканий, нужны таксаторы с высшим образованием и что он сообщит обо мне главному инженеру, как только тот вернется из больницы. Я согласился подождать.

Разговор состоялся вскоре. Я рассказал о причине моего появления здесь и замолчал. Главный посмотрел на меня очень внимательно и сказал:

— Вы работали в лесомелиоративной экспедиции и окончили факультет лесного хозяйства. В связи с этим не знаю, какие у вас знания по таксации, а прак-

тики по этому предмету нет никакой. Я вам предлагаю изначально поработать у нас старшим техником, ну а там посмотрим. Если надумаете, приходите, завтра мы вас примем. Решайте. Побывайте в другом тресте. Как его найти, секретарь подскажет. Если есть вопросы, задавайте, если нет, то до завтра.

Я поднялся и вышел, несколько удивленный предложением.

Следующим утром я нашел лесостроительный трест, который располагался рядом с большим базаром в районе нынешней ГПНТБ. Поговорил с управляющим. Он настаивал, чтобы я ехал в Канск, а мне уже захотелось остаться в Новосибирске, который, несмотря на наличие огромного количества деревянных домов прямо в центре, мне понравился.

В тот же день я появился в конторе лесосырьевых изысканий Треста лесной авиации и дал свое согласие работать на условиях, предложенных главным инженером. Вот так я волею случая попал в Новосибирск, где и живу с марта 1959 года, и не только не жалею об этом, а рад, что судьба распорядилась по-своему.

Ивдель, лагерная столица

— Давай, Николаич, вот твой стол — и не отрываясь изучай, чем тебе предстоит заниматься. Я тебя ничем отвлекать не буду. Придет из отпуска начальник экспедиции Трегубов Владимир Иванович, вот он и будет тобой руководить, — так сказал Василий Матвеевич Бакулин и положил передо мной инструкцию.

Именно он первый назвал меня Николаичем, а потом в конторе все стали так обращаться ко мне.

Василий Матвеевич Бакулин вскоре ушел в Ботанический сад СО АН СССР и стал крупным специалистом по тополевым лесам Сибири. Через пятьдесят лет он (доктор наук, как и я) стал рецензентом трех моих монографий.

В начале апреля после отпуска появился Трегубов. Сухой, невысокого роста, он занял стол ушедшего Бакулина и сразу перешел к делу. Сообщил мне, что с его подачи я переведен с должности старшего техника в инженеры-таксаторы. Объяснил, что весь полевой сезон и камеральный период буду работать в его экспедиции, которой предстоит провести таксацию лесов в бассейне реки Конды, в районе строящейся железной дороги Ивдель — река Обь.

За полтора месяца своей камеральной стажировки я узнал, что после сдачи материалов заказчику проработавшие год экспедиции закрываются и открываются новые. В частности, в 1959 году от конторы лесосырьевых изысканий будут работать три экспедиции: наша, еще одна — в бассейне реки Малая Сосьва и третья — в Читинской области в бассейне реки Ингода. Каждая из них должна оценить леса на площади около 500 тысяч гектаров с точностью, позволяющей промышленности приступить к освоению лесных ресурсов.

Следом за начальником экспедиции стали возвращаться из отпусков таксаторы, занявшие две соседних комнаты. Я был переведен в одну из них, в которой сидели мои матерые коллеги — Нариман Гаспаров, Данила Бурага, Андрей Барышев, Юрий Иванов, Лиза Пархимчик, а также начальник партии Евгений Ильюшин, с которыми мне и довелось работать в первый сезон в тайге. В конце апреля они все отправились на Северный Урал, в село Ивдель, где должна была базироваться наша экспедиция. И опять я остался один в комнате, продолжая зубрить инструкции и всякого рода методики проведения таксационных работ.



И вот в начале мая начальник вызвал меня и сообщил о моей командировке в Ивдель и о том, что там я пройду месячную стажировку у Андрея Барышева. Я принял известие с удовольствием и наивно спросил, где этот Ивдель и как до него добраться. Трегубов, оторвав голову от бумаг, нехотя ответил:

— Молодой человек, где этот Ивдель, ты уже должен знать от улетевших таксаторов, а как доехать до него — узнаешь по картам и на вокзале. Получи командировку у секретаря, деньги в кассе и послезавтра я не хотел бы видеть тебя за столом.

— А как я поеду без экспедиционного имущества?

— Молодой человек, не дури мне голову, запомни раз и навсегда, что у нас, таксаторов, нет экспедиционного имущества, а есть только таборное, и оно уже давно вместе со всяким инструментом и продуктами на базе. Там все и получишь у завхоза экспедиции. Все, до встречи в Ивделе, — холодно закончил Трегубов и уткнул голову в бумаги.

Через три дня поездами через Тюмень, Свердловск, Серов я прибыл в Ивдель. Большое село, состоящее из добротных рубленых домов, с деревянными тротуарами, расположенное в горной местности, было такое же грязное, как улицы в Новосибирске, Тюмени, Свердловске, Серове. Только в отличие от них Ивдель был припорошен зарядом свежего снега и выглядел даже нарядно. Меня никто не встречал, я пешком добирался до гостиницы. Был поздний вечер, и вокруг я практически никого не видел. Большинство домов были закрыты ставнями, через которые пробивались тонкие полоски света. Вдруг, пока я плелся по скользкому тротуару, мимо меня пролетел мужик на невиданной повозке: он катил на нартах, запряженных тремя весело лающими собаками.

Да, невольно подумал я, поживаясь от холода, это не Голодная степь с верблюдами и фалангами, а Северный Урал, практически Сибирь, — со снегом в мае и собаками, запряженными в нарты, с каюром, одетым в какой-то балахон мехом наружу и в рыжий малахай с хвостом на спине. Встреча с местной экзотикой меня не удивила. Я же хотел увидеть нечто подобное — и увидел.

Упряжку я снова встретил у гостиницы. Три красивые рыжие морды с маленькими клинообразными ушами внимательно смотрели на меня. Никто из собак не рыкнул и даже не пошевелил хвостом, лежали на снегу не шелохнувшись. Немного постояв, полюбовавшись ими, я прошел в дом.

— Как вижу по рюкзаку, вы к новосибирцам, — мягко протянула румянолицая моложавая женщина с приятной улыбкой.

— Да куда уж мне, коль зашел?

Она указала мне комнату и сказала как-то загадочно:

— Там будет вас четверо, и вам станет очень удобно распивать чай за квадратным столом.

В комнате, кроме трех наших, вижу незнакомца. Ба! Так это тот самый, что на нартах проскользил мимо меня. Он поднялся, и я увидел высокого человека с интеллигентным лицом и седоватой ухоженной бородой. Надев свой меховой балахон, он протянул руку Даниле Бураре и сказал:

— Ну что, начальник, базара нет, я не в обиде, покачу домой, пока еще путем не стемнело. Успехов вам в тайге.

Бурага показал мне койку. Затиснув под нее рюкзак и раздевшись, я произнес:

— Интересный мужик. Откуда он такой?

— Согласен, — ответил Данила. — Очень интересный мужик! Бывший директор какого-то большого московского ресторана. Отсидел в лагерях лет пятнадцать. Разрешения возвратиться в Москву ему не дали, а оставили доживать здесь. Около двух лет он обитает в какой-то таежной деревушке по дороге в село Полуночное. Очень просил взять его в тайгу с собаками, обещая стать полезным во всем. Я ему, конечно, отказал. Ему уже лет под шестьдесят и работу по прорубке просек и визиров с ночевкой в тайге, где застанет ночь, он, конечно, не выдержит. Ну а собаки его, несмотря на их породистость, будут просто обузой.

— А где он сидел?

— Где, где... А, да ты еще и не знаешь. Ивдель — это же столица лагерей на Северном Урале. Много освободившихся живут здесь, кого-то из только что вышедших мы сейчас нанимаем на работу и отправляем на озеро Арантур к Андрею Барышеву. Часть он оставляет себе, а за остальными придет гидросамолет от Леонида Андреевича Кабанова, начальника другой экспедиции. Через два дня к нему пойдет вертолет со следующей партией рабочих, и ты улетишь с ними на озеро. Таборное имущество на четверых получишь здесь у завхоза и послезавтра будь готов к отлету. На озере из рабочих, ждущих отлета к Кабанову, подберешь трех, с которыми и отработаешь свой таксационный участок после стажировки. Пока ты стажирующийся, рабочие Андрея разрубят квартальную сеть на твоём участке. Все это — распоряжения Трегубова, — закончил Бурага.

Назавтра я прошелся по магазинам, закупил всякую мелочь и, главное, теплое белье, портянки, свитер, шерстяные носки, в чем на юге не нуждался. А вечером пошел к завхозам экспедиции и партии договориться, чтобы на следующее утро получить таборное имущество и всякий инструмент: буссоль, стальную металлическую ленту, мерную вилку, топоры, лопаты, высотомеры, а также продукты. Дом, где они оба стояли на квартире, был неподалеку от гостиницы.

Дверь открыл Яков Иванович, завхоз экспедиции. В хорошо освещенной горнице за круглым столом с белой скатертью, заставленным едой, я увидел завхоза нашей партии Федора Егоровича, а напротив него — старушку в серьезном возрасте в ярком полупрозрачном платье и цветастой косынке. Яков поставил венский стул к столу, а старушка, стуча каблуками, засеменила на кухню, принесла глубокую тарелку, ложку, вилку, большую хрустальную рюмку и с широкой золотозубой улыбкой пригласила попробовать что бог послал. Федор разлил «Московскую» и пригласил меня выпить за знакомство и здоровье всех сидящих за столом. Выпили. Я с удовольствием стал закусывать солеными помидорами, жареным хариусом и строганиной из оленины. Последние две закуски я никогда не видел и не пробовал, но понял, что ничего лучше после грубой «Московской» не придумаешь. Старушка только пригубила и снова поторопилась на кухню — закладывая пельмени в кипящую воду.

Пока отсутствовала хозяйка, я озирался кругом, пытаюсь понять, куда попал. Прямо за моей спиной между двумя большими окнами с тюлевыми занавесками и бархатными портьерами стояло огромное зеркало высотой чуть ли не до потолка, в углу комод, застеленный вязаным покрывалом, с гипсовой фигурой Венеры Милосской, по другой стене между окнами — тумбочка с патефоном и пластинками на открытых полках, по третьей стене был вход куда-то, полузакрытый бархатными портьерами, потом голландка с изразцами, далее — дверь на кухню и в сени, рядом с ней — большой кожаный диван со слонами наверху.

Вскоре хозяйка принесла большую фарфоровую миску, полную пельменей, и громко заявила:

— Мужики, наливайте, закусывайте уральскими пельменями из оленины, а потом я вам включу патефон.

Я с изумлением и какой-то опаской посмотрел попристальней на игривую старушку. Действительно, выпили еще по одной, и она включила патефон, заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Хозяйка легко поднялась и пригласила Якова Ивановича.

Было видно, что партнер ее не умеет танцевать, но она, в длинном полупрозрачном ярком платье, на каблуках, стала раскручивать обалдевшего завхоза. Хозяйка таскала его по горнице, пока не закончился вальс, и они упали каждый на свой стул, громко смеясь и задыхаясь. Я увел Федора в кухню, коротко с ним переговорил и вернулся в гостиницу.

Заскочив в нашу комнату, я стал хохотать, пытаюсь рассказать коллегам, что увидел. Они только улыбнулись:

— Да не бери ты в голову, в Ивделе еще и не такое встретишь. Этой старушке восемьдесят лет, а живет она как сорокалетняя богатая вдова. Ее муж, старатель, умер здесь в одном из лагерей. Она экспедиционных рабочих, легких на приключения, затаскивает к себе домой и веселится с ними в свое женское удовольствие. Но главное — она дожидается одного тридцатилетнего геолога. Когда он пропьет с друзьями все, что заработал в поле за лето, она находит его где-нибудь в канаве, тащит домой, отмывает и откармливает, и они живут всю зиму под ее крышей. Наступает весна, геолог улетает куда-то в тайгу, а она ждет своего возлюбленного. Следующей осенью все повторяется. Все окружающие вначале удивлялись этим встречам, потом возмущались, а теперь свыклись, не обращают внимания. А они даже однажды решили стать официально мужем и женой, однако райисполком, несмотря на отсутствие законов, запрещающих такой брак, отказал им в законном желании. Но они никак не возмутились этому несправедливому запрету и продолжают жить-поживать.

Поведав мне эту историю, мои коллеги добавили, что завтра в гостинице я смогу увидеть еще одного удивительного человека, известного здесь под кличкой Его Сиятельство Мишка Барон. Уже было поздно, и они не стали рассказывать о нем. Наутро я решил об этой загадочной титулованной персоне расспросить администратора тетю Лиду. Она с увлечением рассказала о его жизни во всех подробностях. Возвращаясь осенью из тайги, этот бич снимал в гостинице лучший номер и жил там, щедро оплачивая любые свои «аристократические» прихоти (например, ему ежедневно меняли постельное белье), пока хватало денег. К следующему полевому сезону у него, как правило, уже не было ни гроша.

Полет наш был отложен на пять дней из-за технической неисправности вертолета, и мне повезло воочию наблюдать последние дни роскошного обитания в гостинице современного Фильки Шквореня, явного потомка героя книги Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Познакомившись с ним и его опытом жизни в тайге, я оформил его к себе на работу и вскоре улетел с группой рабочих на табор Андрея Барышева.

С этого полета начался мой первый полевой сезон в Сибири, богатый на встречи с удивительными людьми.

Главный инженер

Примерно в середине августа начальник экспедиции Трегубов сообщил по радиации, что ко мне летит главный инженер. Он собирается проверить мою таксационную работу и работу Даниила Бураги, чей участок примыкал к моему с востока. Для меня это было неожиданное сообщение, и оно вызвало во мне какую-то неуютную тревогу.

И вот вблизи моей избушки приземлился вертолет. Я подошел.

— Ну что, Николаич, изумлен моему появлению? Давай веди в свою хибару на ночлег до утра, — улыбаясь, проговорил главный после рукопожатия.

Дело было под вечер, и я понял, что сегодня в тайгу не пойдем. Рабочие истопили баню, накрыли стол и удалились из избушки, показав мне жестами, что пошли готовить уху. Николай Фомич, вернувшись из бани-палатки, красный от парилки, пихтового веника и холодной воды Конды, ворчал, побрякивая:

— Ну это по-нашему! Да, это по-нашему!

Усевшись за полупустой стол, на котором была только разогретая тушенка, сухари и отдельные кусочки вяленого оленьего мяса, он порылся в рюкзаке и достал помидоры, буханку хлеба и бутылку «Московской».

— Николаич, думаю, что это нам не помешает.

Пока главный разливал водку по кружкам, открылась дверь и один из рабочих внес котел, а другой поставил на стол большую сковородку с распластанной вареной рыбой, посоленной сверху крупной солью. Главный глянул на идущий из котла пар, щучьи головы и расплылся в улыбке:

— Да, это по-нашему, никак не ожидал, — и предложил выпить за меня, подняв кружку.

Я смутился, но не стал перечить главному.

— Не думай, я не зря хочу выпить за тебя, — продолжил он, — мне известно, как ты успешно прошел стажировку, как чуть не упустил огонь в большую тайгу и загасил пожар со своими рабочими. Ты в драке с Нариманом не дал инженеров и себя в обиду. Успел остановить лодку и не нырнул с ней под залом на Конде. И я понял, что ты станешь таежником. Тайга принимает не книжных романтиков, любителей манной каши, а только людей с определенным характером, не понятным ни мне и никому. И ты вряд ли поймешь.

Николай Фомич поднял кружку и выпил до дна, запив ухой из другой кружки.

— Ну а меня прости, что я принял тебя, инженера с дипломом, на должность старшего техника, но поступить я иначе не мог. Это обычная моя проверка любого рвущегося попасть в сибирские леса, но знакомого с ними по Джеку Лондону. А почему по Джеку Лондону? — задал он себе и мне вопрос и ответил: — А потому, что жизнь в этих лесах так азартно никто еще не описал, а леса на Аляске — это те же сибирские. Правда, в своих рассказах он многое вдохновенно приврал, но ему простительно, он всего год жил среди старателей. Откуда ему знать таежную жизнь!

— Как «никто не описал», а «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова? — попытался я вставить кое-что из своих познаний в монолог главного.

— Э, да ты, Николаич, ничего пока еще из моих слов не понял. Вячеслав Шишков написал очень серьезную книгу — не о тайге, а о жизни старателей, о политике, о трагической любви, а не о первооткрывателях сибирской тайги. А быть



первооткрывателем желающих нынче много, особенно среди молодежи твоего возраста, — закончил главный, а потом, не удержавшись, добавил: — В Томске, когда учился в лесотехническом техникуме, я жил неподалеку от дома Шишкова, где он заканчивал свой знаменитый роман.

И уже поздно вечером, после выпитого индийского чая с сахаром вприкуску, главный сообщил, что завтра утром он уходит по поперечной просеке к моему соседу. Ему придется идти по ней двадцать километров.

— Прорублена ли просека до конца?

Не показывая радости, что он не идет со мной на проверку моей работы, я ответил:

— Да, она давно прорублена Андреем и промерена нами. Но как вы пойдете один так далеко без сопровождающего рабочего и без оружия?

Он просто ответил, что он старый таксатор и пройти двадцать километров по тайге ему одно удовольствие.

— Я могу себе позволить эту вольность — идти в тайгу одному, а вот тебе, моему подчиненному, не позволю этого сделать никогда. Если я пропаду, то за меня некому будет отвечать, а вот если пропадешь ты, начальника партии могут посадить — как лично ответственного за соблюдение указаний по технике безопасности. Начальника экспедиции понизят в должности, а мне вынесут строгий выговор. Так что заруби себе на носу: никогда не разрешай уходить рабочему в тайгу без напарника, а инженерно-технических работников не отпускай без сопровождающих рабочих, их официальных телохранителей. Но при этом имей в виду, что и вдвоем пропадают люди в тайге, так что, отправляя рабочих в заход, детально планируй каждый день и устанавливай конкретную дату их выхода из тайги. Это будет почти гарантией, что обойдешься без отвлечения сил и времени на какие-либо чрезвычайные мероприятия. А чрезвычайные происшествия нас ожидают ежедневно. Незадолго до моего вылета сюда начальник сосьвинской экспедиции Кабанов сообщил в контору о пропаже в тайге двух рабочих, которых еще не нашли за две недели поисков. Был выслан вертолет, но нигде не обнаружили костра, который пропавшие должны были развести, когда поняли, что заблудились... Запомни, Николаич, навсегда, что самая короткая дорога на табор — это известная дорога, и никогда не пытайся спрямить ее по нехоженому. А если заблудился, остановись, найди болото или поляну, жги костер и настойчиво жди спасателей. Они с вертолета по дыму обнаружат тебя обязательно. Так что, Николаич, осваивай эту свирепую зеленую стихию... И желаю успехов, — закончил главный свою лекцию, от которой я уже начал уставать, силясь не задремать.

— Да, и последнее, — добавил Николай Фомич. — Я прилетел проверить не твою работу и не Бураги, а хочу увидеть качество просек и визиров, прорубленных рабочими Андрея Барышева. У него на таборе скапливалось до сорока рабочих, ждущих отправки гидросамолетами на Малую Сосьву. Андрей, воспользовавшись этим, практически всех поставил на прорубку квартальной сети не только у себя на участке, но также на участках твоем, Бураги и частично у Лизы Пархимчик. И всего за какой-то месяц он организовал прорубку просек и визиров общей протяженностью более тысячи километров на площади более ста тысяч гектаров. Каково, а? Просто гениально!

В знак восхищения главный инженер поднял указательный палец. И продолжил:

— Тем самым он не только получил феноменальный результат, но и, что не менее важно, исключил возможность возникновения криминальных конфликтов среди людей, только что освободившихся из лагерей и пребывающих на таборе без дела. Вот я и иду завтра проверить качество этой прорубки. По дороге я, конечно, обращаю внимание на вашу таксацию, но это не главное. Вашу работу пусть проверяют начальник экспедиции Трегубов и начальник партии Ильюшин. Это их прямая обязанность. Для меня важно другое. За двадцать с лишним лет в лесоизыскательских экспедициях я впервые вижу такие темпы: более тысячи километров квартальной сети за месяц — и это выполнено вчерашними заключенными. Несмотря на мое восхищение, все-таки вызывает во мне подозрение качество выполненной работы, — закончил длинную речь главный и окончательно полез в спальник.

Утром Николай Фомич, плотно позавтракав остатками ужина и выпив три кружки чая, пошел на восток по поперечной просеке.

А вечером по радию начальник экспедиции Трегубов сообщил, что главный инженер дошел живым и здоровым.

Ввиду того что я был начинающим таксатором, после стажировки мне было поручено протаксировать всего триста километров ходовых линий, что я и завершил раньше всех в середине сентября. Прибыв в Новосибирск, я взял несколько дней без содержания. Но не тут-то было. Через два дня вызвал меня главный инженер.

— Николаич, — обратился он ко мне, — я прошел двадцать километров по твоему участку и увидел таксационную работу специалиста, способного провести и более сложную таксацию. На севере Новосибирской области леса, образованные кедром, елью, пихтой, сосной, березой и осиной, очень сложные по строению, распространены на лесо-болотной территории. Одна из московских лесоустроительных партий, по договору с нашей конторой, взялась в этом году провести таксационные работы и не справилась с ними. Уже октябрь. Скоро снег, а их таксаторы, сколько ни пытались, не смогли одолеть один объект, примыкающий к реке Икса, на границе Новосибирской и Томской областей. Я послал начальника партии Вениамина Иванова с двумя таксаторами на помощь москвичам, но они могут также не успеть завершить работы до снега. А наша контора не имеет права эту работу не выполнить. Я знаю эти леса, и туда следовало бы послать на помощь опытного таксатора, но они все еще в поле. Ты сейчас в конторе из полевиков один. Время не терпит, и мне ничего не остается, как командировать тебя снова на полевые. Если имеешь какие-нибудь болячки, можешь отказаться, а если нет — послезавтра вылетай в Пихтовку. Я уверен, и ты не сомневайся: с работой в этих лесах ты справишься. В Пихтовке Иванов озадачит тебя, экипирует твоих двух рабочих, которые ждут сибиряка и заявляют, что «только с сибиряком пойдут на Иксу», — закончил главный, поднялся, пожал мне руку и пожелал успехов.

Эта командировка меня никак не обрадовала. Я было собрался воспользоваться привилегиями полевика, рано закончившего сезон, взять еще неделю без содержания и слетать на родину. Но увы! Только то утешало меня, что, в отличие от Средней Азии, где меня после полевых послали с несколькими работниками на сбор хлопка, здесь меня командировали по работе и как опытного специалиста — на помощь каким-то не справившимся москвичам.

Заход на Иксу

И вот она, Пихтовка, райцентр на севере Новосибирской области. «Ан-2» сел на травяной аэродром. Винт остановился, и толпа, стоявшая около избушки с ветряком, кинулась к самолету. Всех, кроме меня, с радостью встречали. Я шел последним, с рюкзаком и ружьем, и вдруг один высокий парень, придерживая велосипед, приблизился ко мне и, не спрашивая, стал снимать с меня рюкзак, приговаривая: «Ну наконец-то наш сибиряк прилетел, вот с ним-то и пойдём на Иксу, а не с этими недоношенными москвичами!»

От этой реплики мне стало приятно и даже весело. Ещё и года не пребываю в Сибири, а уже — сибиряк, а не какой-то там москвич!

Итак, мы отправились втроем на Иксу. Нам предстояло прорубить, промерить и протаксировать где-то тридцать с небольшим километров ходовых линий, поставить 28 квартальных и визирных столбов и через две недели вернуться на базу.

Из Пихтовки до таежной деревни Пономаревки мы доехали на машине. Там у одного лесника переночевали. Далее пешком. Вначале километров пять мы шли какими-то перелесками, заросшими черемухой, березой, изредка — кедром с елью, а потом пошли низинные болота с водой, совсем непохожие на верховые северные болота. С грунтовой дороги мы перешли на лежневку, когда-то проложенную по болоту для прогона заключенных в лагеря Томской области. И это для меня было испытанием: впервые в жизни увидел я, что такое лежневка.

Осклизлые полусгнившие бревна, путем не связанные между собой, заставляли идти крайне осторожно, чтобы не соскользнуть с них в воду. Но, когда лежневка ближе к Иксе пошла через камыши трехметровой высоты и болотные кочки выше колен, мы поняли: настоящие испытания только начинаются.

И вот уже поздно вечером, через тридцать кое-как пройденных километров наконец-то встретился суходольный лес из кедра, ели, пихты, березы и осины. По нему мы прошли всего лишь полкилометра и уперлись в речку. Стоя на берегу и задрав головы вверх, мы осматривали кедры и ели высотой более тридцати метров. Вдруг с вершины одного из кедров сорвался глухарь и, хлопая огромными крыльями, перелетел плес реки и скрылся в темном кедраче. В дальнейшем, где бы я ни работал, я не встречал таких глухарей: по моим прикидкам, этот мог весить килограммов восемь. О таких глухарях я только в книгах читал...

Мы радостно скинули со спин рюкзаки и стали готовить ночлег. И здесь я увидел, что моих рабочих не надо понукать. Профессионально, по-таежному, каждый занялся своим делом: готовить дрова и таган, разводить костер, натягивать тент и под ним устраивать лежак на троих из жердей и пихтовой лапки. Володя, встречавший меня на аэродроме, взял на себя роль повара (и исполнял ее до конца нашего захода).

Пока мы возились с обустройством временного табора, неподалеку засвистели рябчики. Я тут же забыл о пройденном пути, стал осторожно подвигаться к ним, посвистывая манком, и через полчаса я вернулся с четырьмя рябчиками. Володя тут же с рябчиков снял шкурки с перьями, выбросил кишки и опустил тушки в кипящую воду. Я впервые узнал, как быстро приготовить ужин в тайге из дичи. Этим способом впоследствии я всегда готовил глухарей или уток, не тратя время на ощипывание и прочее.

Приготовив все для ночлега, мы сидели у костра, просушивая мокрую одежду и сапоги. Из раскисших кирзовых сапог сочилась еще болотная вода, а буд-



то изжеванная кожа ступней сладостно поглощала тепло костра, натягиваясь и приобретая обычный здоровый розовый цвет. Какой же я был самонадеянный дурак — не воспользовался подсказкой бывалой таежницы, работавшей в камералке. Она настаивала, что мне надо обязательно купить болотные сапоги с голяшками. Работая на севере Западной Сибири, я весь полевой сезон проходил в кирзовых сапогах, таксируя в основном сосновые лишайниковые леса, и, нечасто бывая в верховых болотах, увязал во мху, а не в воде. Никто же мне путем не объяснил, что остаться сухим, переваливая низинные болота с высокими кочками, невозможно. Еще ничего, если было бы это в июне-июле, а сейчас октябрь, вода невероятно холодная, и я понял после перехода низинного болота по осклизлой лежневке, что москвичи не зря обходили этот объект, а я попался как кур в ошип по милости главного. И я, не стесняясь, громко материл главного инженера, а также и себя — за то, что рано закончил объект на севере.

Рабочие сидели молча, попивали крепкий чай, ухмыляясь, и не воспринимали серьезно мое злое ворчание. Они местные, и, бывая в тайге, обыкновенно обходили эти болота. Ну а если промокли — развели костер, обсохли и решили эту проблему. Пока я ругался, рябчики сварились. Одетые в сухую одежду, обгладывая тушки дичи и запивая мясо чуть остывшей юшкой, мы встретили ночь.

Проснулись рано. Было темно и холодно, костер прогорел давно. Моховой покров подернулся инеем, а с реки тянулся туман. Стояла тишина, только от воды доносилось редкое покрякивание уток, ночевавших недалеко от нас в камышах. Сдвинутые вместе остатки несгоревших головешек занялись огнем, и через полчаса мы наслаждались крепким чаем с сухарями и обсуждали работу. Нам предстояло от речки на юг через два километра прорубить шесть просек протяженностью по четыре километра, связать их концы поперечной просекой с запада на восток, тем самым обозначив на местности пять кварталов в соответствии с проектом квартальной сети. Визирь внутри кварталов для захода с таксацией предусматривалось прорубать только в пределах сплошного лесного покрова, примыкающего к речке. Видя по аэроснимкам болота на значительной площади этой территории, мы прикинули, что заданный нам объем работ выполним за полторы недели и где-то дней через десять выйдем из захода.

Пронзительный дребезжащий голос кедровки оповестил всех обитателей тайги о начавшемся дне, мы приступили к работе. Буссолью я задал рабочим направление рубки просеки, и они, ставя вешки, убирая в створе тонкомерные деревья и оставляя на ближайших деревьях трехсторонние затески, стали удаляться от речки в глубь леса. Им предстояло за день прорубить около четырех километров и вечером вернуться на ночевку на наш временный табор. Я же подобрал аэроснимки и отправился на восток проводить таксацию насаждений, примыкающих к реке. Я наметил протаксировать около восьми километров и вечером, возвращаясь на ночлег, отметить затесками места начала прорубки следующих просек.

Нарушая все правила техники безопасности, доведенные до меня главным инженером, я без всякого сопровождения, без собаки, вооруженный гладкоствольным двуствольным ружьем двадцатого калибра, топором и ножом, самонадеянно полагаясь на свою энергию и сметливость, приступил к таксации.

Отойдя метров на сто от ночлега, я провел таксационное описание насаждения, в котором ночевал, и пошел далее вблизи Иксы. Речка текла в каньоне, образованном огромными деревьями, расширяясь на плесах. Я впервые видел такое большое скопление северных уток, плотными стаями перелетающих с плеса на плес. Добывать их не было смысла, когда в этом приречном лесу водится

много рябчиков, которых сумею взять с пяток к вечеру. Они уже начали посвистывать, включая свою деликатную музыку в дребезжащее карканье кедровок, наверху, в кронах кедра, заготовливавших орехи на зиму.

Не отвлекаясь на постороннее, я побрел от речки в глубь массива. Метров через триста я опять описал выдел, после повернул на восток и далее шел километра три, пока не уперся в горельник, покрытый березой и осиною лет сорока. На аэроснимке он выглядел как большая площадь сомкнутого молодняка. Однако под пологом крон скрывались завалы хвойных деревьев, возникшие после пожара. Оценив, что на его обход затратю много времени, я решил пройти горельник напрямую. И я побрел. Вначале можно было идти без особых препятствий, а метров через сто начались замшелые деревья, лежавшие хаотично друг на друге, с вывороченными корнями и давно высохшими крупными сучьями. Таких буреломов я не встречал на севере. Мне пришлось их переползать, хватаясь за тонкий молодняк лиственных пород, возвышавшийся над бревнами. И только где-то через два часа я кое-как выкарабкался из этого лесного бурелома. Записав таксационную характеристику пройденного насаждения, я еще долго сидел на валежнике, соображая: а что могло бы случиться, если бы я повернул ногу? Со мной же нет сопровождающего. Я ничего не ответил себе, а только как-то неловко вздрогнул, поднялся и углубился в тайгу.

Уже время подходило к двум часам дня, а я протаксировал всего лишь четыре километра хода, и если так, то намеченную работу я смогу выполнить только часам к шести. Для возвращения на табор мне потребуется еще часа полтора, и последний час буду идти в кромешной тьме. Поняв все это, я не стал тратить время на чай и продолжил работать. И вот она, следующая напасть. Примерно через километр после горельника я подошел к болоту. Как я определил по аэроснимкам, через него мне надо было пройти без таксации всего лишь около двухсот метров. Пока я брел по чистому участку болота с клюквой, холодная вода еще не залила сапоги, а вот когда я прошел примерно половину расстояния, кочки стали выше, вода глубже, камыши гуще, и через них пришлось буквально продирается по колено в воде. Остановившись у березы, росшей на небольшом твердом бугре, я расстегнул патронташ с патронами и засунул его в рюкзак. Мало ли что... Наконец через полчаса я выполз из болота на сухой берег, почти весь мокрый от воды и пота, сел на сухую валежину и долго зло смотрел на свои следы в камышах. Даже не подумав идти дальше, стал продирается назад. Выбравшись из болота в лес, я тотчас развел костер, повесил котелок на таган и, сбросив с себя все, стал сушить одежду. Глядя на пляшущее пламя, я сообразил, что буду возвращаться по берегу речки, обходя горельник, и до темноты вернусь. Запив тремя кружками крепкого горячего чая проглоченную банку стуженного молока, натянув просушенные сапоги на сухие портянки и вернув патронташ на пояс, я бодро пошел на табор. Дойдя до речки, я спокойно побрел по берегу, поросшему зарослями смородины, малины, черемухи и рябины.

Дорогой я встретил два выводка глухарей. Поднявшись из брусничника, они стремительно полетели к реке и где-то на другом берегу стали устраиваться в кронах деревьев.

Пройдя немного, я подстрелил пять рябчиков и, теперь уже совсем довольный прожитым днем, добрался до ночлега, когда уже начало смеркаться. Рабочих еще не было. Разведя костер и развесив портянки на кольях, я с наслаждением потягивал горячий сладкий чай с сухарями, протянув голые ступни к огню. Напившись чая, я быстро освеживал рябчиков и бросил их в пятилитровый котел с булькающим кипятком. Через полчаса стало совсем темно. Рябчики

сварились, а рабочие еще не пришли. Я заготовил дрова и бросил несколько бревен в огонь, яркий свет от которого стал заливать окружающие деревья. И вот наконец-то рабочие вывалились из темноты. Мокрые до пояса, злые, они молча разделись и стали сушиться. Отогревшись и натянув одежду, они сели к котлу с юшкой и рябчикам, разложенным на бересте.

Ничего не говоря, они долго ели и, обглодав по два рябчика, отвалились на сухие фуфайки.

— Ну, Николаич, мы пролетели, — протянул Володя. — Видно, не зря москвичи не сделали свою работу здесь. Наверное, заранее у местных узнали, какие здесь гиблые места, и обошли их. И теперь они нам с тобой достались. Представляешь, — продолжил он, — не пройдя и километра с рубкой, мы уперлись в открытое болото. Мы подумали: рубить не будем, проведем его и пойдем дальше.

Иван, его напарник, молча лежал, упершись взглядом в костер.

— Но не тут-то было! Далее, метров через триста, мы вошли в густой камыш с высокими кочками, воды по колено. Метров сто мы шли по этому участку, пока не вышли в массив кедрового леса с елью и пихтой. За чаем отогрелись и пошли дальше. Через метров сто опять открытое болото с клюквой и косачами, а потом метров пять-десять — густые камыши, через которые мы снова брели по воде. И так, Николаич, мы прошли до места с рубкой только к вечеру. И вот мы — без чая и не обогревшись — четыре километра по темноте пробирались назад. Как видишь, совсем мокрые, но мы здесь и сделали свою работу. А теперь, Николаич, говори, что будем делать дальше?

Иван все время молчал, потом сел и, глядя прямо на меня, тихо промолвил:

— Я ухожу домой!

Проглотив это заявление, я повернул голову к Володе:

— А ты?

Он ответил, не отрывая глаз от костра:

— Я тоже!

И тут я понял: вот она, настоящая тайга, совсем не похожая на парковые сосновые леса севера, покрытые внизу тонкой лесной подстилкой из лишайников, по которым можно кататься на мотоциклах. И мое боевое крещение там — это просто забава в сравнении с испытаниями, ждущими нас здесь.

После заявления рабочих я холодно сказал:

— Когда вы выйдете в Пихтовку и будете канючить деньги на бормотуху из аванса, выданного мной вашим женам, не называйте себя сибиряками. Идите, я остаюсь один и все-таки сделаю таксационную работу в этих сибирских джунглях без прорубки просек и промера!

После я рассказал о своем прошедшем дне. Пока я говорил, они слушали внимательно, часто резко кивая, как бы поддакивая, дескать, и они испытали что-то подобное. Я посмотрел на обоих и спокойно добавил:

— Обсушились, насытились, а теперь снова грейте чай, и мы обсудим наши дальнейшие дела.

Не задавая более никаких вопросов, оба молча поднялись и занялись костром и чаем. За чаем мы прикинули, как лучше противостоять безжалостной глухомани, чтобы выйти из нее невредимыми и без приключений. Потом рабочие стали точить топоры, проверяя их остроту бритьем волос на запястьях.

Наутро, поставив квартальный столб, мы приступили к промеру и таксации прорубленной просеки. Чтобы не терять зря времени на холостые переходы, мы решили одновременно проводить рубку ходовых линий, промерять, таксировать

и ночевать там, где застанет ночь. За первые четыре дня, пока было ясно, свыкшись с болотами, промокая в них и просыхая у костров, мы даже успели сделать половину намеченной работы. А вот на пятый день, с дождями, наступила ка-торга. В двух местах даже пришлось ночевать на открытых болотах. Пришлось делать настилы из тонкомерной сосны, давно высохшей, но еще не упавшей. На них под натянутым тентом мы оборудовали лежаки на троих.

Молча, даже не матерясь, мы монотонно работали под дождем и только через четыре недели (вместо двух, как планировали) закончили обследование этих сибирских джунглей.

И сейчас, после пятидесяти лет в тайге, этот заход в лесо-болотные дебри у реки Иксы остался в памяти до мелочей. Нигде больше в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Америке и Канаде я не встречал более суровых, непроходимых и вместе с тем столь биологически разнообразных лесо-болотных экосистем. Следует эти территории навсегда заповедовать и отнести к объектам природы, требующим особо глубокого изучения всего многообразия жизненных форм, приспособившихся обитать в столь необычных ландшафтах.

Как-то раз, пробираясь вдоль опушки кедрача, мы увидели невысокое одиноко растущее дерево с кроной, опущенной до самой земли. Дерево стояло на берегу болота, на котором паслось множество косачей, обирающих клюкву с моховых кочек. Мы остановились метрах в пятидесяти и стали наблюдать. И вдруг увидели на нижнем толстом суку того одинокого кедря неподвижную рысь, положившую голову на передние лапы. Она явно ждала своего косача. Мы стояли не шелохнувшись, но минут через пять рысь, бесшумно оставив дерево, удалилась от своего скрадка. Видимо, почуяв нас, она прекратила охоту. За долгий заход мы встретили лосей, оленей, медведей, волков и множество мелких зверушек и всякой птицы, прекрасно существовавших в этой беспощадной среде.

На тридцатый день, теперь легко пройдя по лежневке, мы вышли в деревню, отпарились в бане у гостеприимных хозяев, и из нас вместе с паром улетучилась накопившаяся желчь.

Встреча в Пихтовке

Наутро, как договаривались с вечера, гостеприимный лесник запряг лошадь в обычную телегу и мы вчетвером двинулись в Пихтовку. Где шагом, где трусцой лошадь с трудом преодолела за пять часов двадцать километров, и поздно вечером мы прибыли в дом, снятый под общежитие сотрудников и камералку. У ворот стоял начальник московской партии, который радостно пожал мне руку и несколько раз повторил:

— Ну наконец-то! Ну наконец-то! Вернулись!

Не понимая его настроения, я скучно ответил:

— А куда мы могли бы деться?

— Так наши таксаторы, как ни дергались, не могли добраться до Иксы. Мы раньше не встречали такой гиблой лесо-болотной тайги и уже решили оставить часть работы до следующего сезона, а вот Николай Фомич не позволил нам этого сделать и прислал на помощь двух опытных таксаторов с Ивановым, с ними двух выпускников ленинградской лесной академии, а потом и тебя. А вот, кстати, и они!

К нам подошли двое парней. Это и были выпускники, а ныне стажировщики Леонид Рубенок и Евгений Негин. Они познакомились со мной и потащили к себе. В избе их было только двое. Начальник партии Иванов с двумя таксато-

рами улетел в Новосибирск, а их, стажировщиков, оставили с завхозом отправлять в контору таборное имущество. Московский начальник партии, обсудив со мной обработку и сдачу материалов таксации, покинул нас.

Дрова в печке весело потрескивали, на плите кипела кастрюля с какой-то дичью, на столе — бутылка «Московской», свежий хлеб, горячая тушенка на сковородке и квашеная капуста с клюквой. Оказывается, парни меня очень сильно ждали. Пока я был в заходе с двумя местными шалопаями, начальник московской партии сделал меня знаменитым только за то, что я спокойно, ничего не спрашивая, отправился на Иксу, которой все избегали. Мы наслаждались ничегонеделаньем, жарко натопленной комнатой и таежными деликатесами. За чаем Леонид предложил сыграть в очко. Я согласился, но выдвинул условие: как только кто-то из нас выиграет установленную нами сумму, игра прекращается, а наутро идем втроем в ресторан этот выигрыш пропивать. Все согласилось, и начался, по студенческим меркам, праздник души, который закончился глубоко за полночь. Рубенок выиграл.

Следующее наше утро наступило где-то в двенадцать дня. Напившись чаю, пошли по Пихтовке. Такой грязной улицы ни ранее, ни позже я не встречал. По дороге ползла повозка с печеным хлебом, которую лошадь тащила еле-еле, часто останавливаясь перед очередной лужей, будто раздумывая, преодолеть ее или нет. Но возница каждый раз хлыстом напоминал ей, что надо делать.

Никак не сочувствуя происходящему и не останавливаясь, а только улыбаясь при виде местной экзотики, мы шли по деревянному тротуару в ресторан. А еще через некоторое время увидели посреди улицы небольшого мужичка, увязшего в грязи по колено. Он азартно костерил всех, от секретаря райкома до уборщицы школы, где, как мы догадались из его матерков, он работал истопником.

При этом он сначала вяло дергался в торфяно-глинистой жиже, но потом перестал и заскулил, убедившись, что без помощи не выберется. Леонид, из нас самый высокий и сильный, отвернув голенища резиновых сапог на всю их высоту, молча пошел к утопающему, подхватил его поперек туловища и перенес к тротуару.

Мы с Негиным невольно зааплодировали, когда Рубенок осторожно положил забуддыгу на грязные доски. О чем-то перемолвившись со своей ношей, Рубенок оставил его и присоединился к нам, рассказывая:

— Этот артист по пьяни забыл то место, где он обычно переваливал через улицу и поплелся там, где никогда не ходил.

Мы дошли до ресторана, возле которого Леонид нашел лужу с относительно чистой водой и «привел себя в порядок». Вошли, заняли столик, огляделись. Белая накрахмаленная скатерть, на окнах белые тюлевые занавески, мухи о стекло не бьются, чистота необыкновенная. Еще не обед — и поэтому пусто.

Минут через двадцать подошла официантка и спросила скучным голосом, что будем заказывать. Перечислила, что имеется: из салатов — квашеная капуста, из мяса — котлеты и шницель, из гарнира — пшено и пюре, на третье — морс из клюквы. Мы все с одинаково кислой миной переглянулись, и я, не дожидаясь, что скажут коллеги, жестко произнес:

— Слушайте сюда, как говорят в Одессе: квашеную капусту, тонко нарезанный шпик, каждому по большому бифштексу с двумя яйцами, жареную картошку, бутылку «Столичной» в графине, три хрустальные рюмки и морс в граненых стаканах.

Официантка, покрывшись румянцем, тихо произнесла:

— А мы не готовим таких блюд.

— Так что же вы стоите, идите и учитесь готовить классическое ресторанное блюдо, коль ваше заведение называется рестораном и в нем появились знатные посетители. А квашеную капусту с тонко нарезанным салом и водочку с рюмками принесите сию же минуту, — улыбаясь, произнес я.

Она тут же сорвалась с места и поспешила на кухню. И буквально через минуту из кухни вышел крепкий улыбающийся мужик в белом фартуке и белом колпаке с полотенцем через руку, остановился, сделав изящный полупоклон, и произнес:

— Господа, я к вашим услугам.

Теперь уже мы оторопели и даже с опаской оглянулись, нет ли кого вокруг, все-таки мы были комсомольцами. Продолжая улыбаться, он произнес:

— Мужики, я впервые вижу, чтоб у нас в ресторане заказывали бифштекс с яйцом, а работаю я тут аж двадцать лет. С тех самых пор, как меня, шеф-повара самого старого иркутского ресторана, сослали в эти гиблые гнилые места. Мужики, базара нет, я вам приготовлю такой бифштекс, который едали только знатные гости самого хозяина Северо-Восточной компании Шелихова Григория Ивановича, присоединившего к России Аляску. Базара нет, — повторил он лагерную присказку, — через полчаса все будет на столе.

Закинув полотенце на плечо, шеф ушел. Мы переглянулись. Мы немного знали о декабристах, что-то об их женах, а вот о Шелихове, присоединившем к России Аляску, никто из нас и не слышал.

Минут через десять мы увидели нашу скучную официантку, несущую громадный поднос с тарелками капусты, сала, лука, чеснока, соленых огурцов, жареного чебака, графин водки с рюмками, черный хлеб.

— Подарок от шефа в честь двадцатилетия ссылки к нам в Пихтовку, закусывайте, — сказала она и плавно удалилась, качнув кувалдой льняных волос на затылке.

Мы были изумлены, но приступили к делу: пропить выигрыш Рубенка, а точнее — наши полевые. А через полчаса теперь уже очень приветливая официантка на втором большом подносе принесла бифштексы с яйцами и жареным картофелем, красиво уложенным в больших узких тарелках.

Мы, вылезшие здоровыми из лесо-болотных трясин, еще долго отмечали свой первый полевой сезон в Сибири. А когда собрались уходить, вдруг появился шеф-повар и обратился к нам:

— Ну как, гости Шелихова в конце восемнадцатого века понимали толк в еде?

Присев к столу, хозяин кухни попросил официантку принести большой белый фарфоровый чайник с горячим индийским чаем второго сорта иркутского развеса и стал рассказывать об Иркутске, столице Сибири в конце XVIII века.

И вот тогда-то в этом богом забытом краю, увлекшись чаем вприкуску, мы слушали о знаменитом русском колонизаторе из Курской губернии, о его трех грандиозных экспедициях на Аляску, о собольей шубе, подаренной им поэту Державину, в которой Гавриил Романович позже был изображен на портрете. Мы также впервые узнали о его сподвижнике, первом правителе Аляски, основателе ее столицы Ново-Архангельска Александре Андреевиче Баранове. Когда спустя много лет я побывал в Анкоридже, то узнал, что в местном театре долгие годы идет посвященная ему пьеса «Рев дикого оленя».

Вот так завершился мой первый полевой сезон в Сибири.

Владимир ЧАГИН

НИКОЛАЙ АУЭРБАХ: БЕГСТВО НА СЕВЕР

Север, воля, надежда...

«Север, воля, надежда, — страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья» — пел Владимир Высоцкий. И в начале 1970-х, когда была написана песня, и значительно раньше, в начале 1920-х, Север представлялся тем дальним благословенным краем, куда можно сбежать от навязчивого внимания властей, где можно скрыться в бескрайних заснеженных просторах от нависшего карающего меча соответствующих органов.

Когда у Николая Ауэрбаха родилась мысль уехать, хотя бы на время, из ставшего вдруг смертельно опасным города (недолгие поездки на заимку не в счет)? Вероятно, какие-то конкретные очертания эта мысль приобрела в апреле 1920-го.

Из письма Любе:

...В ожидании твоего письма дал принципиальное согласие на поездку к Ледовитому океану в направлении р. Пясиной. Экспедиция выезжает в конце мая. Возвратится в сентябре. (29.04.1920)

Экспедицию, отправлявшуюся на Крайний Север, на полуостров Таймыр, в которую намеревался попасть Николай Ауэрбах, возглавлял Николай Урванцев. Экспедиция должна была продолжить начатые в прошлом году работы по обследованию района норильских месторождений каменного угля, медной руды. Они были известны еще со второй половины XIX века благодаря предприимчивым таймырским купцам Сотниковым.

В воспоминаниях «Экспедиция на Север» Николай Урванцев пишет:

В 1920 году прибывший в Томск уполномоченный горного отдела ВСНХ СССР, рассмотрев материал, постановил работы в Норильске продолжить, чтобы выяснить его геологическое строение, мощности и размер имеющихся там угольных пластов, их качество, площадь распространения. Это была по тому времени довольно серьезная работа с разведкой и опробованием угольных пластов, составлением соответствующих топографических и геологических карт. Для этого нужны были рабочие, как горняки, так и топографы, всего человек 20, найти которых в то время было трудно. Я тогда, кроме работ в Геолкоме, заведовал горным отделением среднетехнического училища, где кроме

Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2019, № 9.

горного были еще отделения топографическое и строительное. Я и предложил студентам, кончающим горное отделение, для прохождения обязательной летней практики поехать со мною в Норильск.

Геолог Николай Урванцев был хорошо знаком с горным инженером Константином Ивановичем Ауэрбахом, возглавлявшим в Красноярске золотосплавочную лабораторию. Бывал он и в доме Ауэрбахов. Благодаря этому знакомству Николай Ауэрбах попал в число участников заполярной экспедиции. Впрочем, опыт работы в экспедициях, и не только археологических, у него уже был неплохой. В своем «Curriculum vitae» — кратком описании жизни и деятельности, написанном в мае 1926 года, Николай Ауэрбах сообщает, что летом 1913 года, будучи еще студентом московского Археологического института, он «работал в золоторазведочной экспедиции Горного департамента Министерства торговли и промышленности в районе реки Кантегира Минусинского уезда сперва в качестве десятника, а к концу лета начальника партии (во главе экспедиции был геолог — горный инженер Л. А. Ячевский)». Следующим летом с этой же экспедицией он отправляется на поиски золота на север Енисейского уезда — в район маленькой речки Сурнихи на правом берегу Енисея. Экспедиция проезжает Енисейск, село Назимово, деревню Никулино... Обе экспедиции закончились неутешительно, золото не было найдено...

Из писем Любе:

Только что вернулся из деревни, а через ½ часа снова уезжаю... Так будет продолжаться около недели, а что дальше? Не знаю... Экспедиция к Ледовитому океану находится под знаком вопроса... В связи с этим открываются новые перспективы — на все лето уехать на заготовку дров в тайгу... На этой неделе это должно выясниться — пока придется находиться в томительных раздумьях. (16.05.1920)

Рок, древняя Мойра, индусская Карма обрезают нити моих желаний. Хотел ехать на заготовку дров — теперь туда ехать опасно — убьют, говорят, в тайге скрываются массы белых. Не удалась экспедиция на Чулым и на Ангару, остается одна экспедиция к морю. С ней я и еду 28 мая.

Говорю «еду» и все не решаюсь... Страшно оставлять дом и чувствую, что надо его оставить ради наших пролетарских интересов. Борьба Коли как члена семьи и Коли как личности. Какой Коля победит? Ты пишешь — «думай больше о себе». Если б я знал, что стоит заботиться о себе ради тебя — тогда да. А если нет, какой смысл? Что впереди? (19.05.1920)

Дома — сбор; собирают меня. В кармане моего пиджака мирно покоятся бесчисленные удостоверения разных ревкомов, экспедиций и партий. Я — член экспедиции по обследованию Норильского каменноугольного месторождения. Пароход отходит завтра, но я не уверен, что с ним я уеду... Я ни в чем не уверен.

...Мое сознание занято уже другими мыслями... Через месяц я буду в курсе нового дела и буду не хуже других...

Из самого факта моего решения уехать в Туруханский край — ты можешь заключить очень многое. Жить мне надо...

...Вернусь я в начале сентября, может быть, в конце, если вообще вернусь. За лето буду иметь возможность трижды получить письма — поэтому ты не забывай меня и пиши. Пиши по старому адресу — из Красноярска всю корреспонденцию перешлют туда — в Туруханск. (27.05.1920)

На Север!

Экспедиция Николая Урванцева из Томска отправилась в Красноярск, а оттуда по Енисею на север. О том, как это было, коротко говорится в его воспоминаниях:

В Красноярск выехали в середине мая, а оттуда с первым караваном государственного пароходства вниз по Енисею. Караван должен был собрать по селам рыбаков со всем их снаряжением на рыболовецкие пески в Енисейском заливе, а осенью забрать обратно. Местом нашей высадки являлось селение Дудинское, откуда до Норильска было около 100 км пути по тундре.

Сохранилось одиннадцать писем Николая Ауэрбаха, относящихся к этому времени. Изначально их было больше, об этом можно судить хотя бы по пропускам в нумерации сохранившейся корреспонденции. Письма написаны карандашом и неплохо читаются — прежде всего, потому, что это оригиналы (в отличие от поистершихся копий под копирку писем Любе). Почти все они адресованы обитателям Белого дома, зачастую носят характер дневниковых записей.

Какие-то обстоятельства задержали выезд Николая Ауэрбаха из Красноярска, и он отправился в Енисейск на другом пароходе, планируя позже присоединиться к остальным участникам экспедиции.

Енисейск.

Мои дорогие. В ревком мне сказали, что «Орел» не идет на низ, а из Енисейска отправляется обратно в Красноярск. Первый же пароход, который может отвести партию, выходит из Красноярска 8-го, т. е. в Енисейске будет 10-го. Следовательно, передо мной открывается неприятная перспектива обретаться в голодном городе, где продовольственный кризис еще больше, чем в Красноярске. Но счастливая звезда (буду верить в нее) руководила мной — моя старая хозяйка поит и кормит меня... и это тогда, когда приехавшие со мной на пароходе неенисейцы прямо голодают. Я вынужден был вытащить из саквояжа мамин гарус, кусок дегтярного мыла, который я получил как свою долю за семена при мене в садоводстве... И сегодня на обед у меня была курица, и вместо 1/2 крынки молока придется выпить крынку... Из этого вы можете заключить, что здесь я не голодаю и только жалею, что взял мало с собой масла и крупы... Боюсь, что мне не хватит до 10-го. А без каши все-таки неважно...

Я получил все, что мог из инвентаря, за которым приезжал, снял сливки из архива местного монастыря и теперь, кажется, в Енисейске делать нечего. Попытки мои заказать вам меда и рыбы не удались. И мне очень грустно, что я не могу послать вам отсюда хотя бы баночку икры.

Обдумывая в тиши ночной продовольственное дело Красноярска, я пришел к выводу, что зимой будет настоящий голод. И потому я бы очень просил бы Белый дом немедленно озаботиться о муке, не дожидаясь нового урожая. Надо собрать то барахло из одежды, что есть (можно и мой старый френч, и старый летний пиджак, и папин старый сюртук, если он сохранился) и немедленно снарядить Васеньку в деревню за мной муки и крупы. На огороде придется закопать в землю эту муку в ящике, как неприкосновенный запас.

Я убедительно прошу это сделать немедленно, потому что, повторяю, надеяться на урожай нельзя. Также необходимо спрятать ту муку.

Крайне важно, чтобы папа получил разрешение на покос.

На масло я махнул рукой — по-видимому, достать его будет нельзя. И потому надо несколько фунтов оставить в качестве неприкосновенного запаса.

Теперь же надо купить — соли к осени для засолки капусты и огурцов. Пусть папа достанет соли — у него для этого есть связи. Если возможно — чтобы дома не оставалось бы с<оветских> денег. Кажется, их нет, и беспокоиться нечего, но если они появятся — пускать в оборот, елико возможно, и покупать все равно что, только бы покупать.

Меня очень беспокоит положение со столовой. Кого поместили туда? Каково отношение с новыми квартирантами? Что нового вообще в нашем доме? Как обстоит дело с варкой мыла? Тете Кате лучше мыла продать молока столько, чтобы уплатить <за> дом.

Крепко всех целую. Жду от вас писем. Прошу обо мне не беспокоиться, потому что я сумею всегда устроиться, а побольше думать о самих себе.

Относительно крупы и муки сделайте обязательно.

Ваш Коля.

Тютю Катю крепко целую — жаль, что не удалось с ней проститься.
(5.06.1920)

В отличие от предыдущих писем — писем Любе, корреспонденции «Коли», «вашего Коли» в Белый дом от начала экспедиции на Север разительно отличаются и по содержанию, и по самому их характеру. Вместо терзаний, сомнений, переживаний — четкие, конкретные распоряжения человека, взявшего на себя ответственность за благополучие жильцов Белого дома. Немедленно озаботиться, сделать обязательно, надо купить... Советские деньги не копить, появляться — пускать в оборот...

«Прошу обо мне не беспокоиться, потому что я сумею всегда устроиться...» — пишет Николай Ауэрбах. При внешности типичного интеллигента (даже пенсне остается при Николае Ауэрбахе при всех обстоятельствах и во все времена) ему было не занимать практической сметки, рассудительности, житейской расчетливости, в чем не раз можно будет убедиться в дальнейшем.

Енисейск.

Мои дорогие! Положение с продовольствием настолько осложнилось в Енисейске, а все мои припасы пришли к концу, что я вынужден был поехать на рыбалку. Два дня и две ночи мой новый товарищ — занимающий никому не нужный пост завед<ующего> сев<ерным> рыболовным районом р. Енисея Садовников, старик, брюзга, но сложный человек, <и я> мокли под дождем и основательно были обкусаны комарами.

...Рыба шла плохо, мы всего поймали карасей фунтов 10. Предполагали же пуда два. Устал я адски. Ныло все тело и от мозолей и от укусов. Возвращаюсь в Енисейск, и мне подают телеграмму о том, что Маруся заболела сыпным тифом.

В тайниках своей души я все же лелеял большую мечту, что гроза революции пройдет благополучно, не заденет нашей семьи. И потому это известие — внешне спокойное, но так много за собой скрывающее, было для меня ударом грома среди чистого неба Енисейского захолустья. Вначале я обалдел, как-то опустили руки, не хотелось ничего предпринимать... Так продолжалось часа два. А потом характер взял свое, и я бешено заработал.

Я успокоил и собрал воедино свои мысли. Какое удивительное сцепление обстоятельств, задерживавших меня в Красноярске и теперь задерживающих в Енисейске. Пароход должен был выехать с Почтеннейшим 2<-го>, потом 8<-го> — и меня бы уже здесь не было, а теперь пароход может быть выдет 15<-го>, а м. б. нет.

Меня звали в другую э<спедицию>. Я не решался до получения телеграммы. А когда ее получил, был настолько глуп, что об ней сказал. И мне ответили — у вас дома близкий человек при смерти, а вы хотите ехать с нами. Возвращайтесь... И я снова убедился в человеческой правде, в силе истинной духовности.

Потом я стал рисовать себе картину нашего дома, то волнение, которое все накапливают. Какой доктор приглашен? Нет ли опасности для папы? Как себя чувствует Маруся, спрашивает ли обо мне. Она, наверное, знает, что я в Енисейске. Почему мне ничего не написали с капитаном «Ангары», пришедшей сегодня. С этим пароходом приехали двое из гидро, привезли письмо Почтеннейшего, официальное. С этим же письмом можно было послать письмо и мне. Но, конечно, когда дома несчастье — всегда происходит понятная растерянность. А мне бы хотелось знать подробности болезни моей дорогой Маруси, и ес<ть> ли какая-нибудь надежда на благополучный исход.

Все-таки это худшее, что я ожидал. Я предполагал, что тифа не перенесет А. П., но что болезнь заберется в наш дом — это очень нехорошо.

Но будем бодры, будем надеяться, что все кончится благополучно. Ради Бога успокойтесь. Не думайте обо мне. Я устроюсь. Если заболею — меня привезут в Красноярск — об этом вам дадут знать. Но эпидемия здесь совсем стихла, и потому я думаю, что не заболею. Послезавтра я делаю попытку выехать на лодке в компании еще 3 человек в Ворогово. Там дождусь Почтеннейшего. И я сделаю все, чтобы уехать. Конечно, мне тяжело, что я не с вами... Я знаю, что лучше было бы быть с вами, но служба... Ехать надо. Если же что-нибудь случится — мимо Красноярска меня не провезут. Я посылаю вам, мои дорогие, мои любимые, — сильную мысль бодрости. Будьте спокойны. Ради Бога не теряйте присутствия духа. Но все же не забывайте всегда любящего вас вашего Колю. (12.06.1920)

Почтеннейший — это, вероятно, Николай Николаевич Урванцев.

Енисейск.

Мои дорогие. Тороплюсь написать вам — через 2 часа на лодке в компании с 2 гидрографами спускаюсь на низ прямо в Дудинское. Лодка большая. Продукты есть.

Обязательно дайте мне знать подробности в Дудинское. Пошлите документы (паспорт) подходящие.

Целую. Не забывайте.

Коля. (14.06.1920)

Д<еревня> Никулино.

Мои дорогие! Спешу написать вам под впечатлением встречи с экспедицией и получения известий из Красноярска. С приходом «Туруханца» ворвался в сознание целый поток старых переживаний, таких родных, таких близких!

Боже мой! Что происходило у вас за это время. С телеграммой, тетя Анна, немного поторопились, но это к лучшему.

Бесконечно жаль Лину. Воистину она несет тяжелую карму и, кажется, совершенно несправедливую. От меня передайте ей искреннее, не по словам только, а душевное соболезнование. И поблагодарите ее за все, что она сделала для меня.

Тороплюсь. Пароход скоро отходит.

Крепко всех целую. Очень рад за Сережу. Если приеду — в артели дело сразу приведу в порядок.

Обязательно постарайтесь послать мне мыла фунтов 15 и табаку, хотя бы с пуд, и вообще еще чего-нибудь, что можно достать в Красноярске. Крепко всех целую. Не забывайте. Люба пишет из Троицка хорошо. Коля. (22.06.1920)

Лихтер № 6 парохода «Туруханец».
 С<ело> Ворогово.

Духота. Я с рабочими экспедиции варюсь в собственном соку в набитом пассажирами трюме. Трюм трехэтажный, мы в верхнем этаже, но жара такова и воздух настолько сперт, что я должен через каждые 1/2 часа выходить на чистый воздух. После однообразной жизни в Никулиной, маленькой деревушке, куда я примчался, гонимый сурьями* города, и где мои интересы ограничивались едой и спаньем, наступила новая жизнь. Там, в деревне, я ходил из одного дома в другой, ел... Это была какая-то страсть к еде. Крестьянам я помогал, лечил их 6 лет тому назад, когда мы стояли в этой же деревушке, и теперь они наперебой угощали меня. Другие же приезжие ничего не могли купить и чуть ли не голодали.

Теперь другое. Большинство рабочих, изголодавшись, интеллигентно, усиленно промышляют съестного на каждой остановке. Цены здесь в сравнении с 1914 г. бешеные, но в сравнении с вашими очень дешевые: осетрина 13 руб. фунт, яйцо 100 <рублей> десяток. На деньги можно купить с большим трудом.

Добровольцев покупать припас много из наших молодцов, и я спокойно могу лежать на койке и переживать всю ту массу известий, которую привезли мне из Красноярска. И колоссальной важности политические новости (объявление войны Сов. России целым рядом государств) и опасности, которые создались для меня лично в Красноярске, и семейные дела Белого дома, и драма у Лины со смертью Алика. Все это отошло на задний план, ступевалось перед силой впечатления от твоих писем, первых писем из Троицка... (22.06.1920)

Письмо из Ворогово — копия под копирку, адресовано, судя по всему, Любе.

В небольшой деревушке Никулино на левом берегу Енисея Николай Ауэрбах, как следует из его писем, воссоединился с экспедицией и далее до самой Дудинки плыл с нею.

В Никулино Николай Ауэрбах уже бывал — шесть лет назад, летом 1914 года, когда участвовал в геологоразведочной экспедиции, работавшей у речки Сурнихи. В деревне ему пришлось провести тогда несколько дней, и у ее жителей он оставил о себе добрую память как хороший доктор. Ауэрбах назначал деревенским больным, обратившимся к нему, лечение, «глянув предварительно в свой лечебник». «К моему большому удивлению, — писал он, — большинство действительно поправляются, и это дает основание моим рабочим говорить, что наш Ник. Конст. куда больше знает ваших фельдшеров, которые действительно в медицине понимают не больше меня».

Оказалось, что помнили в Никулино Ауэрбаха и его лекарские способности и спустя шесть лет.

Подкаменная Тунгуска.

Спасибо, милый Сережа, за твое подробное письмо о делах артели. Я приблизительно так и думал, что настроение и характер работы изменится в артели с момента отъезда А. В. и меня.

* Сурья — в ведийской религии — божества, направляющие жизнь людей.

А. В. передавал мне, что в артели началась какая-то гонка за деньгами, а между тем бумажка ничего не стоит и получать их нет смысла. Выгоднее есть самим. Имей это в виду при ликвидации осеннего урожая. Постарайся, чтобы ничего не продавали — все бы пошло членам артели из овощей, конечно. Об этом же я писал Лине, думаю, что она согласится со мной. Глупо гнаться за бумажками. Каждый член артели всегда сумеет реализовать излишки овощей на что-нибудь другое.

Едва ли возможно будет продолжать садоводство... Если Лина будет энергична и проявит инициативу до моего приезда — тогда что-нибудь выйдет. М. б. успею раньше приехать, но это едва ли.

Осенью надо будет папе сходить к Вере Ник. Гадаловой и постараться участок оставить за нами. Гадаловой надо будет послать цветной капусты. Осенью надо унавозить участок и его перекопать. Позаботиться, чтобы не пропали труды.

Милый Сережа, не принимай близко к сердцу нелады в артели и продолжай работать так же, как и при мне. Главное — постарайся научиться побольше. В будущем году мы будем работать, наверное, самостоятельно.

Постарайся достать побольше лесного материала. Артель может купить, заказать ли, герметич<ные> крышки для печей теплицы?

Передай привет артельщикам. Не унывай. И жди меня. Целую.
 Коля. (23.06.1920)

Подкаменная Тунгуска.
 На лихтере № 5.

Компания наша симпатичная, милая тетя Анна, во всяком случае хорошей и жизнерадостной она мне показалась за день совместного житья в душном трюме лихтера № 5. Н. Н. встретил меня очень мило, радушно приняли и остальные члены экспедиции. С А. В. начались, конечно, продолжительные разговоры о Красноярске.

Столько неожиданностей привез мне «Туруханец». Он привез с собой и надежду в связи с отъездом Кипа, что мне можно будет осенью вернуться в Красноярск, а не оставаться здесь.

Думается мне, что условия работы и отношения ко мне будут хорошими, но... как волка ни корми, он все в лес глядит. Так и я. Меня неудержимо тянет в Красноярск. Но делать глупости я не могу. В Енисейске я не терял время, запасаю связями с кооперацией и, если нужно будет, смогу устроиться и на зиму. Впрочем, внутрен<нее> чувство, а оно мне не изменяло, говорит, что осенью я буду дома. Выбила меня из колеи утрата, понесенная Линой. Тяжело и обидно за нее. Она такая хорошая, что от души хочется как-либо помочь ей, утешить ее в горе.

Политические события были оглушительные, но им я как-то не верю. «Сильнее кошки зверя нет». Не верится и сладостно ждётся. Беспокоит меня продовольственный вопрос. Как будете вы зимой? Если бы я был дома — мог бы помочь. Ну а теперь моя помощь очень проблематична. Правда, я уже заказал в Никулино, где крестьяне мне благодарны и помнят мое докторство 6 лет тому назад, — пуд брусники и 20 фунтов орехов, но это пустяки. Постараюсь привезти рыбу, ее можно взять с собой всего 2 пуда, если условия не изменятся. Но не знаю, можно ли будет купить на деньги. Вот потому я и прошу вас прислать мне листового табаку. Здесь за старые штаны можно купить пуд осетра, но надо иметь что-нибудь из одежды. Нужда в одежде крестьян страшная, и за рубашки и т. д. они готовы отдать и масло и все...



Я постараюсь засушить ягоды, а вам бы посоветовал приняться за сбор грибов — обязательно.

Из письма папы я заключаю, что он по-старому находится вне времени и пространства. М. б. это и хорошо, но еще лучше было бы, если бы он направил свою энергию на добывание таких предметов, которые можно было променять в деревне: железо, гвозди, стекло и т. д.

Я постоянно думаю о вас и все строго в плане снабжения вас всем необходимым. Поцелуй крепко, крепко всех наших. Катеньке скажи, чтобы не волновалась — как-нибудь обойдется. Передай привет Боре С. и Шуре К. и всем добрым знакомым.

Из Любиных писем видно, что ты оказалась права. Теперь ее тянет в Красноярск. Уж решилась бы она поскорее. Милая тетя, не порывай с ней переписку.

Еще раз крепко, крепко тебя целую. Твой Коля. (23.06.1920)

Николай Ауэрбах в своем стиле продолжает давать советы членам артели Белого дома: урожай «выгоднее есть самим», чем продавать, обязательно заняться сбором грибов, а участок осенью следует унавозить...

В письмах упоминаются: А. В. — Андрей Васильевич Кудрявцев; Вера Николаевна Гадалова, вдова купца П. И. Гадалова, скончавшегося в мае 1918 года после тяжелой болезни. В 1920 году В. Н. Гадалова еще живет в своем доме (в 1913 г., кстати, в нем останавливался Ф. Нансен во время своего путешествия по Северному морскому пути и Сибири), за ней числятся земельные участки. Но вскоре дома, принадлежавшие семье Гадаловых, будут национализированы, а Вере Николаевне и ее близким придется испытать и аресты, и заключение в тюрьме, и ссылку; Борис С. — вероятно, Борис Смирнов, сын городского головы П. С. Смирнова, с которым Николай Ауэрбах учился в мужской гимназии.

25 июня 1920 г.

Село Верхне-Инбатское.

«Туруханец» тащит с собой 4 лихтера, останавливается чуть ли не каждые 20 верст, подбирая рыбаков, едущих на промысел, и потому подвигаемся вперед мы очень медленно. Енисей здесь уже грандиозный, величественный, холодный, но какой-то тоскливый. Я сижу большую часть времени в трюме и наблюдаю за своими товарищами. Это — молодежь, зеленая, безалаберная, из-за пустяков спорящая друг с другом, но как молодежь симпатичная, веселая.

День проходит таким образом: встаем в 1-2 <часа> дня по-новому, после чая с сухарями начинается ожидание обеда. На приготовление обеда командирится один из трюмных жителей экспедиции. Остальные сонно разговаривают. После обеда (обычно уха осетровая и каша) — спим часика 3. Потом опять чай, потом разговоры, игра в покер и ужин. Снова разговор до 4-х утра и сон.

Цены здесь божеские. Осетр и стерлядь — 10 р. фунт, белая рыба 5 р., осетр <овая> икра — 25 руб. Продают на деньги.

Вечером началось волнение на Енисее, и все наши лихтера закачались. Кое у кого открылась морская болезнь. Как-то нехорошо стало и мне. Залег спать и проспал всю качку.

Играли в преферанс в каюте Н. Н. Я обыграл всех.

26 июня. Сегодня я выпускаю в свет юмористический журнал экспедиции «Голубой чайник». Писали все члены экспедиции, но талантов сотрудников «Бумеранга» у них не оказалось. Журнал слабенький, жидковатый.

Телеграф действует только до Монастыря (очевидно, села Монастырско-го. — В. Ч.). Дальше он не работает. Примите это к сведению.



К вечеру началась маленькая буря на Енисее, лихтер качало отчаянно. Старожилы не вспомнят такой качки в этой местности. Унесло несколько бочек с палубы, оторвало от каравана баржу, несколько пассажиров заболели морской болезнью...

Обдумывая коммерческие планы. Из Дудинки я дам вам знать — нужно ли мне денег, чтобы купить мехов и рыбы. Если будут в наличии какие-нибудь деньги — переведите Ник. Ник. Но, во всяком случае, достаньте мне табак. Если я здесь останусь, а это вы будете знать сами, — пошлите мне белья и хотя бы немного мыла для стирки и бумаги для писания (она лежит у Вани в Лаборатории).

Монастырское. Гонял весь день по селу — разыскивал архив монастыря, который был конфискован ревкомом, а потом возвращен. То, что мне нужно было в делах, нашел.

В Монастырском была у меня радостная встреча с Вале́й. Обдумывали наше положение, строили планы о возможной совместной зимовке. Холод здесь собачий, ночи абсолютно светлые.

Енисей при впадении Тунгуски — великолепен.

Это письмо — как страница из дневника: запись от 25 июня, от 26-го... О том, что происходило во время остановки в Монастырском, есть более подробная запись в дневнике (хранится в архиве Института археологии и этнографии СО РАН) Н. А. Ауэрбаха, который он вел во время экспедиции. Вот фрагмент из этого дневника (приводится в сокращении по публикации в альманахе «Енисейская провинция», выпуск 2, Красноярск, 2006, с. 38—39):

27 июня. Подъезжаем к Монастырскому... Председатель Тонких принял меня любезно, но спросил, имею ли бумагу на право осмотра монастырских древностей. Отсутствие у меня удостоверения внушало ему некоторое опасение. Полюбопытствовал узнать мою фамилию. Оказался хорошо знавшим отца, «такого симпатичного, энергичного старика»... И в результате: если вам не дадут, — придите, вам напишу мандат.

По его указанию я направился к уполномоченному группы верующих, которому сдано, согласно декрету Совета Наркома, все церковное имущество.

Мосеинко, так фамилия уполномоченного, дома не было. Меня направили к батю, которого также дома не было — он служил в церкви. Опять побежал в церковь.

Она интересна по целому ряду икон весьма оригинальных... Хороши иконы в ризах Василия Мангазейского, стоящие на его гробнице. Все иконы этого святого надо бы срисовать, а происхождение икон возможно установить по архиву м<онастыр>я.

В маленькой комнате на полках стояли дела: начинались они с 1723 года. Найти нужные мне года 1827—28 не представляло особенного труда, и через 1/2 часа я уже сидел в домике старосты и бешено торопился с перепиской материалов о Бобрищеве-Пушкине, ценных сведений не было, новых подробностей выкопал порядочно...

28 июня. Встал ни свет ни заря, староста еще спал, когда я подошел к его дому. Ждал часа два. Промерз. В какой-нибудь час я закончил дело 1828 года и набросился, как волк, на 1727 год.

Чья-то заботливая рука внизу каждого указа написала его краткое содержание. Дела очень ценны — вся жизнь края открывается перед исследователем: указы центральной власти, сведения о местных происшествиях, статистические сведения о населении, населенных пунктах, числе рождений, браков... В м<онастыр>е я попытался найти опись архива — она должна

была быть, судя по этим заметкам на документах и № описи на папках, но описи я, к сожалению, не нашел. Быстро просмотрел библиотеку...

В одном из шкапов разыскал рукопись об основании м<онастыр>я с житием Василия М<ангазейского> — переписать ее было некогда.

Два дня беглого знакомства с архивом Туруханского монастыря дали возможность Николаю Ауэрбаху убедиться в том, что хранящиеся здесь документы, наиболее, вероятно, древние из тех, что сохранились на территории Енисейской губернии, требуют дальнейшего углубленного изучения. Темой енисейского Севера, его хозяйственного освоения, пребывания здесь в ссылке декабристов (в Туруханске, как известно, помимо Н. С. Бобрищева-Пушкина, на поселении жили И. Б. Аврамов, С. И. Кривцов, Н. Ф. Лисовский, Ф. П. Шаховской) Ауэрбах всерьез увлекся, и с осени, после возвращения из экспедиции Урванцева, он взялся за изучение привезенных материалов и всего, что можно было найти в Красноярске о Туруханском крае.

В 1921 году Николай Ауэрбах вновь отправляется в Туруханский край — уже как матрос Енисейского гидрографического отряда. При этом он запасается документами от краеведческого музея и губернского отдела народного образования, уполномочивших его производить осмотр архивов монастырей и церквей Енисейской губернии с возможностью их изъятия и передачи архиву Приенисейского края в Красноярске для последующего изучения. Таким образом, осенью 1921 года архив Туруханского Троицкого монастыря был вывезен в Красноярск. Ныне этот архив, включающий в себя документы 1716—1917 годов, хранится в Государственном архиве Красноярского края.

В своем письме Ауэрбах упоминает о «радостной встрече с Вале́й», но кто это — неизвестно.

В Норильской экспедиции

Спустя месяц и еще неделю экспедиция Урванцева прибыла в Дудинку. Одним из ее участников был Николай Александров, студент Томского политехнического училища. Спустя много лет Николай Николаевич Александров оставил воспоминания об этой экспедиции:

В конце апреля 1920 года мой однокашник Женья Орлов сообщил, что Николай Николаевич предлагает нас обоих включить в состав первой советской экспедиции в район Норильска, которая вернется в Томск в октябре...

Наша экспедиция состояла из четырнадцати человек, очень разных по возрасту и квалификации... Рабочим костяком служила «великолепная семерка» учеников политехников: Н. Александров, Е. Орлов, А. Назаров, М. Орлов, П. Кузнецов, К. Лукша, К. Лупиш. Во время горной практики на Анжеро-Судженских угольных копиях почти все работали каталями, погрузчиками, на креплении горных выработок, а на летней геодезической практике производили инструментальную топографическую съемку пригородов Томска... Если учесть молодость и неплохую физическую подготовку, то можно сказать, что Н. Н. знал, что делает, приглашая нас в экспедицию...

Были среди нас и два очень непохожих, но симпатичных всем красноярца. Н. К. Ауэрбах, лет 26, интеллигент «до мозга костей», притом чеховского облика, которого трудно было себе представить на шурфовочных работах. Однако никто не услышал от него жалоб, трудился он, как и все, с полной отдачей сил...

А. В. Кудрявцев, лет сорока. Практичный, цепкий, настойчивый, он держался стороной, молчаливо...

В Дудинке остановились в доме К. В. Пуссе, видимо, самого богатого из жителей села. Пятистенный дом, амбары, навес, баня были обнесены сплошным забором. Дудинка выглядела нежилой, тоскливой и скучной. Ни коров, ни домашней птицы. Несколько почерневших от времени домов да такого же вида постаревшая церковь, — вот и все село.

Ксенофонта Васильевича Пуссе Урванцев называл «хозяином норильской земли». Пуссе вел с местным населением обменную торговлю, добывал рыбу, охотился. В местности, где вели разведку первые норильские экспедиции, у Пуссе была база-фактория. Будучи знатоком Таймыра, он оказывал приезжим изыскателям необходимую «информационную поддержку» — помимо прочей, материальной: то лодкой поможет, то оленями, то жильем. Его дом в Дудинке, в котором остановилась экспедиция Урванцева, стоял на высоком берегу Енисея неподалеку от дома Никифора Бегичева, промысловика, первопроходца Севера.

...И все-таки даже далекий Север, увы, лишь в мечтах оставался страной надежд и воли. Уже в первом письме Николая Ауэрбаха из Дудинки, публикуемом ниже, он вскользь упоминает о «пьяных милиционерах», производивших обыск у хозяина домика, где члены экспедиции расположились после бани. Что уж говорить о недалеком будущем?

В 1927 году К. В. Пуссе, добросердечный помощник заезжих разведчиков недр таймырской земли, был арестован, обвинен в антисоветской агитации и пропаганде, осужден. В 1930-х годах по той же статье были осуждены и два его сына. Да и сам великий Урванцев не избежал подобной участи...

Дудинское.

Мои дорогие. Вчера мы, наконец, прибыли в Дудинское. Устал от томительного бездействия долгого пути и этих бесконечных дней, когда солнце не заходит, и не знаешь — день или ночь. Все перепуталось и нет определенного времени для сна и для бодрствования.

Нашу поездку скрашивал «Голубой чайник», журнал нижней палаты Н<орильской> экспедиции, редактором которого, конечно, был я. Журнал — был темой для разговоров всего лихтера, на котором мы плыли. Для нас — рабочих экспедиции — он был органом, кроме того, воздействия на администрацию.

Первый день жизни в Дудинском был тяжелым днем. Выгружен был весь груз из трюма, а весу в нем свыше 300 пудов. При легком волнении на здешнем 12-верстном Енисее грузиться с парохода на щитик-баркас не представляет особенной прелести. Но затем надо этот щитик тянуть на себе 5 верст против течения в Малую Дудинку, снова возвращаться на пароход и нагрузив еще раз щитик снова тянуть его 5 верст. Рабочий день был 16 часов... Едва ли я смогу передать картину того, как расписалась наша молодежь. И я был очень обрадован, что оказался самым выносливым из всех... и был жожаху*, когда все были уже не жожаху.

Потом была баня у Голых**, где мы расположились. Людей качало от слабости... А затем все легли спать вповалку на полу двух комнат его домика, а в это время пьяные милиционеры производили у хозяина обыск.

* Жожаху — устаревшая грамматическая форма, образованная от глагола «мочь».

** В Дудинке экспедиция останавливалась в разных домах — Пуссе, Голых, в здании школы.

Снег здесь все еще лежит по берегам, и холод такой, что я постоянно вспоминаю Катеньку, облакаясь в ее барнаулку.

Олени для экспедиции уже готовы и дня через четыре мы снимаемся. Пойдем прямо по тундре. Говорят, в пути будем дней 6. Это будет самое трудное.

Сообщений с нами не будет до 1 сентября, поэтому, если не представится случай, два месяца я не смогу послать вам весточку о своем существовании, но думаю, что за два месяца кто-нибудь да поедет из Норильска в Дудинское, и я смогу отправить вам телеграмму.

Относительно покупки мехов и теплой обуви здесь плохо — все реквизировано и едва ли я что-нибудь достану. Провезти на пароходе также нельзя, так как милиция все это безжалостно отбирает.

Это меня смущает и злит.

Что же касается моего настроения — то оно устойчиво-бодро. Здоровье в нормальном состоянии. С этой стороны все обстоит благополучно.

Беспокоит меня вопрос продовольствия в Красноярске. Не будете ли вы голодать этой зимой? И я злюсь, что судьба вырвала меня из круга семьи, а отсюда я еще не смогу переслать даже рыбы.

Письма от Дудинского до Красноярска идут приблизительно месяц, поэтому рекомендую сноситься телеграммами. Для меня важно знать к возвращению из тундры основное — есть ли смысл вернуться в Красноярск. Об этом вы постарайтесь дать мне знать обязательно. Что же касается того, что я еще просил в своих письмах, — то все это не столь важно. Если я не привезу то, что хотел привезти, — это не существенно.

Пишите мне подробно на Дудинку на имя Норильской экспедиции. Здесь все знают папу. И предревком в Туруханске, и большинство комиссаров, которые ехали с нашим пароходом. И все отзывались о нем с большим уважением. Председатель Дудинского ревкома — Коля Иванов, к нему у меня письмо от Лины. Но у него я еще не был.

Ник. Ник. говорил, что раз в месяц, иногда два, инородец будет ездить в Дудинку для связи, но нельзя сказать с уверенностью, что так действительно будет. Числа 16 июля мы будем на месте работ. Там, говорят, сухо, что для меня самое важное. Около 10 сентября по-новому выезжаем в Дудинку, где будем около 17-18-го.

Крепко всех целую. Коля. (4.07.1920)

Не оставляют Ауэрбаха мысли о том, как обстоят дела с продуктами у обитателей Белого дома. Но главные мысли — о том, что будет осенью после завершения экспедиции. Что может ожидать его в Красноярске, из которого он уехал — бежал, прямо говоря, от возможного преследования, ареста, страшного подвала Савельевского дома.

Дудинка.

Вместо того, чтобы выехать на оленях сегодня ночью, мы выезжаем или думаем выехать только завтра ночью. Так все уже готово. Осталась только погрузка на санки. Вещи повезут. Мы же пойдем пешком. Кажется, я свякся с экспедицией. В общем, надо признать, молодежь на редкость симпатичная, веселая, не унывающая. Кажется, и я подтянулся к ним.

По обыкновению меня восхищает Андрей Васильевич. Вот действительно — работник и премилейший человек. Он и кузнец, и плотник, и сапожник и всегда готов помочь. Мы с ним постоянно вместе и в Норильске тоже будем вместе. Мой дневник пухнет дорожными наблюдениями. Добыл кое-какие сведения из археологии и истории местн<ого> края. Будь я в ином положении, имей больше



свободного времени — собрал бы много ценного материала. Журнал, который начал издаваться еще на лихтере под названием «Голубой чайник», продолжает издаваться и здесь. Вышел уже № 5.

К работе привык. Мускулы окрепли. Думаю, что не «сдрейфлю»...

Ну, вот и все, что важно вам написать. Давать же описания природы и рисовать краткие картинки экспедиционной жизни не стоит. Да и нет на это времени. Так как писать приходится урывками, преимущественно утром. Я встаю первым и пока одеваются и моются остальные — успеваю написать в дневник и письмо к вам.

Основной темой наших разговоров является, конечно, больной вопрос, тот, который волновал нас и в Красноярске. Гадаем, мечтаем. Андрей Васильевич и я предполагаем остаться здесь, если это нужно. И ждем от вас известия телеграммой о том — ехать или нет. Сообщить телеграммой надо к 1 сентября — и сообщить просто.

Вечером, полураздевшись и растянувшись на оленьей шкуре, я всегда думаю о вас и строю продовольственные планы. Как и что сделать. Куда поехать. Что обменять. И гнетет, беспокоит меня мысль о том, что в Красноярске так голодно, а мне здесь и сытно и сносно живется: едим дичину, рыбу, имеем довольство хлеба.

Красноярск, Белый дом с его тысячами удобств так далеко. Теперь самому надо мыть посуду, стирать белье, штопать, чинить. Не надо только заботиться о еде... Но если бы то, что мы здесь едим, было бы в Красноярске...

Я хотя и написал и послал телеграмму вам о том, что в месяц будет одно известие, их м. б. и не будет. Потому не волнуйтесь. Вы сами будете знать, вернусь ли я или нет. И соответственно с этим пошлите мне. В конце концов, ничего особенного не надо — побольше только бумаги для письма.

Крепко всех целую: Катю, Васю, Марфу и Галю. Привет Викт. Сев. и Лине. Сережа пусть постарается Гадаловский участок оставить за нами и осенью перепахать его, предварительно унавозив.

Целую тебя, милая тетя Анна, дорогого папу. Здоровья вам и бодрости. Что Ваня? Его наверное нет в Красноярске. Коля. (9.07.1920)

Это очередное, последнее в июле, письмо было написано спустя несколько дней после начала работ экспедиции. И опять беспокойство о том, как обстоят дела с едой у обитателей Белого дома в Красноярске, советы, что нужно сделать... А еще — не оставляющая ни Ауэрбаха, ни Кудрявцева тревога.

Норильск.

Передать Анне Ивановне.

Дорогая тетя Анна! У меня столько впечатлений от поездки в Норильск — столько различных переживаний, что я не могу сразу в них разобраться и выбрать из них самое важное, характерное.

Но все-таки постараюсь вкратце, потому что времени нет описать вам нашу жизнь: после тяжелого ничегонеделания на лихтере, началась работа, и сразу тяжелая, мы грузили, носили на себе, гребли, возились по 17 часов в сутки, а потом пришлось пешком, ведя лошадь по воде, идти 120 верст по тундре, в мокроте, под укусами мошки и комара, то дикими изменениями температуры, когда ночью чуть ли не мороз, а днем, если нет дождя, жара. Мы вброд переходили речку за речкой, когда по колено, когда по пояс, блудили дня два зря, и через 10 дней прибыли на место. Живем в палатке, в 6 ч. утра встаем, сразу пьем чай и обедаем и в 7 уходим на работу. Так до 5 вечера, когда возвращаемся с работ, грязные, в угле, искусанные комарами. В 6 — ужин, суп из оленины (1 фунт на

чел. в день) и каша $\frac{1}{2}$ фунта на человека в день, сухари 1 фунт и 7 баранок. Потом чай, а потом сон.

Нечего и говорить, что мне тяжело. Не столько от работы, сколько от грязи и мокроты, да, пожалуй, и комаров... Питаемся, как будто здоровы, а все-таки есть постоянно хочется. Физически я здоров, бодр, настроение вполне удовлетворительное.

Ко мне со стороны «начальства» отношение хорошее. Не загоняют. Последнее время я был прикомандирован к начхозу (заведующему хозяйством), помнишь, тот человек, который был у нас вместе с Никол. Никол. Я 10 дней таскал воду из озера в чайники раз 15 в день, собирал, пилил дрова, разводил костер для того, чтобы готовить обед, поддерживать дымокур для лошадей, варил обед, мыл мясо и посуду, одним словом, был кухонным мужиком в обстановке заполярного круга, под дождем и гнусом. Вначале было тяжело, а потом привык, сошелся ближе с начхозом, начал все делать быстрее и обжился... Завтра, как будто, меня опять отправляют на разрез.

Весь день занят. Некогда подумать, написать... Да к вечеру так умотаешься, что и не до того. Интересы сузились — все сводится к сну, еде.

Вот и все. Не будь Андрея Васильевича было бы очень тяжело. С ним отводишь душу, поговоришь о том, о чем с другими говорить нельзя. Это удивительный человек.

Отсюда мы выезжаем 1—5 сентября. В Дудинке будем числа 10—15. Если от вас не будет ясных телеграмм, стоит ли возвращаться, — постараюсь остаться здесь. Предлагают мне и Андрею Васильевичу остаться на зиму. Буду работать по составлению исторического очерка Туруханского края в Монастырском по архиву монастыря. Полярный паек — $1\frac{1}{2}$ фунта муки, 5 фунтов сахару, достаточно масла и мяса, не говоря уже о рыбе. С внешней стороны будет хорошо, в смысле характера работы тоже. Тяжело одно — что не дома. Остаться здесь очень не хочется, но если надо, придется.



Члены Норильской экспедиции Урванцева в Дудинке. 1920 г.
В верхнем ряду крайний справа А. В. Кудрявцев, второй справа — Н. К. Ауэрбах.
(Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района)



Во всяком случае — устроиться здесь можно будет. Но как у вас, вы и пред- ставить не можете, как меня тянет домой! Теперь о вас.

Обычной темой моих дум, когда я у костра вечером, часов в 10, мою посуду, — это, конечно, Белый дом. Беспокоит меня продовольственный вопрос. Думаю, что в данный момент у вас дело обстоит очень плохо. Время для заготовки муки, если вы не запаслись сразу после того, как получили мое письмо из Енисейска, наверное, упущено. Следовательно, надо усилить картофельную норму и купить картофеля в 2 раза больше, чем обыкновенно. Едва ли будет и крупа. Я воздержался бы совершенно от продажи молока и превратил бы все молоко в масло. Как моя комбинация с поездкой Васеньки в деревню? Как с сеном, овсом и дровами. Боюсь, что мы без дров.

Теперь об артели. Во что бы то ни стало воздержаться от продажи всех продуктов и все продукты оставить — морковь, свеклу и томаты. Андрей Васильевич говорил, что поляки не хотят продолжать дело зимой. Постараться сохранить хотя бы розы и поддерживать хотя бы одну комнату в теплице. Ничего не продавайте из инвентаря, и цветов и семян. В случае ухода поляков — уплатить им из части инвентаря деньгами, считая инвентарь по сегодняшней стоимости. Наверное, дров заготовить немислимо, но более можно достать угля. Если колосники и дверцы готовы — м. б. можно и сохранить всю теплицу. Во что бы то ни стало закрепить за нами Гадаловский участок, унавозить его и вспахать.

Конечно, когда мы приедем, если мы приедем, сделаем сами все, что нужно. Но если не приедем — тогда Сереже и Боре надо постараться выполнить то, что я пишу. Это не только мои пожелания, но и Андрея Васильевича. Кстати о нем. Он столько делает здесь для меня, так я ему обязан, что больше быть обязанным нельзя. И, если возможно, помогите Евг. Алек. в продовольственном отношении. Если нужно послать — посылайте и Бору, но помогите.

Это письмо ты читай сама вслух, а так никому не давай. Если я останусь — то говорите, что с экспедицией уехал в Томск...

Крепко всех вас целую. Обо мне не беспокойтесь — я здоров, слава Богу, и духом не падаю...

Но не забывайте. Любящий тебя и всех вас
Коля. (10.08.1920)

Это письмо от 10 августа 1920 года — последнее из северных писем Ауэрбаха, с которыми удалось познакомиться. Наверняка могли быть и еще письма, принимая во внимание склонность их автора к эпистолярному жанру. Но в нашем распоряжении их нет. Комментарием же к последнему письму Ауэрбаха может стать фрагмент из очерка Н. Н. Урванцева «Экспедиция на Север»:

...Местность, где нам предстояло работать, представляла предгорную всхолмленную равнину, куда уступом обрывается изрезанное ущельями плоскогорье с относительными высотами до 500 м. Для работ, особенно топографической съемки, участок трудный.

...Чтобы сберечь силы и обувь — 10 пар сапог, полученных на всю экспедицию, при ходьбе по крутым щебенистым, каменистым склонам топографы с рейками будут двигаться по горизонталям: один выше съемщика с мензулой у планшета, другой на уровне, и третий ниже. Это сэкономит силы и ускорит работу: пока один речник стоит на точке, другой переходит на новое место, так что съемщику надо только успевать брать отсчеты по дальномеру, ставить точки и проводить горизонталы. Только при таком методе работы нам удалось за два месяца короткого полярного лета заснять и составить подробную инстру-



ментальную карту Норильска с горами Шмидта, Рудной, Барьерной, Гудчихи и др. общей площадью свыше 25 кв. км.

Разрезами и шурфами были вскрыты и опробованы угольные пласты на всей площади горы Шмидта и частью Надежды площадью 4-х кв. км, выяснены мощности пластов и взяты пробы на химический анализ и технические испытания.

Стоит добавить, что после возвращения из экспедиции в Томск Н. Н. Урванцев приступил к обработке собранных материалов, и химические анализы образцов с горы Шмидта показали, что уголь отличается высокой теплотворностью, а некоторые образцы способны давать кокс.

Итак, экспедиция завершила свою работу на местности, вернулась в Дудинку. В ожидании парохода, на котором предстояло отбыть в Красноярск, членам экспедиции пришла в голову неожиданная идея устроить встречу с легендарным Бегичевым.

Никифор Алексеевич Бегичев — уроженец Архангельской губернии. На флоте служил моряком, участвовал в экспедиции Эдуарда Толля (ее участником был и Александр Колчак). А в 1920-е годы он занимался на Таймыре промыслом. Еще при жизни Бегичева (1874—1927) его именем были названы два острова в море Лаптевых, после смерти — островок в дельте реки Пясины и озеро на Таймыре.

Решение (пригласить Бегичева. — В. Ч.) было единогласное, — пишет Ауэрбах, — но встало одно небольшое затруднение. Бегичеву надо много водки, а во всей экспедиции было всего две бутылки. Дня два бегали по Дудинке, добыли, что могли (время тогда было насчет выпивки тяжелое), и денатурату, и моторной смеси. Избрали комиссию по приему Бегичева. Из убитого при возвращении в Дудинку медведя наделали много сотен пельменей, и вечером 21 сентября 1920 года пригласили Бегичева в здание школы, где временно помещалась экспедиция.

К нам пришел типичный промышленник севера. Обветренное, малоинтеллигентное лицо. Мощная фигура и руки... не руки, а настоящие лапищи.

Гостя сразу усадили за стол, налили в чайный стакан с ног сшибающей смеси, и он начал рассказывать.

Я пристроился в уголке, вынул записную книжку и стал записывать. Было видно, что Бегичев не в первый раз рассказывает про свои приключения. Он говорил медленно, пересыпая рассказ морскими терминами, географическими названиями и датами событий...

Сделанные Ауэрбахом записи легли в основу очерка «Моя встреча с Бегичевым», написанного уже после отъезда из Дудинки и весьма ярко живописующего своеобразного исследователя Севера*.

После возвращения

Еще до завершения экспедиции Ауэрбаху не давал покоя вопрос: что ждет его в Красноярске после возвращения? На эту тему он не раз вел разговоры с Кудрявцевым, единственным человеком в экспедиции, с которым мог делиться самыми сокровенными мыслями.

Кудрявцев, о котором Ауэрбах не раз упоминает в своих письмах, заслуживает отдельного, хотя бы короткого рассказа.

* Полностью очерк опубликован в четвертом выпуске сборника «Полярные горизонты» (Красноярск, 2000).

Андрей Васильевич Кудрявцев (1876—?), сын псаломщика, как указано в его биографических данных, сохранившихся в архиве Красноярского краеведческого музея, приехал в Красноярск из Петербурга в 1916 году. Было ему в то время уже сорок лет, и причина его переезда с берегов Невы на берега Енисея неизвестна. Десять лет, начиная с 1920 года, он состоял в штате музея на должности научного работника. В обязанности же его входило выполнение различных технических работ, благо, как известно из писем Ауэрбаха, был он на все руки мастером — «он и кузнец, и плотник, и сапожник». В музее Кудрявцев заведовал также фотоотделом.

Вероятно, где-то в самом начале 1930-х он женился на сотруднице музея Елене Леонидовне Юдиной, внучке известного красноярского купца-библиофила Г. В. Юдина. Считается, что во многом благодаря именно ей сохранилось около десяти тысяч книг из второй библиотеки Г. В. Юдина, которые попали в конце концов в собрания музея и краевого архива.

В 1932 году у Кудрявцевых родился сын Андрей — в будущем известный в Красноярском крае геолог. А в 1934 году в их семье происходит крутой — в прямом смысле слова — поворот: они уезжают жить и работать на метеостанцию с названием Крутой Поворот! Что сподвигло их на такое решение? Известно, что в 1934 году от паралича сердца умер отец Елены Леонид Геннадьевич Юдин, сын Г. В. Юдина, геолог, лишь год назад освобожденный из заключения по причине несостоятельности обвинения. ОГПУ преследовало и других потомков Г. В. Юдина, якобы укрывавших золото во время кампании по изъятию у граждан валюты и ценностей. Может быть, со всем этим и был связан отъезд Кудрявцевых на далекую метеостанцию, располагавшуюся на Енисее в 150 км от Минусинска? К слову, в этой местности спустя годы будет сооружена крупнейшая в стране Саяно-Шушенская ГЭС.

В обстоятельной книге «Геннадий Васильевич Юдин. Жизнь. Библиотека» ее автор И. А. Половникова упоминает о том, что в конце 1940-х — начале 1950-х Андрей Васильевич Кудрявцев подвергнулся аресту. При этом были изъяты сохранявшиеся Еленой Леонидовной как память некоторые книги из огромного собрания ее деда. К сожалению, о причине ареста А. В. Кудрявцева, как и о том, чем закончился этот арест, ничего не известно...

Несмотря на терзавшие Ауэрбаха с Кудрявцевым сомнения — что ждет их дома? не стоит ли остаться на Севере еще на какое-то время, переждать возможные репрессии? — осенью 1920 года они вернулись в Красноярск.

Со времени их отъезда на Север прошло почти четыре месяца, не так уж и мало.

Главная газета города и губернии «Красноярский рабочий» возвращала их в повседневную жизнь Красноярска второй половины 1920-го года.

Губернский Ревтрибунал назначил к слушанию дела: 1) по обвинению Василия Петровича Путимцева в активном участии в контрреволюционном перевороте, 2) Леонида Моисеевича Хаймовича по обвинению в преступной небрежности по службе, в результате чего произошел пожар в городском музее.

Председатель Губревкома тов. А. Спунде подписал приказ о том, что все проживающие в гор. Красноярске ассенизаторы обязываются в трехдневный срок зарегистрироваться в отделе коммунального хозяйства. Неявившиеся на регистрацию будут рассматриваться как уклоняющиеся и предаваться суду Ревтрибунала.

Комендант города Красноярска обязывал: «В видах сохранения конского состава, поддержания порядка и безопасности воспрещаю конным посыльным и ординарцам скачку галопом по мостовой».

Комячейка профсоюза Швейной промышленности докладывала: «В четырех мастерских подотдела Швейпрома в течение недели проводились сверхурочные работы по пошивке белья и обмундирования по два часа ежедневно, под флагом помощи западному фронту».

Состоялись проводы на фронт добровольческого отряда конницы имени т. Кравченко. Добровольцы, в большинстве, бывшие партизаны Енисейской губернии.

На дровяной площади у р. Енисей заканчивается постройка памятника «Всеобуча». Памятник привлекает общее внимание своей грандиозностью и глубиной замысла. Особым вниманием пользуется памятник у красноярцев старожилов, которые — увь, никогда не видели памятников.

Редакция «Красраба» взялась печатать страничку, «посвященную молодому творчеству», прежде всего поэзии, ибо «в массе присылаемых на имя редакции стихотворений сплошь и рядом сверкают истинные образцы поэзии». Первую такую страничку открывает стихотворение Вивиана Итина «Добровольцы». Стихотворение начинается строками:

*Кто смерть видал — умеет жить,
 Кто жить умел — не трусит смерти.
 Как бурь всемирных не любить!..*

Итину вторит некто Н. Салмина:

*Дула винтовок сверкают... Отважная
 Песня призывно и грозно звучит:
 «Прочь!.. Уходите подонки ничтожные.
 Вас все равно эта рать победит!»*

Надо ли говорить, что Николаю Ауэрбаху весь этот революционный пафос был совсем не близок. Слава богу, что не сосредоточилось на его персоне, сузившись до револьверного дула, бдительное око карающих органов.

С конца 1920-го до мая 1921 года Ауэрбах в Иркутске (возможно, это была поездка-командировка от музея Приенисейского края). Сотрудничает с иркутскими учеными, археологами и этнографами в краеведческом музее, Географическом обществе, университете. Читает, изучает архивные материалы, литературу по истории Туруханского края.

В июне 1921 года он «в связи с тяжелым материальным положением поступил матросом в Обь-Енисейский гидрографический отряд и совершил плавание в устье Енисей». Состояла эта небольшая экспедиция всего из трех человек: Ауэрбаха, В. И. Громова, в обязанности которого входили геологические, палеонтологические и другие сборы, и уже известного нам А. В. Кудрявцева, ответственного за фотосъемку. По не зависящим от нее причинам экспедиция не смогла попасть на реку Пясину, где намечалось провести исследования. Но в целом Ауэрбаху удалось многое: провести археологические раскопки на речке Промысловой в Енисейской губе, а также вывезти в Красноярск старинный архив Троицкого Туруханского монастыря.

А что Люба? Роман с ней, вероятно, угас, сошел на нет, как это иной раз случается, когда людей надолго разделяют большие расстояния...

В 1925 году Николай Ауэрбах женился на Зое Резановой, уроженке Енисейской губернии, окончившей в Красноярске гимназию и политехникум, в котором он некоторое время преподавал и где, наверное, и произошло их знакомство.

Известный археолог В. А. Городцов, бывавший в Красноярске в 1920-е годы, знакомившийся с работами, коллекциями, собранными местными археологами, писал Ауэрбаху: «За границей такие специалисты, как вы и Громов, были бы гордостью среди своих горожан. Но Красноярск, очевидно, не заграда, и для него наука и ученые люди дешевле ячменного зерна».

На восток от Красноярска — Иркутск. Тоже не заграда, но — университетский город с давними культурными традициями. На северо-запад от Красноярска — Томск, в котором открыт первый в Сибири университет, город с широкой прослойкой интеллигенции, вузовских преподавателей, ученых. Красноярск же на сибирских пространствах отвоевал себе место пролетарского, революционного центра. Из культурно-образовательных учреждений в нем — две гимназии и музей...

В конце 1921 года Ауэрбах попадает под сокращение в Музее Приенисейского края. Перебивается на случайных, низкооплачиваемых работах. И все-таки продолжает заниматься Севером — продолжает обработку архива Туруханского монастыря, пишет статьи, многие из которых не опубликованы и донине. В 1926 году, будучи в очень тяжелом материальном положении, при том что у него уже есть семья, Ауэрбах принимает решение переехать в Новосибирск, стремительно растущий город, столицу Сибири.

Здесь он становится ученым секретарем научно-исследовательского бюро при Сибкрайплане, заведует Сибирской книжной палатой, возглавляет научную библиотеку Общества изучения Сибири и ее производительных сил, редактирует один из разделов Сибирской советской энциклопедии, издающейся в Новосибирске, и т. п.

Казалось бы, жизнь налаживается. Но в декабре 1930 года в очередной поездке, в вагоне поезда у станции Тайга Ауэрбах внезапно умирает: потянулся за чемоданом на верхней полке и упал... Причина — остановилось сердце.

«Ангел смерти пролетел мимо» Николая Ауэрбаха в 1920-м. Но настиг спустя десять лет, в самом начале тридцатых, освободив от участи оказаться в числе тех его друзей-соратников — ученых, археологов и краеведов, что будут внесены впоследствии в скорбные списки «Мемориала».



**Станислав ЕРМОЛЕНКО, Анастасия СТАРЫШКИНА,
Ксения ШЕЛЕСТЮК, Наталия ЯКУПОВА**

ПЕРВАЯ В СИБИРИ

*О научно-технической библиотеке
Колывано-Воскресенских заводов*

Первая в Сибири научно-техническая библиотека начала формироваться в середине XVIII века в Колывано-Воскресенском горном округе, который располагался на территории современных Алтайского края, республик Алтай и Хакасия, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Восточно-Казахстанской области Казахстана.

В 1724—1725 годах «рудознатцы», служившие знаменитому горнозаводчику Акинфию Никитичу Демидову, обнаружили здесь богатейшие месторождения меди, а позже и серебряные руды.

Императрица Елизавета Петровна быстро поняла, сколь велико стратегическое значение этих территорий для развития металлургической промышленности в России и отечественной экономики в целом. После смерти А. Н. Демидова заводы, статус которых и ранее был весьма спорным, окончательно были переданы в управление «Кабинета Ея Императорского Величества».

С этих пор при заводских канцеляриях стали формироваться небольшие книжные собрания, объединенные в XIX веке в единую Барнаульскую казенную библиотеку. Эти собрания книг и периодических изданий по металлургии и пробирному делу, химии, физике, лесному хозяйству имели не меньшее значение, чем горные заводы. Благодаря самым современным на тот момент учебным и научным изданиям на русском, немецком, французском, латинском языках было возможно обучение высококвалифицированных кадров.

Начало этого процесса было положено Василием Никитичем Татищевым, устраивавшим библиотеки на других горных заводах — екатеринбургских. Этот государственный деятель и историк стремился создать сеть «разноступенчатых» школ для разных сословий, а школа невозможна без библиотеки. По большей части эта работа была личной инициативой В. Н. Татищева, а не целенаправленной политикой государства.

Свою просветительскую миссию библиотеки, созданные Татищевым, выполняли: они помогли подготовить кадры не только для уральских, но и для алтайских горных заводов. Среди выдающихся выпускников Екатеринбургской горной школы можно назвать Ивана Ивановича Ползунова и его ученика И. И. Черницына — сына мастерового, ставшего управляющим Барнаульским заводом. Из этой же школы вышел и замечательный конструктор гидросиловых



двигателей Козьма Дмитриевич Фролов, впоследствии начальник Змеиногорского рудника. В первую очередь именно «из выпускников Екатеринбургской горной школы сформировались кадры сибирской технической интеллигенции с новыми для русских людей того времени представлениями о роли книги, чтении как занятию не только душеспасительном, но и нужном “к приобретению великой государственной пользы”»¹.

* * *

В 1764 году из собрания Екатеринбургской библиотеки по инициативе Андрея Ивановича Порошина, начальника Кольвано-Воскресенских заводов, ранее работавшего на Урале, алтайским заводам было передано 87 экземпляров «дубликатов книг математических и прочих, следующих до горного искусства, как на русском, так и иностранных языках»². Именно 1764 год считается годом основания Барнаульской казенной библиотеки. Позже, в 1770-е годы, были открыты библиотеки при рудничной конторе Змеиногорского рудника и при Локтевском сереброплавильном заводе.

Обязательными для распространения считались книги М. В. Ломоносова, И. Шлаттера, М. Ренованца. На Алтай выслались не только печатные издания, но и рукописные копии с еще не изданных книг. Примером может служить экземпляр «Арифметики» М. Л. Магницкого, хранящийся в фондах НГОНБ, с подписью: «Для непотеряния времени в науках для находящихся на Кольванских заводах молодых людей».

Известно, что уже в первые годы своего существования, еще при жизни И. И. Ползунова (умер в 1766 году), библиотека располагала двумя многотомными изданиями об устройстве «огнедействующих» машин, вышедшими в Лейпциге и Париже в 1724—1739 годах (сочинения Лейпольда и Белидора), которые В. В. Данилевский характеризует как «обширнейшую техническую энциклопедию XVIII века»³.

В 1770—1780-е годы фонды казенных библиотек активно пополнялись современными изданиями по горнозаводскому производству, художественной литературой, книгами по истории и географии, что отражало видение государством основ общеобразовательной системы.

В собрании Кольвано-Воскресенских горных заводов «среди изданий исторической тематики можно выделить труды по истории Сибири И. Э. Фишера и Г. Ф. Миллера; для школьного книжного собрания приобретаются “История Российская” М. М. Щербатова, В. Н. Татищева, Ф. А. Эмина; приобретаются издания Н. И. Новикова: первое в России собрание литературных, исторических и документальных памятников “Древняя Российская Вивлиофика” и “Новое расположение истории человеческого разума” Вольтера, напечатанное в 1775 году; значительно расширяется в этот период круг географической литературы, особенно широко представленной жанром научных путешествий: “Путешествие по разным провинциям Российской империи” П. С. Палласа; “Дневник, записки, путешествия академика Лепехина по разным провинциям

¹ Гузнер И. А. «Просветительная миссия» горнозаводских библиотек Сибири в XVIII — начале XIX в. // Библиосфера, 2005, № 2. С. 8.

² Федоров В. Г. К истории Екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева // Материалы к биографии Татищева. Свердловск, 1964. С. 88.

³ Данилевский В. В. И. И. Ползунов: Труды и жизнь первого русского теплотехника. М.—Л., 1940. С. 165.

Российского государства»; «Дневные записки капитана Рычкова»; «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова»⁴.

К. Д. Фролов во время служебной командировки в Петербург (1784 г.) приобрел 530 книг (73 наименования) и передал их в библиотеки при алтайских горных заводах, тем самым продолжив дело, начатое А. И. Порошиным.

Он же добился специального распоряжения Кольвано-Воскресенского горного начальства, согласно которому горным офицерам вменялось в обязанность систематическое изучение и просмотр новой литературы.

Через сие подтверждается, чтоб обретающиеся на заводе офицеры не только сами оные о металлургии и минералогии книги и вложенные в них рисунки читали, практиковались, в память затвердили, но мастерам, подмастерьям и определенным ученикам по часу читали и прилежанием показывали и руководствовали⁵.

Кроме того, они должны были составлять специальные отчеты о том, как книга была использована. В. В. Данилевский приводит отрывок из подобного отчета:

Шихтмейстер Иван Ползунов малое время, и то как свободно ему от порученного дела бывало, у меня, а более в доме своем книгу о рудокопном деле читал. И прочел до половины; и рассуждал, и к тому понятен. А из другой книги о минералогии выписал экстракт, а что из оного вытвердил, мне не известно. Однако, видно, что он к тому прилежность и охоту имеет⁶.

К началу XIX века библиотека существенно разрослась. Первая систематизация, инвентаризация и разработка правил пользования были осуществлены инженером Петром Козьмичом Фроловым (1775—1839), сыном К. Д. Фролова.

Полученное в Горном училище Петербурга образование во многом определило широкий спектр деятельности П. К. Фролова. Помимо точных наук и технических дисциплин там преподавались немецкий и французский языки, латынь, логика, история, география, архитектура.

Послужной список Петра Козьмича впечатляет: шихтмейстер (низший чин горной табели о рангах) на Змеиногорском руднике, инженер Сузунского завода, чертежник и библиотекарь Барнаульского завода, инспектор в заводских училищах, главный чертежник Экспедиции горных и соляных дел в Петербурге, организатор производства на соляных промыслах на озере Эльтон, ревизор уральских горных заводов, начальник Кольвано-Воскресенских горных заводов, томский гражданский губернатор, тайный советник, сенатор в Петербурге⁷.

За 38 лет службы П. К. Фролов разработал немало проектов, как воплощенных в жизнь, так и оставшихся на бумаге; среди них: проект судов для сплава руды, открытие судоходства по рекам Иртыш и Алей; строительство первой в России железной дороги для перевозки руды, а также механизация ее погрузки

⁴ Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 2000. С. 47.

⁵ Гузнер И. А., Ситников Л. А. Библиотеки Кольвано-Воскресенских горных заводов в XVIII веке // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. С. 19—21.

⁶ Данилевский В. В. И. И. Ползунов: Труды и жизнь первого русского теплотехника. М.—Л., 1940. С. 163.

⁷ Савельев Н. Я. Петр Козьмич Фролов: жизнь и деятельность новатора русской техники XIX в. Новосибирск, 1951. С. 139—141.



и разгрузки; внедрение новых технологий обогащения и выплавки руды; устройство типографии и бумагоделательной фабрики в Барнауле; организация первого в Сибири музея.

На посту начальника Колывано-Воскресенских горных заводов П. К. Фролов принял решение начать современную каменную застройку Барнаула. Для этого из Нерчинска были приглашены архитекторы Молчанов и Иванов, составившие генплан, а в Петербург для обучения у Карла Росси был отправлен Я. Н. Попов, который вернулся опытным зодчим, принимавшим участие в застройке столицы. П. К. Фролов лично участвовал в проектировании памятника к столетию Колывано-Воскресенских заводов и дома начальника горного правления. План застройки предполагал также благоустройство города, рекреационные зоны, сады, аллеи, бульвары.

Свою библиотеку он начал собирать во время первого периода работы на Колывано-Воскресенских заводах. Эклибрис Фролова — вензель с инициалами «РКФ» — есть в книгах отдела ценных и редких книг ИГОНБ. Известно, что, переезжая в 1810 году в Петербург, Петр Козьмич продал Барнаульской казенной библиотеке 47 изданий («Каталог собственным Фролова книгам на французском и российском диалектах»)⁸. Из поездок по стране П. К. Фролов привозил археологические находки, позже объединил их в тематические коллекции, которые в 1827 году легли в основу музея. Кроме археологических и этнографических экспонатов тут были образцы полезных ископаемых, флоры и фауны региона, собрание «куриозных вещей», а также макеты горнозаводских машин и предприятий.

В 1817 году, перед возвращением П. К. Фролова из Петербурга на Алтай, правительство приобрело у него крупное собрание древностей для Императорской публичной библиотеки. В него входили 208 старинных рукописных книг, свитков, в том числе XI века, 214 печатных изданий на русском и иностранных языках, карты, планы, а также экземпляры из этнографической коллекции (по отчету Императорской публичной библиотеки за 1816 г.)

Свой вклад в становление библиотеки Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролов внес, выполняя обязанности библиотекаря в 1801-м, а затем в 1808—1809 годах. Известно, что на тот момент горнозаводская библиотека не имела каталога, книги фиксировались в журнале в порядке поступления, что осложняло их поиск, выдавались без записи и расписок, в том числе приезжим. Покидая Барнаул, последние не всегда возвращали библиотечные экземпляры. Зачастую многотомники лишались отдельных томов, а книжные блоки — страниц, в том числе с иллюстрациями и схемами.

12 февраля 1808 года П. К. Фролов подал канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, в ведении которого находилась библиотека, рапорт «Об упорядочении Барнаульской казенной библиотеки». Вот основные положения этого документа:

1. Дать распоряжение о приведении под рядовой номер всех книг на каждом языке с расположением по алфавиту. Иностранные описывать на том языке, на котором они изданы, и на русском.
2. За взятые из библиотеки и потерянные книги положить взыскивать большую цену против той, за которую они в казну были куплены.

⁸ Гузнер И. А. «Просветительная миссия» горнозаводских библиотек Сибири в XVIII — начале XIX в. // Библиосфера, 2005, № 2. С. 11.



3. В случае потери одного тома из целого сочинения, состоящего в нескольких томах, положить взysкивать не за одну книгу, а за весь увраж (за все тома сочинения. — *Прим. ред.*), как в предыдущем пункте.

<...>

6. В тех книгах, которые содержат чертежи, рисунки, карты и таблицы, на конце каждой сколько какого рода сих листов отметить и внести в опись. Получающий из библиотеки под расписку книгу, должен пометить в ней и о числе сих листов. При приеме обратно в библиотеку наблюдать библиотекарю счет и сохранность оных.

7. Выдача книг для чтения должна иметь определенное число и время.

8. При отдаче книг обратно в библиотеку, отдающий должен получить свою расписку или рукою своею на ней отметить время отдачи⁹.

Через 10 дней проект реорганизации горнозаводской библиотеки был утвержден канцелярией. Была приостановлена выдача книг и началась инвентаризация. На протяжении 1808 года Фролов принимает участие в учете книг, вносит дополнительные усовершенствования в выработанные ранее правила. Параллельно он активно занимается строительством железной дороги (движение по ней открыто 24 августа 1809 года).

На осуществление систематизации библиотеки ушло больше года. 21 мая 1809 года Фролов подает рапорт об окончании инвентаризации.

К рапорту были приложены следующие правила пользования библиотекой:

1. Всякому желающему пользоваться книгами, выдавать их не более двух, хотя бы то сочинение, которое ему нужно будет, состояло из многих томов.

2. Время удержания книг довольно будет положить на треть года...

3. Люди, не принадлежащие к штату Колывано-Воскресенских заводов, не имеют права пользоваться книгами здешней библиотеки, поелику она собрана и содержится единственно на заводском иждивении...

<...>

6. Поелику библиотека составляет нарочитой капитал, то неужгодно ли будет положить ее свидетельствовать через каждые полгода или год.

7. Библиотекаря снабдить наставлением¹⁰.

Помимо рубрикации и инвентарных номеров в книгах появляются штампы. Один из них — вензель «КВЗ» (аббревиатура Колывано-Воскресенских заводов). Второй штамп — государственный герб в виде двуглавого орла под короной и надпись под ним: «Барнаульской казенной библиот.».

В первой половине XIX века система учета книг, предложенная П. К. Фроловым, распространилась на все библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов. В Барнаульской казенной библиотеке она применялась без изменений до 1830 года, пока Петр Козьмич не переехал в Петербург уже в качестве сенатора. По образцу, установленному П. К. Фроловым, велись также и журналы с расписками читателей (сохранились экземпляры, относящиеся к концу XIX века).

⁹ Цит. по: Савельев Н. Я. Петр Козьмич Фролов: жизнь и деятельность новатора русской техники XIX в. Новосибирск, 1951. С. 41—42.

¹⁰ Цит. по: Савельев Н. Я. Указ. соч. С. 44.



* * *

В течение XIX столетия Барнаульская казенная библиотека пополнялась актуальными изданиями, а также литературой из частных книжных собраний. Но к концу века выработка горных заводов существенно уменьшилась и горная промышленность на Алтае стала приходить в упадок. Сказалось это и на состоянии библиотечного фонда.

Однако мнение о том, что фонд Барнаульской казенной библиотеки к началу XX века был совершенно невостребованным и даже некоторое время находился в замороженном состоянии, не в полной мере соответствует действительности. Фонд продолжал пополняться, но его комплектование осуществлялось особым способом. Выбор изданий определяли не библиотекари, а чиновники из управления округа. Они же отвечали за доставку книг в библиотеку. При этом сметы на содержание штата библиотеки неуклонно сокращались, и в 1901 году в библиотеке числились всего две штатные единицы: заведующий библиотекой и сторож.

С конца XIX столетия шло перераспределение фондов библиотеки. С декабря 1901 года по ноябрь 1902 года в библиотеку незадолго до этого открывшегося Томского технологического института были безвозмездно переданы книги по математике, механике, физике, химии, геодезии. Сегодня на сайте Научно-технической библиотеки им. В. А. Обручева Томского политехнического университета имеется информация о 106 раритетах, которые хранятся в фонде Отдела редких книг и книжных памятников. В их числе — экземпляры прижизненного издания «Первых оснований металлургии, или рудных дел» М. В. Ломоносова (1763 год). Очевидно, что речь идет о целенаправленном перераспределении фондов: в Томском технологическом институте эти книги пользовались спросом читателей — в отличие от Барнаула, где горное дело находилось в стадии затухания.

* * *

В октябре 1891 года в Барнауле было создано Общество любителей исследования Алтая. 24 марта 1902 года оно получило статус Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества.

Барнаульская казенная библиотека была старейшим из книгохранилищ Алтая и представляла несомненный интерес для местной организации Русского географического общества, как и «горный музей», созданный в 1823 году Ф. А. Геблером и П. К. Фроловым. В 1910 году В. П. Михайлов, начальник Алтайского округа, обратился в министерство императорского двора с прошением о передаче подотделу библиотеки и коллекций музея и 28 мая 1911 года получил на то высочайшее соизволение¹¹.

Исследователи отмечают, что имущество, переданное Алтайскому подотделу, было далеко не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует сохранившийся в фонде Государственного архива Алтайского края акт о передаче горной библиотеки, датированный 31 декабря 1911 года. Из этого документа следует, что к моменту передачи в библиотеке числилось 25 399 томов на русском, французском, немецком, латинском, английском языках, но при этом:

¹¹ По Высочайшему повелению начальнику Алтайского округа... // Государственный архив Алтайского края. Ф. 4. Оп. 1. Д. 380. Л. 98. Цит. по: История библиотечного дела на Алтае. Барнаул, 2007.

В течение 21—31 декабря 1911 г. было передано Алтайскому подотделу следующее количество томов:

а) не записанных в каталоги-инвентари и составлявших как бы излишек — 190 томов, стоимость которых не известна;

б) значащихся, по сведениям, данным библиотекарем Л. В. Торопыниной, выданными разным лицам и учреждениям округа — 94 тома, из которых — 16 томов стоимостью в 105 рублей 41 копейку и 78 томов без цены, так как их стоимость не указана в каталогах-инвентарях;

в) оказавшихся налицо в шкафах библиотеки 24 747 томов, стоимостью в 24 156 рублей 33 копейки.

Всего передано Подотделу 25 032 тома на сумму 24 261 рубль 74 копейки.

Совершенно не оказалось в наличии библиотеки числящихся по каталогам-инвентарям 145 томов, из них 24 тома стоимостью 28 рублей 39 и ½ копейки и 121 том неизвестной цены¹².

Такое состояние библиотеки стало прямым следствием сокращения ее штата. Фактически фондом занимался всего один человек — заведующий библиотекой.

Передача такого значительного количества книг поставила перед Алтайским подотделом Западно-Сибирского отдела Русского географического общества проблему нехватки площадей. Он занимал две комнаты в здании главной лаборатории Алтайского округа, но в 1913 году это здание было полностью передано в ведение подотдела. Из казны Кабинета было выделено 5000 рублей на ремонт помещения.

Ремонт закончился в 1915 году. Однако с началом Первой мировой войны Алтайский подотдел был вынужден прервать свою деятельность до 1918 года. В феврале 1918-го музей и библиотека были переданы в собственность городских властей. Было решено сделать библиотеку публичной. Но книги все еще находились в беспорядке, требовалось закончить их разбор и расстановку, организовать хронологический и систематический каталоги.

Когда в декабре 1919 года в Барнауле окончательно была установлена советская власть, библиотека и музей были реквизированы, а их сотрудники зачислены в штат служащих губернского отдела народного образования. Уже в январе 1920 года на заседании музейной секции в Барнаульском отделе народного образования было решено как можно скорее открыть для посетителей библиотеку и музей. После приведения в порядок библиотеки выяснилось, что в ней недостает почти 12 тысяч томов. Пропали не только книги, но и большая часть годовых отчетов подотдела и весь его архив вместе с рукописями, предназначенными к публикации. В июле 1923 года библиотека была открыта как самостоятельная Алтайская научно-историческая библиотека (АНИБ) и размещена в здании Барнаульского архивного бюро (ул. Республики, д. 37). В октябре 1927 года произошло слияние АНИБ с Окружной центральной библиотекой, объединенная библиотека стала называться Барнаульской окружной научно-исторической.

Дальнейшая судьба ее фондов, включая книги из Барнаульской казенной библиотеки, связана с Новониколаевском (Новосибирском). Еще в 1925 году вышло постановление Сибкрайисполкома о передаче в Новониколаевск Алтайского горного архива, которая была осуществлена в феврале 1926 года. Вместе с

¹² Акт о передаче горной библиотеки Алтайскому Подотделу // Государственный архив Алтайского края. Ф. 4. Оп. 1. Д. 380. Лл. 20—20 об. Цит. по: История библиотечного дела на Алтае. Барнаул, 2007.

архивом было перевезено небольшое количество книг, поступивших в правление Алтайского округа уже после передачи Барнаульской казенной библиотеки Русскому географическому обществу.

В это время в Новониколаевске было организовано Общество изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС). Его целью являлось распространение научных сведений о Сибири и содействие институтам власти в рациональном использовании природных богатств. Осознавая научную и культурную ценность бывшей горной библиотеки, члены ОИС ходатайствовали о ее передаче во временное пользование Обществу.

Было решено, что переданные Барнаулом книги вольются в Краевую научную библиотеку, организуемую Обществом изучения Сибири при Сибирском институте народного хозяйства. Открыть и институт, и библиотеку планировалось осенью 1929 года.

Первого декабря 1928 года состоялась передача фондов Барнаульской окружной научно-исторической библиотеки. Для транспортировки в Новосибирск было упаковано 21 777 томов, всего 180 ящиков. Еще в шести ящиках книги были не посчитаны. В своем докладе принимавший книги представитель краевого отдела народного образования Н. К. Ауэрбах писал, «что сохранности библиотеки угрожала серьезная опасность в Барнауле» и что ему пришлось не только руководить «укупоркой» книг, но и «самому укладывать книги при 25-градусном морозе, добывать гвозди»¹³.

Надо отметить, что Н. К. Ауэрбах являлся ученым секретарем Общества изучения Сибири. А его коллега по ОИС П. К. Казаринов, согласно приказу № 1 по Институту народного хозяйства и распоряжению № 238 по Сибирскому крайно, был назначен на должность директора Сибирской краевой научной библиотеки при институте. Позже эта библиотека стала Западно-Сибирской краевой, а с образованием в 1937 году Новосибирской области — Новосибирской государственной областной научной библиотекой (НГОНБ).

Первоначально Сибирская краевая научная библиотека располагалась в полуподвальном помещении по адресу Красный проспект, д. 38 (ныне — здание Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна). В 1932 году переехала в помещение клуба им. Сталина (ул. Ленина, д. 24).

В начале 1950-х годов в процессе реорганизации фонда часть книг из собрания Алтайской научно-исторической библиотеки была списана в связи с ветхостью или несоответствием профилю библиотеки. Это было перед переездом библиотеки в новое здание (Красный проспект, 26). Однако для части книг из этой коллекции переезд оказался благом. Расширение площадей библиотеки позволило выделить так называемый «ценный фонд», куда вошли несколько книг с автографами и пометами из собрания Кольвано-Воскресенских заводов.

Во второй половине 1930-х годов партия книг была передана в библиотеку только что открывшегося Новосибирского медицинского института. В журнале «Сибирские огни» за 1964 год есть информация о нескольких книгах, подаренных Новосибирским государственным университетом библиотеке мединститута. Эти издания описываются как «старинные книги по медицине в кожаных переплетах, с золотым тисненым заглавием “Книги Кольванских заводов”». Одна из них — «Наставление народу в рассуждении его здоровья» С. А. Тиссо

¹³ Цит. по: Афанасьева Т. Б. Начало // Старое. Новое. Вечное. 1929—1999 гг.: 70 лет Новосиб. обл. науч. б-ке. — Новосибирск, 2008. С. 5—14.

(1781 год) — имеет круглую печать с литерами “КВЗ”»¹⁴. Это дает основания предположить, что некоторая часть книжного собрания КВЗ до сих пор хранится в библиотеках Новосибирского государственного медицинского университета и Новосибирского государственного университета.

В начале 1970-х годов небольшая часть книг из собрания КВЗ по книгообмену поступила в фонд Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук СССР (191 экземпляр книг и 92 экземпляра периодических изданий). Сегодня эти книги хранятся в Отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН.

Еще три экземпляра из собрания КВЗ были обнаружены сотрудником НГОНБ С. М. Ермоленко в научной библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

В фондохранилищах современного Алтайского края сохранились лишь единичные экземпляры книг из библиотек Кольвано-Воскресенских заводов. В отделе редкой книги Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова эта коллекция представлена 12 экземплярами, среди которых имеются такие книжные памятники, как «Юности честное зерцало» (1767), «Краткое руководство к красноречию» М. В. Ломоносова (1784), «Металлургия» Дж. Скополи (1800). В фонде Алтайского государственного краеведческого музея сохранился в единственном экземпляре третий том «Обстоятельного описания руднаго плавильного дела» И. А. Шлаттера (1767). Научная библиотека Алтайского государственного университета хранит экземпляр издания «Храм древности, содержащий в себе египетских, греческих и римских богов имена, родословие, празднества и бывшие при оных обряды; знатных древних мужей достопамятные дела и приключения» (1771).

Таким образом, в первой половине XX века богатейший на территории Сибири фонд Барнаульской казенной библиотеки в силу разных факторов оказался распылен по разным сибирским городам, и сегодня выявить все сохранившиеся экземпляры представляется очень трудной задачей.

Самая крупная сохранившаяся часть Барнаульской казенной библиотеки хранится в НГОНБ и по последним подсчетам составляет 7460 экземпляров. Собрание хранится в отдельном помещении отдела ценных и редких книг. В настоящее время эта часть собрания полностью систематизирована по языкам: русские книги гражданской печати, кириллические издания на церковнославянском, книги на немецком, французском, латинском языках. В особую часть собрания выделены рукописные книги.

Распределение по языковому признаку следующее: 3710 экземпляров русских изданий и рукописей, 2468 немецких книг, 990 — французских, 278 — на латыни, 14 — на прочих языках.

Открытая в 2018 году в Областной научной библиотеке постоянная экспозиция Интерактивного музея книги открывается самой значительной по масштабам витриной «Первая научно-техническая библиотека Сибири», посвященной книжному собранию Кольвано-Воскресенских заводов.

* * *

Отдельным направлением исследовательской работы с книжным фондом Кольвано-Воскресенских заводов является изучение экземпляров из личных

¹⁴ Бурков И. Книги Кольванских заводов // Сибирские огни, 1964, № 11. С. 189.



коллекций горных инженеров, ученых, естествоиспытателей, путешественников в составе этого собрания, а также прижизненных изданий их собственных трудов, ставших частью Барнаульской казенной библиотеки. Среди уже изученных экземпляров встречаются уникальные.

Интересно, что в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века» представлено 5780 названий, а в горнозаводской алтайской коллекции — 696, то есть в библиотеке в свое время было собрано около 12% всех российских изданий.

Среди них, например, работа выдающегося русского металлурга Павла Петровича Аносова (1799—1851) «О булатах» — результат многолетнего кропотливого исследования структуры сплавов. На протяжении многих лет ученый пытался разгадать технологии булатной стали и изготовления холодного оружия, которые существовали много веков тому назад на Востоке. Его открытия получили всемирную известность. Сталь, выплавленная по методу Аносова, превосходила по своим характеристикам дамасскую, за ее рецептом стали приезжать специалисты и из Европы, и с Востока.

Большое значение для развития науки и металлургической промышленности в России XVIII века имела книга М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии, или рудных дел». Книга была издана в 1763 году огромным для того времени тиражом — 1225 экземпляров. На металлургических заводах России эта книга долго служила в качестве справочника и руководства, а в горнопромышленных школах использовалась как учебник. Об обеспечении заводов и рудников книгой «Первые основания металлургии» заботилось правительство. Известно, что через несколько дней после выхода книги Екатерина II дала распоряжение Кабинету о посылке экземпляров издания на Кольвано-Воскресенские заводы «безденежно» — в качестве высочайшего дара.

Среди замечательных экземпляров кольвано-воскресенского книжного собрания встречаются не только русские, но и европейские книги. К ним относится и самое старое издание Областной научной библиотеки — четвертый и восьмой тома собрания сочинений Эразма Роттердамского 1540 года. Книги изданы в одной из лучших типографий того времени, славившейся аккуратностью и безупречным вкусом, — в типографии Иоганна Фробена, друга Эразма.

Поражает изящное расположение текстов, художественные украшения в виде заставок и рамок. На титульном листе — штамп с вензелем «КВЗ» и экслибрис «Ex bibliotheca Michaelis Alexiev». Долгое время сотрудники отдела лишь предполагали, кто же такой Михаил Алексеев, который свободно читал на латыни философские трактаты Эразма Роттердамского. И вот открытие! На другой книге из кольванского собрания — труде Иосифа Флавия «О войне иудейской» 1787 г. переводчиком с латинского языка значится «Кольванский Наместник Верхней Расправы Председатель Титулярный Советник Михаил Алексеев». 250 лет назад в глухой сибирской стороне, вечером при свечах почитывал титулярный советник Михаил Алексеев философские трактаты Эразмуса, листал маленький томик Гуго Гроция — голландского юриста, заложившего базовые принципы международного права. В составе барнаульского собрания в настоящее время выявлены 4 книги, принадлежавшие Михаилу Алексею, каждая из которых достойна внимания: они изданы в лучших типографиях Европы XVI—XVII веков.

Особое место в собрании занимают издания, связанные с именами немецких естествоиспытателей и ученых на российской службе, в частности Петра Симона Палласа, Августа Фридриха Геблера, Иоганна Шлаттера.

Петер Симон Паллас (1741—1811) — выдающийся ученый-естествоиспытатель и путешественник. Он 43 года жизни посвятил России, научному описанию ее труднодоступных окраин. Внес существенный вклад в мировую и российскую науку — биологию, географию, геологию, филологию и этнографию. Имя Палласа стоит в одном ряду с именами таких деятелей русской культуры XVIII века, как М. В. Ломоносов и Л. Эйлер. Труды выдающегося ученого, представляющие ныне большую редкость, практически полностью представлены в книжном собрании Кольвано-Воскресенских заводов.

В коллекцию трудов Петера Симона Палласа входит 26 изданий на четырех языках (русском, немецком, латинском и французском). Самое фундаментальное сочинение Палласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи» представлено на двух языках — русском и французском. Интерес к трудам и экспедициям ученого был очень велик, его конспектировал Н. В. Гоголь, собирая всевозможные материалы о России для своей поэмы «Мертвые души». Книга читалась в России и в Европе как увлекательный роман, а авторитет ученого сохранился и в наше время. Долгое время в ученом мире ходила шуточная поговорка «Еще Паллас сказал...».

Особый интерес представляет двухтомное издание «Flora Rossica». Уникальный свод российских растений вышел в свет во времена правления просвещенной императрицы Екатерины II в двух выпусках, в 1784 и 1788 годах. Иллюстративный материал «Флоры России» исполнен известными граверами XVIII века. Все гравюры раскрашены вручную. Иллюстрации были созданы в годы расцвета ботанического рисунка. Названия растений даны на русском и латинском языках.

Судьба владельца следующей личной библиотеки удивит многих наших современников. Молодой одаренный и хорошо образованный врач из немецкого города Бамберга приезжает в Барнаул в 1809 году и остается там навсегда. Через некоторое время он пишет прошение, что желает принять русское подданство. Проступление подписывают не сразу, и лишь через восемь лет доктор Фридрих Август Геблер становится гражданином России.

Алтай восхитил его и дал силы для работы, исследований и открытий. У Геблера была большая семья, многие его потомки до сих пор живут на Алтае и в Томске. И конечно же, была библиотека. Малая часть этой библиотеки (51 документ) входит в состав новосибирской части книжного фонда Кольвано-Воскресенских горных заводов и представляет собой уникальную коллекцию западноевропейской научной литературы конца XVIII — начала XIX веков на немецком, французском, русском и латинском языках.

В коллекцию вошли произведения самого Геблера, а также сочинения по медицине, зоологии, энтомологии, ботанике, минералогии и художественная литература. Все книги имеют характерную владельческую запись — «Gebler». В коллекцию включены также книги, принадлежащие его сыновьям — Егору, Аполлону и Николаю.

Геблер известен в научном мире как исследователь природы Алтая, он сделал подробное описание горных массивов и ледников Белухи, измерил ее высоту и дал точное определение возраста алтайских гор, обследовал бассейн реки Катунь и нашел ее истоки. Ему принадлежит подробное описание флоры и фауны региона, новых видов растений и животных. Особое место в исследованиях Геблера занимает энтомология, им описаны и собраны коллекции насекомых Горного Алтая. В честь ученого названы некоторые виды жуков. Его бурная



научная деятельность отражалась в многочисленных публикациях в России и в Европе, он вел переписку с научным сообществом, а совместно с начальником алтайских заводов П. К. Фроловым Геблер организовал первый в Сибири научно-исторический музей, где были представлены его коллекции.

Среди книг Геблера находится труд Александра Гумбольдта «О видах подземных газов и средствах уменьшения их вреда», изданный в 1799 году, со следующей дарственной надписью: «*Zum andenken an Friedrich Gebler. December 1815*» — «На память Фридриху Геблеру. Декабрь 1815».

В каждой личной библиотеке найдется самый зачитанный томик стихов любимого поэта. В личной библиотеке Геблера есть девятый том «Новых сочинений Гёте» на немецком языке, изданный в 1801 году. В конце книги от руки бисерным почерком Геблера переписаны два стихотворения, не вошедшие в сборник.

В Барнаульской библиотеке уже в первые годы ее деятельности было капитальное двадцатидвухтомное сочинение Ивана Шлаттера «Обстоятельное наставление рудному делу» (Санкт-Петербург, 1760 г.), которое успешно изучал изобретатель И. И. Ползунов. Среди сочинений по горному делу, металлургии и рудным месторождениям работы президента Берг-коллегии и директора Петербургского монетного двора Ивана Андреевича Шлаттера занимают важное место. В Россию Шлаттер приехал с отцом, приглашенным в 1719 г. Петром I на русскую службу. Он был одним из тех иностранцев, которые обрели в России вторую родину и посвятили свою жизнь ее интересам.

Шлаттер разработал метод очистки золота и серебра и подробно описал его в своих трудах, исследовал физико-химические свойства минералов, предложил новые способы обогащения руд благородных металлов, усовершенствовал монетное дело, разработал так называемую «шлаттерову методу» — способ «сухого разделения золота от серебра», применявшийся в России до середины XIX в. В 1770 году Шлаттер составил «Обстоятельное наставление рудному делу», ставшее практическим руководством по разведке и разработке рудных месторождений и обогащению руд, отразившее состояние техники горного дела того времени.

Иван Шлаттер был также автором большого числа предложений, которые во многом определили денежную политику российского государства во второй половине XVIII века. Именно он впервые обосновал идею создания особой, отличной от общегосударственной, сибирской монеты. Он рекомендовал чеканить из алтайской руды деньги с таким расчетом, чтобы они покрывали все расходы на содержание Кольвано-Воскресенских заводов. Монета должна была ходить только на территории Сибири.

Весной 1764 года развернулось строительство нового медеплавильного завода на притоке Оби — Нижнем Сузуне, в 130 верстах от Барнаула. К сентябрю 1766 года монетный двор был построен. Здесь и стали чеканить сибирскую монету.

Перечислить все неповторимые книги, входящие в кольвано-воскресенское собрание, конечно, невозможно. Имена их авторов, владельцев, издателей широко известны в России. Западноевропейская ученость и техническая мысль, принесенная в Россию на страницах научных изданий, во многом стимулировала развитие отечественного образования и науки. Фундаментом для новых открытий были книги, центром передового знания — библиотеки, в том числе первая из них в Сибири — библиотека Кольвано-Воскресенских заводов.

Литература

- Афанасьева Т. Б.* Начало // Старое. Новое. Вечное. 1929—1999 гг.: 70 лет Новосиб. обл. науч. б-ке. — Новосибирск, 2008.
- Вильчур Н.* Из истории технических библиотек на Алтае // Библиотекарь, 1953, № 3.
- Виргинский В. С.* Петр Козьмич Фролов (1775—1839). Москва, 1968.
- Виргинский В. С.* Творцы новой техники в крепостной России. Очерки жизни и деятельности выдающихся русских изобретателей XVIII — первой половины XIX в. М., 1962.
- Гузнер И. А.* Книжная культура горнозаводских провинций Урала и Сибири в 20—80-е гг. XVIII века (Государственные библиотеки): дис. канд. ист. наук. Новосибирск, 1990.
- Гузнер И. А., Ситников Л. А.* Библиотеки Кольвано-Воскресенских горных заводов в XVIII веке // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975.
- Гузнер И. А.* «Просветительная миссия» горнозаводских библиотек Сибири в XVIII — начале XIX в. // Библиосфера, 2005, № 2.
- Гузнер И. А.* Первая библиотечная сеть Сибири — книжные собрания Кольвано-Воскресенских заводов // Страницы истории. Областной научной библиотеке — 80 лет. Новосибирск, 2009.
- Гузнер И. А., Романова Т. А.* Книги Кольвано-Воскресенских заводов: томская история // Библиосфера, 2007, № 2.
- Данилевский В. В. И. И. Ползунов: Труды и жизнь первого русского теплотехника.* М.—Л., 1940.
- История библиотечного дела на Алтае. Барнаул, 2007.
- Каратыгина Т. Ф.* История технических библиотек в СССР. М., 1981.
- Митяева Н. М.* От печатной книги — к электронному документу // Страницы истории: обл. науч. б-ке — 80 лет. Новосибирск, 2009.
- Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. Новосибирск, 2000.
- Русские книги гражданской печати собрания Кольвано-Воскресенских горных заводов в фонде ГПНТБ СО РАН: каталог. Сост. Т. А. Драгайкина. Новосибирск, 2014.
- Савельев Н. Я.* Петр Козмич Фролов: жизнь и деятельность новатора русской техники XIX в. Новосибирск, 1951.
- Сафронова А. М.* Первые библиотеки Екатеринбурга и книжное собрание В. Н. Татищева: автореф. канд. дис. Екатеринбург, 2011.
- Федоров В. Г.* К истории Екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева // Материалы к биографии Татищева. Свердловск, 1964.
- Шилов Л. А.* Фролов Петр Козьмич // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры. Биографический словарь. СПб, 1999.



Лариса ПОДИСТОВА

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

*К 75-летию Государственного академического
Сибирского русского народного хора*

Очерк третий

Если бы ученым наконец удалось изобрести прибор, измеряющий уровень человеческого счастья и удовлетворенности жизнью, какую закономерность удалось бы им вывести с его помощью? Понятно, что счастье не связано напрямую с благосостоянием: богатые, как известно, тоже плачут и болеют, только делают это в дорогих клиниках. Сказать, что образование осчастливляет людей, тоже нельзя. Иная деревенская бабушка, едва умеющая читать и писать, выглядит бодрее и веселее профессора, измученного духовными вопросами. Здоровье, конечно, крайне важная составляющая счастья, но и тут все не так просто: глядишь, какой-нибудь атлет все время ноет и жалуется на жизнь, а инвалид, который еле ходит, сам не унывает, да еще и других поддерживает — мир прекрасен, выше нос! Словом, загадочная это вещь — человеческое счастье...

Но когда оказываешься рядом со счастливыми людьми, чувствуешь это без всяких научных приборов. Бывает, еще и не увидел, только о них узнал — а на душе уже становится светлее.

«Васильковая лира души», «Сонет российского звучания», «Сибирская вольница», «Ямщицкий сказ», «Напоенный сердцем взгляд» — за названиями концертных программ Государственного академического Сибирского русского народного хора угадывается какая-то особенная, наполненная ярким и звонким смыслом жизнь. Похоже, это неспроста — и в народном искусстве действительно до нынешних времен сохранилось упрямое жизнелюбие наших предков, их прочная вера в то, что завтра будет лучше, чем вчера, а утро обязательно мудрее вечера. И очень может быть, что те, кто соприкасается с народной песней, в которой органично сплетаются жизнь и смерть, нежная любовная лирика и острый трагизм неравного боя, знают кое-что и о настоящем счастье.

— Я всегда говорю артистам: «Мы с вами счастливые люди, потому что занимаемся тем, что любим. Нам это легко, и мы это делаем с удовольствием, что уже само по себе счастье. А нам еще и деньги за него платят!» — смеется Николай Иванович Лугин, художественный руководитель Сибирского хора, сразу же изгоняя из нашего разговора излишний пафос. — Этот год у нас юбилейный и очень насыщенный. Очень хорошо съездили в Белоруссию, открыли сезон концертом в Москве. На Сахалине два раза уже побывали. Первый раз, в

феврале, участвовали в культурной программе международных спортивных игр «Дети Азии», а второй раз ездили как приглашенные гости, работали на площади 9 Мая. Площадь была битком набита! Немножко устали, но это такая... благодарная усталость. Просто много разнообразных событий.

Жизнь Николая Ивановича уже больше тридцати лет связана с Сибирским хором. Странная шутка судьбы: при том что Лугин коренной житель Новосибирской области и окончил Новосибирское музыкальное училище, впервые на концерт этого коллектива он попал в Москве, где проходил армейскую службу в элитном полку. Там он руководил солдатским военно-инструментальным ансамблем, который был очень популярен и однажды даже занял третье место на всероссийском конкурсе артистов эстрады.

— За два армейских года у меня было столько концертов, сколько не бывает у профессиональных коллективов. Почти каждый день по одному, по два концерта! Вот такая служба у меня была в армии. — Лугин вспоминает то время с удовольствием. — В Москве я впервые услышал Сибирский хор, и мне очень понравилось. Концерт был в Зале имени Чайковского. Я сидел далеко наверху, но кое-кого узнал: там уже работали мои друзья, с которыми мы вместе учились в училище. Балалаечник Виктор Никитюк, который и сейчас у нас играет, девчонки-домристки... Я еще и потому пришел в Сибирский хор, что там ребята были знакомые. Тогда я впервые увидел Александра Матвеевича Поспелова с Игорем Леонидовичем Гришенковым — двух наших заслуженных артистов. Это был, если я правильно помню, 1978 год. Я тогда даже не мог предположить, что буду руководить этим коллективом!

Вернувшись после армии в Новосибирск, Николай пришел в Сибирский хор баянистом. Впоследствии стал руководителем оркестра и проработал на этой должности двенадцать лет. И даже сейчас заметно, что к оркестру у него особенное отношение. Он с гордостью говорит о его неповторимом звучании, о том, что оркестр Сибирского хора можно с закрытыми глазами отличить среди других народных коллективов, что на различных фестивалях представители других хоров не раз подходили и говорили: «Нам бы такой оркестр, как у вас!» В это легко верится, потому что я сама видела, как артистично, эмоционально и зажигательно работают музыканты на концертах и с каким восторгом публика встречает оркестровые номера. «Особое» звучание может по-настоящему оценить, наверное, только профессионал, а мы, зрители, ценим сердечность, страстность, искренность — и уж тут нас не обманешь.

У человека, который прошел путь «от рядового до генерала» внутри одного коллектива, взгляд цепкий и все подмечающий. Лугин признается: как с худруком артистам с ним нелегко. Никто из них не может в ответ на его требование сказать: то, чего ты от меня добиваешься, сделать невозможно. Он ведь знает, на что они способны, на что вообще способен Сибирский хор. Он сам отсюда.

— А вы на репетициях тиран или демократ? — спрашиваю я.

Подумав, он отвечает:

— Лучше быть не тираном, а человеком, к которому относятся с приятием. Понимают, о чем ты говоришь, и хотят сделать то, что ты просишь. И воспринимают тебя не столько как руководителя, сколько как старшего товарища, знакомого человека. Может, и надо быть больше тираном в таком большом коллективе, но у меня как-то не получается... Да я этого и не хочу. Я с ними вместе все эти годы был, и мне сложно перестроиться. Я стараюсь, чтобы было интересно и чтобы у меня с артистами складывались нормальные



отношения. Не стучу кулаком: мол, я сказал, и все. Если что-то дельное предлагают, я с удовольствием это воспринимаю. Да и время сейчас немножко другое — нужно все делать быстро. Не в смысле бегом, а чтобы ничего не забыть, все успеть... Предложений много, особенно сейчас, в юбилейный год. А одному сложно все охватить, поэтому мы работаем командой с руководителями оркестра, балета и хора, вместе создаем программу, подбираем номера, все обговариваем.

За семьдесят пять лет своего существования Сибирский хор знал уже нескольких художественных руководителей. Все они, внося что-то свое в репертуар и сценический стиль, старались все же сохранить уникальность коллектива, его задорный, порой и задиристый сибирский характер, энергичную манеру исполнения. Николай Иванович тоже видит свою задачу в том, чтобы поддерживать традиции. Прежде всего, как он считает, важно сохранить исконное звучание песен. Говорить о какой-то единой сибирской манере не приходится, уж очень она, Сибирь, разная. Кого только не выбрасывали сюда волны истории: немцев, украинцев, белорусов, татар, чувашей... Кажется, вся Россия собралась здесь, и каждый народ добавил что-то свое, обогатив и русскую мелодику, и костюм, и танцы. Все это богатство хочется собрать и показать нашим современникам, прежде всего соотечественникам. И Сибирский хор делает это.

На вопрос, ориентируется ли он на кого-нибудь из своих предшественников, Лугин отвечает:

— Я очень много времени проработал с Вячеславом Викторовичем Мочаловым. Музыкант он был просто от бога, я всегда завидовал его феноменальному слуху. Он мог среди нескольких поющих каждого точно расслышать и сказать: вот ты, мол, на четверть тона фальшивишь, так не пой. Он очень внимательно, скрупулезно подходил к созданию любого произведения — допустим, песни. У него было все продумано: сколько тактов, ступеней, где проигрыш, какой он... Все песни, которые он обработал, мы сейчас поем и сохраняем, это золотой фонд: «Тонкая рябина», «Степь да степь кругом», «Шумел камыш» (вместе с братьями Заволокиными сделана) и другие. Многие из них мы включили в юбилейную программу, не все, конечно, но всё объять невозможно... И когда мы поем эти песни в обработке Мочалова, зал просто затихает и слушает их с удовольствием. Они сделаны просто шикарно — как ни подкапывайся, а как будто это действительно естественное звучание. Надо сказать, народную мелодику трудно испортить, но сейчас это делают. Не буду называть имен. Начинают как-то ритм менять, подключают электроинструменты, что-то еще придумывают... И все это с криками какими-то, и еще обязательно спустятся со сцены в зал, схватят кого-нибудь за руку... Зачем? Надо дать людям насладиться, послушать. Чтобы у человека душа пела, слезы на глаза наворачивались, чтобы он с удовольствием это видел и слышал. Не надо никогда заигрывать с публикой! Надо просто работать.

У коллектива много тематических программ, которые с успехом идут уже не один сезон. Например, «Ямщицкий сказ». С ямщиками в России, учитывая ее просторы, связано очень много историй и песен, можно даже сказать, что вокруг них сложилась некая своя мифология. Песни вроде «Степь да степь кругом» или «Вот мчится тройка удалая» исполняют многие коллективы, но собрать их и объединить одной концепцией, сделать единую программу раньше никому не приходило в голову.



Другое дело — «Сибирская вольница». Задиристый казачий фольклор настолько ярок и привлекателен, а вокруг казачества сложился такой романтический ореол, что этой теме так или иначе отдают дань большинство народных коллективов. Сибирский хор собрал в своей программе как лирические, так и боевые, маршевые казачьи песни, подчеркивая опять же сибирский колорит. Вдали от столиц и правительств вольница была неизбежной, а отчасти и вынужденной. Например, даже формы единой у сибирских казаков не было: ее просто не из чего было шить. Но привезенные в Сибирь казаками боевые искусства вполне традиционны, так что, кроме песен и плясок, зритель видит на сцене целое театрализованное представление — казачью «бузу» и схватку на саблях. Номер с саблями получился ярким и неожиданно современным, в Интернете его даже кто-то назвал «сибирский брейк-данс», хотя от заморского брейк-данса там ничего нет, все свое, русское.

Программа «Васильковая лира души» родилась в преддверии женского праздника, Восьмого марта. Ее основа — светлые, лирические песни о любви и нежности.

С другой стороны, время требует и свежего художественного материала, и незаезженных форм его представления публике. В поисках новых выразительных средств родилась программа «Напоенный сердцем взгляд» по стихам Есенина. Казалось бы, где Есенин — и где Сибирь? Но сибиряки чувствуют внутреннее родство с поэтом. Как утверждает афиша на официальном сайте: «В Сибирском хоре убеждены, что великий русский поэт — абсолютный сибиряк. Рязанский парень покори́л мир московской богемы и поэтическое пространство великой России, так же как сибиряки превратили необжитый, холодный край каторжан и ссыльных в центр науки, культуры и промышленности». Кто-то наверняка захочет поспорить, но, прежде чем это сделать, пусть придет на концерт и увидит Есенина, разного в разные периоды жизни, и вместе с артистами попытается понять его — через музыку, песню и танец.



Художественный руководитель Сибирского хора Н. И. Лугин



Сейчас, по словам Николая Ивановича Лугина, коллектив готовит новую программу. Фактически это музыкальный спектакль, его рабочее название — «И в Сибири солнце есть». Да, Сибирский хор взялся за суровую, «кандалную» тему. Обойти ее коллективу, который гордится своей сибирскостью, наверное, и нельзя было, ведь наша земля долгое время оставалась главной, самой страшной каторгой России.

— Не получится ли у вас этакая романтизация преступников? — осторожно спрашиваю я у Лугина. — Ведь далеко не все каторжане, которые попадали в Сибирь, были декабристами, народниками и прочими борцами за всеобщее счастье. Большинство-то — это воры, убийцы, мошенники...

— Хватало и таких, — соглашается он. — Но понимаете, это же наша история. Мы же не можем делать вид, что этого не было. Романтизации, конечно, стараемся избежать. В общем-то, это только так условно называется — «кандалная тема». Это все-таки больше об истории освоения сибирских странств. Ведь было так, что в один поток попали, условно говоря, и плохие, и хорошие. У нас такой режиссерский ход: в Сибирь идет этап, где собрали всех — и тех, кто страдал за убеждения, и тех, кто вообще случайно сюда попал, и преступников. И мы на сцене как раз отслеживаем их отношения, их антагонизм, и как они держатся вместе, и как происходит между ними борьба. И выводим к тому, что все-таки нормальные, хорошие люди помогают и тем, другим, тоже понять, что жить нормально, честно — это правильно. И конечно, мы тщательно выбираем песни, подбираем звучание, отработываем танцевальные номера. Никакого «русского шансона» там не будет, обещаю. Нам хотелось сделать эту программу разнообразнее. Ну, когда ты делаешь все сам, то получается как-то... не то чтобы одинаково, но как бы чувствуется одна рука. Поэтому мы пригласили Игоря Тюваева, руководителя ансамбля «Маркелловы голоса», и известного журналиста и режиссера Анастасию Журавлеву. У них возникло много идей, мы их сейчас воплощаем на сцене.

Жизнь коллектива, и так обычно богатая событиями, в этом году чрезвычайно насыщена. В июне состоялись гастроли по Новосибирской области. Восемь районных центров увидели юбилейную программу «Сибирь — жемчужина России». Именно ее коллектив повезет в ноябре на «Русские сезоны» в Берлин. Сибиряки приняли программу очень тепло. А как будет в Германии?

— За границей работать гораздо легче, — успокаивает Николай Иванович. — Там артисты, кажется, просто летают. Зрители там нас принимают на ура.

— А у нас, получается, зритель строже?

— Нет, просто мы чувствуем перед «своим» зрителем большую ответственность. Хочется, чтобы все было идеально. Иногда это мешает, появляется напряжение, зажим, а у танцоров физическая работа, и для них это плохо. Они тогда «погибают» на сцене, образно говоря: у них мышцы начинает сводить. Представляете, он отработал пляску, а потом падает на пол, потому что мышцы свело от старания сделать все как можно лучше. Артист должен выходить на сцену хорошо подготовленным, расслабленным и с удовольствием выражать свои эмоции.

— А если бы вы могли во время концерта обратиться к зрителям — что бы вы сказали?

— Я бы сказал: «Зрители наши! Без вас, без ваших глаз и аплодисментов, без вашего теплого отношения — нам бы, наверное, работалось... может, и совсем никак бы не работалось. Мы тогда вообще не могли бы существовать как Сибирский хор, как концертный коллектив. Спасибо, что вы у нас есть, что мы видим вашу заинтересованность, вашу поддержку, ваши глаза! Все, что мы тут пытаемся делать, — это для вас».

И это правда. Мы, когда придумываем номера, исходим прежде всего из того, будут ли они интересны публике. А концертную программу всегда составляем так, чтобы было разнообразие во всем: в костюмах, в произведениях — песнях, танцах. Чтобы они были по характеру разные, по настроению. Тогда это интересно, тогда и я сам с удовольствием смотрю концерт.

Мы ездим на гастроли, когда на неделю, когда на десять дней. Заказываем автобусы, и водители каждый раз другие. Спрашивают: «А можно к вам на концерт?» — «Можно, конечно». Сходят и говорят: «А вы где были?» Я говорю: «А я все время сижу в зале». — «И вам не надоедает одно и то же смотреть?» — «Нет, там же все по-разному». — «Как это? У вас же одна программа!» На гастроли мы же каждый раз какую-то одну программу возим. Я говорю: «Ну и что? Она разная всегда!» И все водители, не было ни одного исключения, первый раз сходят — и потом каждый концерт сидят в зале, с удовольствием смотрят одну и ту же программу.

В течение всего юбилейного года Сибирский хор проводит совместные с коллегами концерты. В этом проекте участвуют новосибирские коллективы: Русский академический оркестр под руководством Владимира Гусева, ансамбль «Маркелловы голоса» (руководитель Игорь Тюваев), ансамбль музыки для народа «Дружина» (руководитель Николай Гнучев), вокально-инструментальный ансамбль «Белые росы» (руководитель — заслуженный артист России Александр Фершалов), а также Кемеровский театр танца Виктора Селиверстова «Сибирский калейдоскоп». Есть в программе и другие события, перечислять которые здесь мы не будем, чтобы не пробуждать в читателе зависть к полноте чужой жизни. Одним словом, в год своего юбилея Сибирский хор не поживает на лаврах, а продолжает плодотворно работать. Наверное, лучший способ отметить праздник — это разделить его с другими.

Я опять возвращаюсь в разговоре с Николаем Ивановичем к теме «Русских сезонов». Спрашиваю, строгим ли был отбор.

— Строгим, и слава богу! Сейчас за границу много приезжает каких-то коллективчиков «а ля рус». Непонятно какие костюмы, не поймешь как всё делают... И совсем не думают о том, что они же не просто приехали за границу зарабатывать деньги — они показывают свою страну, свою культуру. Поэтому сейчас стали проводить «Русские сезоны», где идет предварительный отсмотр коллективов. Наконец-то серьезно к этому подошли и заставили компетентных людей следить, что же в этой области происходит. И это очень хорошо! Иначе приедешь — а никто на тебя не пойдет, скажут: «Нам уже что-то такое показывали». Будут думать, что вот то безобразие, которое они раньше видели, и есть русское народное искусство.

Я не раз слышала, что в Сибирском хоре очень теплая, дружественная атмосфера, что там поддерживают и уважают друг друга. Но одно дело, когда журналисту это говорят открытым текстом, прямолинейно, как бы поддерживая репутацию коллектива, а другое — когда, даже не успев задать этот вопрос,

слышишь от самого главного лица, от художественного руководителя такие размышления:

— Интересно смотреть на человека, когда он только приходит к нам. Он вроде уже и с образованием, но все равно как-то... Ну как ребенок приходит в детский сад. А через какое-то время этот человек, этот ребенок сразу вырастает. Моментально! Становится вообще другим! Они этого, может, сами не замечают, но я это вижу, когда мы репетируем. Вчера он еще не знал, куда руки девать, — потому что раньше никогда ничего такого не делал. Он просто пел, развивал свой голос. А тут пришел — и ему надо двигаться, надо плясать. Надо точно знать, куда идти, как выражать эмоции. Куда посмотреть, как присесть, как топнуть ногой. Как выйти, как уйти. Конечно, сначала трудно. Но проходит полгода-год — и человек уже другой, его просто не узнаешь. Потому что товарищи рядом, все помогают друг другу, направляют. Ну, иногда, конечно, кто-то и вспылит — эмоции же на сцене. Бывает, что и пошпыняют с таким эмоциональным зарядом. Это тоже действует на человека: он соберется и больше не допустит такого. И всё — его уже по-другому воспринимают и отношение к нему другое... Это очень важно. Самое главное — чтобы артист с удовольствием все делал. Чтобы он чувствовал себя профессионалом, был уверен в себе, не терялся на сцене, всегда оставался хозяином положения. Чтобы на любом концерте: в маленьком клубе или на большой сцене, будь это глубинка, столица или заграница, — он всегда работал эмоционально, с полной отдачей, как в последний раз. Когда я сижу в зале и смотрю, как они работают, я вижу, что это здорово! Какие-то мелочи, огрехи заметны только нам. На каждом концерте такие мелочи бывают, но артисты — это живые люди и то, что мы создаем, — тоже живой организм. Все как-то исправляется, улучшается все время. Главное, чтобы человек был счастлив от того, что он на сцене.

Я вспоминаю про тяготы артистической жизни, о которых мне уже довелось слышать. О скромных зарплатах. О том, как нелегок труд певца, музыканта или танцора. О том, сколько времени они проводят в гастрольных поездках, вдали от близких. О чем-то еще... А еще — о том, какой радостью светятся их глаза, когда они рассказывают о своей профессии. Все-таки артисты — это какие-то особенные люди. Счастливые...



Михаил ХЛЕБНИКОВ

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ, ИЛИ ХРИЗАНТЕМА НА ТАХТЕ

Последний — хочется сказать крайний — подъем интереса к отечественной литературе пришелся на так называемые перестроечные годы. Не каждый знаток литературы сегодня может вспомнить гремевшие тогда имена. Сергей Каледин, Валерия Нарбикова, Леонид Габышев, Виктор Ерофеев объявлялись «открытиями», «вехами», «создателями нового языка». Иногда творцы вступали между собой в заочный конфликт. Многие критики тогда серьезно обсуждали вопрос: Виктора Ерофеева или Валерию Нарбикову следует считать основоположниками современной эротической прозы? Всерьез, по-взрослому сравнивали такие шедевры, как «Русская красавица» и «Около эколо». По степени присутствия и влияния этих текстов на современную словесность их можно сравнить с шумерской литературой. Хотя, наверное, я неправ: сегодняшние российские фантасты с интеллектуальной подкладкой время от времени обращают свой взор на мифических героев, к которым относится и Гильгамеш.

За прошедшие десятилетия кто-то из звезд перестроечной прозы ушел из жизни, а по поводу остальных публика просто не знает, что они живы. Заметим, что некоторые из авторов и сами разочаровались в литературном творчестве. Так, Валерия Нарбикова переключилась в основном на живопись, а немногочисленные прозаические вещи публикует в

таких солидных и не всякому доступных издательствах, как «ДООС и Елена Пахомова». Ее собрат по терпкому эротическому слову Виктор Ерофеев в основном посещает культурные ток-шоу и пытается интриговать читателя сочинениями типа «Хороший Сталин». Аудитория на провокацию не ведется, и автор возвращается в пыльный уют телевизионных студий: говорить о загадках русской души.

Впрочем, Виктору Ерофееву еще относительно повезло. Его иногда путают с однофамильцем (неискушенный читатель может по ошибке и прикупить «Хорошего Сталина») — Венедиктом Ерофеевым, посмертная литературная судьба которого оказалась интересней творчества его здравствующих коллег — звезд перестроечной литературы. Венедикт Ерофеев скончался в мае 1990 года на пороге тогда еще всесоюзной славы: при его жизни вышли первые издания его главной книги «Москва — Петушки», на сцене поставлена пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», журналисты успели взять интервью, критики написали первые статьи, в которых отметили и выделили.

Смерть Ерофеева и геополитические сдвиги эпохи не погасили интереса к его творчеству. Несмотря на общее падение интереса к литературе, его немногочисленные тексты переиздаются в различных комбинациях и вариантах: от «малого собрания сочинений», что само по себе

тавтологично в случае Ерофеева, до солидного двухтомника — в уменьшенном формате, иначе на два тома объема просто не набирается. Творчество Ерофеева становится предметом живых научных дискуссий. Например, в Твери прошла целая научная конференция, посвященная анализу «Петушков», организаторы которой подчеркивали в предисловии к изданию материалов «строго академический» характер мероприятия. Наконец, в прошлом году вышла первая биография писателя — «Венедикт Ерофеев: посторонний», написанная О. Лекмановым, М. Свердловым, И. Симановским. Четырехтысячный — немалый по нашим дням — тираж был не просто быстро распродан. Буквально через несколько месяцев, в начале 2019 года, выходит второе издание: исправленное и дополненное. Согласимся, что на фоне вялого литературного процесса перед нами, несомненно, событие, требующее своего анализа и толкования.

Нужно отдать должное авторам «Постороннего»: они систематизировали и обработали практически все доступные материалы, касающиеся жизни своего героя. В ходе работы дополнительно опросили лиц, знавших Ерофеева в разные периоды его жизни. Авторы книги в предисловии особо подчеркивают объективный характер своего труда: «Себе мы отвели роль отборщиков, тематических классификаторов, а также проверщиков всего этого материала на фактологическую точность». Собранный, можно сказать, сгущенный житейский материал разбавляется анализом поэмы Ерофеева: жизнеописательные главы строго чередуются с литературоведческими. При этом возникает ощущение, что последние добавлены для объема, настолько они вторичны, бледны, попросту инородны по отношению к самому биографическому жанру. Но эти главы срабатывают, в известной степени опровергая концепт авторов бестселлера.

Но начнем с главного вопроса, возникающего в ходе чтения книги, на который ее создатели не смогли, на мой взгляд, дать ответа. Был ли Венедикт Ерофеев писателем? Вопрос этот, на первый взгляд, излишен. Объемом написанного невозможно измерить принадлежность к литературе, которая определяется качеством, а не количеством. Это так. И как бы мало ни написал Ерофеев, тексты его востребованы, вызывают живой читательский интерес до сих пор. Об этом уже также было сказано выше. Но писательство — это не только то, что написал человек, но и то, как он сам относится к собственному слову. И в этом отношении Ерофеев демонстрирует несомненную уникальность. По характеру письма прозу Ерофеева можно отнести к так называемому советскому андеграунду в его экстрим-варианте. «Петушки» были написаны для узкого круга поклонников Ерофеева и предназначались для чтения в этом небольшом сообществе. Выход текста — «забавной штуки», по определению самого автора, — за пределы сообщества и его последующая популярность — эффект не прогнозировавшийся и неожиданный. Об этом говорит и герметический характер сочинения: шутки для своих, обороты речи, принятые в ерофеевском кругу, намеки, аллюзии и прочие услады для вдумчивого филологического анализа.

И филология не подвела в очередной раз. Авторы предисловия к материалам уже упомянутой тверской конференции не без растерянности пишут об уникальном разнообразии подходов к решению вопроса о жанровой природе «Петушков». Настоящее буйство и цветение, конгениальное горячечному сознанию ерофеевского Венечки:

Текст охотно откликается на любой подход: он может быть прочитан как пародия (А. Комароми), как трагическая ирония, выступающая в облике карнавального комизма (В. И. Тюпа, Е. И. Ля-

хова), как травестийный текст (Е. А. Козицкая), как единство двух автономных начал — пародийного и личностного (Н. С. Павлова, С. Н. Бройтман). Он (текст) охотно откликается на то, чтобы основным его жанрообразующим принципом считать тошноту как экзистенциальную категорию (Н. И. Ищук-Фадеева) или тему пути / путешествия (об этом не пишет только ленивый). Ее структурообразующим началом может выступать и гоголевский (Е. А. Егоров), и библейский (Г. С. Прохоров) пласт.

В силу ограниченности журнального пространства опустим последующие трактовки поэмы, скажу лишь, что там начинают мелькать уже такие философские величины, как Кант, Гегель, Ницше, Шопенгауэр, Камю.

Что касается личного восприятия всего предложенного спектра трактовок и интерпретаций, то тошнота — да, присутствует в поэме Ерофеева, но не в высоком сартровском толковании, а как знакомое, увы, многим читателям физиологическое состояние. Символом отчаяния ведущих ерофеевцев выступает следующее итоговое заявление:

Загадка поэмы в том, что всякое ее понимание убедительно и не противоречит другим. Она опровергает привычные представления об интерпретациях как вариантах некоего инварианта, потому что в ней нет (или пока невозможно найти) доминанты. Ее можно читать так и эдак, и все будет «правильно», убедительно, доказательно.

Конечно, недурственно, когда можно «так и эдак», но сомнения рождаются.

Поиск ответа неизбежно приводит к источнику написания пародийно-карнавально-травестийно-автономного текста с библейским пластом. Источник этот известен — записные книжки Ерофеева. Они стоят наособицу в литературном наследии автора. В любых вариантах изданий Ерофеева, рассчитанных на мас-

совость, записные книжки присутствуют в сокращенном, усеченном виде. Это объясняется тем, что туда вписывалось многое, слишком многое, излишнее для творческой лаборатории писателя. К примеру, мы можем найти там распisanную по дням температуру воздуха за три месяца. Есть примеры чуткого вслушивания в речь окружающих: *Шутки железнодорожников: «На половом довольствии»*. Смешно. Еще пример уникального чувства юмора: *Висит груша, нельзя скушать (тетя Груша повесилась)*. Потом трудолюбивой рукой на многих страницах воспроизводятся пословицы народов мира. Ерофеев начинает с бенгальских, тамильских, японских, переходит к пословицам народов СССР — армянским, грузинским, чечено-ингушским. Успокаивается автор на мудрости народов Африки. Что тут можно сказать: «Не мешай фонтану — пусть бьет!» (башкирская пословица). Имеются также многочисленные записи энциклопедического характера: от изложения философских принципов экзистенциализма до цитат из отцов церкви, Толстого, Достоевского. Записные книжки отражают и вдумчивую работу молодого автора над языком. Вот он составляет синонимические ряды: *дуться, вздорить, препираться, брюзжать, ворчать*.

Иногда «Записные книжки» особым образом удивляют читателей. М. Гринберг — известный переводчик — делится своим открытием: «Все время что-то в этих записных книжках записывал, ловил из воздуха. Я даже с удивлением обнаружил там одну свою очень среднего качества хохму». Но не будем брюзжать и ворчать — в текстах записных книжек Ерофеева, помимо указанного материала, присутствуют и вещи ручной, ерофеевской работы, ставшие не просто источником, но и основой как поэмы, так и единственной пьесы Ерофеева «Вальпургиева ночь». По подсчетам А. С. Поливанова, в тексте поэмы обнаруживаются до вось-

мидесяти фрагментов, прямо восходящих к содержанию «Записных книжек». Наличие их одновременно объясняет и факт быстрого написания «Петушков», и факт последующего молчания «писателя Ерофеева», о котором так много говорится на страницах его жизнеописания. Говорится, но не объясняется, хотя понимание этого феномена находится на поверхности.

Но сначала вспомним одного из героев повести Сергея Довлатова «Заповедник», Митрофанова — звезду экскурсионного бюро в Михайловском. Митрофанов прекрасно учился в школе и без проблем поступил на филологический факультет университета, на котором выяснилось, что «уникальная память и безмерная жажда знаний» не просто составляли яркую основу личности юного эрудита, но были ее единственными элементами. Его первая курсовая работа состояла из фразы: «Как нам известно...» Митрофанова отчисляют из университета. Последующие попытки применить на практике тот гигантский объем знаний, которым владеет несостоявшийся филолог, приводят к череде неудач. Секретарство у почтенного академика, с несостоявшейся перспективой совместного научного труда, работа консультантом на «Ленфильме», для которой Митрофанов был вроде бы предназначен самой судьбой...

Это была редкая удача. Митрофанов знал костюмы и обычаи всех эпох. Фауну любого уголка земли. Мельчайшие подробности в ходе доисторических событий. Парадоксальные реплики второстепенных государственных деятелей. Он знал, сколько пуговиц было на камзоле Талейрана. Он помнил, как звали жену Ломоносова.

Нежелание заполнить анкету перечеркнуло эту возможность. При этом Митрофанов продолжал читать и изучать иностранные языки... Работа ночным сторожем в кинотеатре, требующая

единственного осознанного усилия — выключения рубильника, также оказалась чрезмерной для знатока фауны. Довлатов заканчивает рассказ о своем михайловском знакомце словами, которые приложимы, увы, ко многим, когда-то подававшим надежды: «Он был явлением растительного мира. Прихотливым и ярким цветком. Не может хризантема сама себя окучивать и поливать».

Биография Ерофеева не просто рифмуется с его книжным двойником, хотя здесь есть невероятно точные совпадения. Неоконченный филологический факультет, дружба с ученым — в случае Ерофеева это академик Делоне, поражающая окружающих эрудиция, любовь к иностранным языкам, бытовая лень. Так же, как и Митрофанов, Ерофеев бросает учебу внешне необъяснимо, чем ставит в тупик своих биографов.

Блестяще, с золотой медалью, окончив школу, он рассылает заявления о поступлении в ведущие университеты СССР. Первым откликнулся Московский государственный университет. Без труда сдал устное собеседование, Ерофеев становится студентом первого вуза страны. Легко, с отличными оценками прошла и первая сессия. Второй сессии уже не было. Молодой перспективный студент, попавший в Москву напрямую с Кольского полуострова, отказывается учиться. Можно лишь строить предположения по поводу того, что сломалось внутри у провинциального эрудита. Вариантов много: от нежелания следовать достаточно жестким правилам роста молодого интеллектуала (монотонный, каждодневный труд с отложенным и негарантированным результатом) до растерянности перед громадностью культурного пласта, который был освоен многими его столичными однокурсниками «по праву рождения». Догонять Ерофеев никогда не умел. Наверное, он мог попытаться пережить этот или другие кризисы, если бы не случилась роковая встреча. Знакомство

с алкоголем окончательно определяет судьбу юного Венедикта. Алкоголизм — главный и единственный двигатель судьбы, объясняющий и определяющий все зигзаги и повороты жизни «свободного человека, которому довелось жить в несвободное время в несвободной стране». Этими словами авторы книги завершают биографию Ерофеева, которая в действительности проще и трагичней этих напыщенных и стертых слов.

Ерофеев однажды в своей жизни совершает поступок, который можно назвать условным подвигом для алкоголика, не способного сосредоточиться на решении какой-либо задачи, требующей долговременных усилий. Авторы биографии видят в этом продолжение уникальных талантов своего героя:

Наделенный от природы прекрасными способностями, Ерофеев почти всегда быстро, нахрапом, достигал первых блестящих результатов и ими вполне удовлетворялся. Все, что требовало усидчивости и долгого, однообразного труда, приводило Ерофеева в уныние, и он, при всей своей тяге к систематизации, остывал и бросал начатое.

В словах соавторов присутствует скрытое лукавство: где примеры «блестящих результатов» Ерофеева? Его единственное достижение, которое я назвал выше подвигом, — написание сто-страничных «Петушков». Анкета все же была заполнена... Точнее сказать, как мы уже знаем, не написание, а компоновка материала из записных книжек, что также не замечается его биографами, которым необходимо чудо возникновения шедевра. Из ничего, одним усилием таланта. Но на усилие как раз их герой не был способен...

Напомним, что поэма делится внутри на перегоны: Москва — Серп и Молот, Серп и Молот — Карачарово... Обращение к железнодорожному расписанию оказалось единственным возможным

способом организации заготовленного словесного материала. В поэме отсутствует сюжет как таковой. Впрочем, ценители поэмы указывают на стилистику и авторский язык как на ее главное достоинство. Содержание, как мы уже знаем, можно трактовать «так и эдак». Что касается языка, то тут при спокойном прочтении открываются простые и неприятные для ценителей Ерофеева вещи. Прежде всего, это касается, как ни странно, цитатной насыщенности. К настоящему времени издано несколько путеводителей по тексту, да и в «Постороннем», как мы помним, биографические главы чередуются с филологическими изысканиями авторов жизнеописания. Объем комментариев превосходит сам текст, как правило, в несколько раз. Это еще раз свидетельствует о его конструкторском, техническом происхождении, что противоречит цельной природе творчества как такового. Куски из «Записных книжек» сшиваются механически, что приводит к указанной исследователями жанровой анархии.

Случайно выбранное Ерофеевым определение текста как поэмы прямо противоположно ее сути. Стилистически автор, тут ему нужно отдать должное, последовательно следует тому же эклектичному методу. И это не принципиальный выбор, а именно «так проще», тесно связанное с эпическим «так и эдак». Что прочитано, выписано, то и озвучено. Хотите интонацию Достоевского? Пожа-луйста:

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Не знаю, как вам, а для меня это привет от Парадоксалиста, того, который в «Записках из подполья».

Автор с карандашом прочитал библейские тексты, милости просим:

Но вот ответное прозрение — я только в одной из них ощутил, только в одной!
О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

Вот вам ерофеевский вариант «Песни Песней», как сумел, как смог. Кроме названных источников можно найти (и находятся) иные разводные ключи, с помощью которых текст разбирается до винтиков: от Блаженного Августина до исповедальной прозы шестидесятников. И вот здесь заключается проблема. Если разложить по кучкам винтики-гаечки и прочий крепежный материал, что останется перед нами? Где то, что относится к такому понятию, как литература?

Для большинства любителей «Москва — Петушки» сводятся к нехитрому набору цитат: «и немедленно выпил», «коса до попы», «я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы мне прежде показали уголок, где не всегда есть место подвигу». В русской литературе есть произведения, которые становятся источниками устойчивого цитирования. Не буду трогать Грибоедова, обратимся к двадцатому веку. Книги Ильфа и Петрова, Булгакова, Довлатова не менее цитируемы по сравнению с Ерофеевым. Но, в отличие от поэмы, цитаты из «Двенадцати стульев», «Золотого тельца», «Мастера и Маргариты», «Театрального романа», «Компромисса» являются яркой, но всего лишь частью текста — с его сюжетными ходами, героями, внутренним движением. Если так можно сказать, афоризмы работают на текст, помогают его раскрыть, но не заменяют его.

Для Ерофеева писательство невозможно по причине нежелания, невоз-

можности совершить усилие по созданию живого мира. Он пользовался, как мог, популярностью поэмы: устроил себе московскую прописку, второй раз женившись на Галине Носовой, мечтавшей быть «женой писателя», получил стол, чистую одежду и спокойную жизнь. Но стол использовался в основном для интеллектуальных бдений с дионисийским погружением. За исключением алкоголя, Ерофеев вел жизнь неотличимую от быта обыкновенного советского обывателя. Его приятели не без удивления отмечали этот факт. Обратимся вновь к тексту «жития».

Пристрастился он и к почти ежевечернему сидению перед телевизором. «Следствие ведут знатоки» и все такое прочее, — вспоминает Марк Гринберг. — Я этого не смотрел, разве что футбол». «Муравьев все удивлялся: Ерофеев Штирлица смотрит! — писала в мемуарах Галина Ерофеева. — А он смотрел и был в восторге, сколько раз ни передавали — раза три, наверное, — каждый раз смотрел. Или “Место встречи изменить нельзя”... Тем более что там Высоцкий. И программу “Время” всегда смотрел». «На Флотской он устраивался на широкой тахте и смотрел телевизор», — рассказывает Людмила Евдокимова.

Иногда он устраивался и на работу. Работа была примечательная — дежурство на пульте резервного энергоснабжения Кремля. Снова воспоминания Марка Гринберга: «Он должен был там дежурить. Со смехом говорил: “Если на мой телефон позвонят, то я должен вот эту ручку дернуть”. Вот и все его обязанности были». Проработал он там, естественно, недолго. А теперь напомним знаковые моменты биографии эрудита Митрофанова: «Его устроили сторожем в кинотеатр. Ночная работа, хочешь — спи, хочешь — читай, хочешь — думай. Митрофанову вменялась единственная обязанность. После двенадцати нужно

было выключить какой-то рубильник. Митрофанов забывал его выключить. Или ленился. Его уволили». Волшебная сила искусства.

Сняв руку с электрического пульса страны, Ерофеев не торопится братья за перо. Все, что он пишет в это время, — вымученное десятистраничное эссе о Розанове. Вымученность следует понимать не как метафору, а как суровую правду жизни. В благодарность за проживание на даче у Светланы Мельниковой — близкой к православному полуподпольному журналу «Вече», он берется за написание текста о великом русском философе. Для работы писателя помещают практически под домашний арест, понимая уже тогда, что он является тем самым «свободным человеком». Не без умиления сам «арестант» вспоминал позже: «Мне в окопечко давали бутылку кефира и два куска хлеба на блюдечке». Но даже кефирная диета не смогла превратить «Розанова глазами эксцентрика» в бриллиант отечественной эссеистики.

Интонационно это те же «Петушки»:

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило.

И вот здесь возникает странный, но объяснимый эффект. На фоне интимной прозы Розанова эссе Ерофеева выглядит откровенным кривлянием, (под)заборным творчеством. И в этом Ерофеева трудно упрекнуть: иначе писать он просто не умеет. После рассуждений о пропорциях смешивания денатурата, политуры и бархатного пива, как и о том, что Гете спаивал своих персонажей, соревнование с великим русским философом и писателем проигрывается вчистую. Не зря сам Василий Васильевич называл себя «трезвым русским», подчеркивая тем самым

напряжение и внутреннюю собранность, через которые он и пришел к своему исповедальному, словесно предельно точному письму. Через полный курс университета, к стати, и переводы Аристотеля. А тут просто, без классиков:

Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицы «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она глазом не повела), а всем остальным вдумчиво роздал по подзатыльнику.

Ударно потрудившись, эссеист решает отдохнуть, и процесс восстановления после злоупотребления кефиром растягивается на долгие годы. Но публика ждет от автора «Петушков» и многообещающей малой прозы нового прорыва. Прорыва не получается. Не от того, что Ерофеев пишет и рвет написанное. Да, его рвет, но от выпитого. Постепенно до окружения начинает доходить простая и лежащая на поверхности догадка: может быть, кумир вовсе не писатель? Или писатель, но нового типа? Авторы биографии не смогли избежать этих свидетельств печального прозрения. Владимир Муравьев, знавший Ерофеева с его первых и, как оказалось, последних университетских месяцев: «Конечно, Ерофеев был больше своих произведений». Лидия Любчикова, познакомившаяся с Ерофеевым еще до написания эпохальной поэмы: «Все мы, друзья молодости, любили его не как знаменитого писателя, а как прелестного (именно!), обаятельнейшего, необычайно притягательного человека. Мы очень чувствовали его значительность, он был для нас значителен сам по себе, без своих писаний». Людмила Евдокимова — супруга уже знакомого нам Марка Гринберга: «Для меня образ Вени, каким я его помню, совершенно заслоняет его книги или, вернее, книги неотделимы от этого образа (хотя речь там идет о том времени, когда мы не были знакомы)». Тут только вопрос: какие книги мог заслонить светлый образ Вени? Для «большого русско-

го писателя» приведенные свидетельства убийственны. Представим себе сборник воспоминаний про Достоевского, итогом которого было бы: «Федор Михайлович, да, писал какие-то книги. Но сам-то интересней каких-то “Бесов” полуидиотских. Судьба какая — боролся с царизмом, сидел, ссылка, болезнь страшная, на гармонике хорошо играл, стихов много знал, про Пушкина здорово, до слез, однажды так сказал».

Ерофеев, понимая, что публика проявляет уже признаки нетерпения, создает роман «Шостакович». Именно создает, а не пишет. Потому что текста такого никогда не было. Совсем не было. Автор напрягся и придумал даже не сюжет романа, а прием оригинальной подачи эротических сцен:

...Как только герои начали вести себя, ну... как сказать... Вот, у меня этот прием уже украден — как только герои начали вести себя не так, как должно, то тут начинаются сведения о Дмитрие Дмитриевиче Шостаковиче. Когда родился, кандидат такой-то, член такой-то и член еще такой-то Академии наук, почетный член, почетный командор легиона. И когда у героев кончается этот процесс, то тут кончается Шостакович и продолжается тихая и сентиментальная, более или менее, беседа. Но вот опять у них вспыхивает то, что вспыхивает, и снова продолжается: почетный член... Итальянской академии Санта-Чечилиа и то, то, то, то...

Невероятная игра писательской фантазии. Теперь вместо «и немедленно выпил» вступает в игру иной емкий глагол. О трагической судьбе «утраченного» в неизбежной для Ерофеева электричке произведения автор рассказывает со стоицизмом, вызывающим невольное уважение:

Все это было в сетке. Я могу назвать точно — вот это знойное самое лето. 72-й год. Знойное лето под Москвою.

Я когда увидел пропажу, я весь бросился в траву, и спал в траве превосходно.

В сетке, естественно, перевозился и другой духоподъемный продукт — на основе которого и создавался знаменитый коктейльный ряд мастера. Двойная потеря, конечно, потрясла автора. Друзья скорбно свидетельствуют: «Надо знать, чем для Ерофеева был Шостакович, чтобы понять важность утраченной “книги” о нем».

В итоге даже самые преданные поклонники писателя начали догадываться о том, что ничего большего, чем отчет о путешествии от Курского вокзала до подмосковного районного центра и обратно в столицу они не получают. К уже знакомым напевам о широте природы Ерофеева, не вмещающейся в прокрустово ложе литературы, добавляется новый мотив. Музыкант Марк Фрейдкин предлагает нам новую модель писательства, порофеевски:

Веня постоянно ощущал себя действующим писателем, и, несмотря на то что он «молчал» десятилетиями, это вполне соответствовало действительности. При чем он оставался до такой степени погруженным в литературу и словесность, что собственно писать ему было уже не обязательно. В нем и подсознательно, и вполне осознанно шла непрерывная, напряженная и изощренная словесная работа, заключающаяся в сочинении и вышелушивании из языковой и житейской реальности анекдотов, каламбуров, аллюзий, парафраз, инверсий, синекдох, литот, оксюморонов, плеоназмов...

Вот так каламбуры и инверсии с помощью оксюморонов создают великого писателя.

Здесь возникает очередной важный вопрос: почему окружение «писателя» с таким завидным упорством толкало его в гении? При этом многие из энтузиастов уже тогда прекрасно понимали истинный

масштаб дарования Ерофеева. За всеми аллюзиями и парафразами скрываются вещи серьезные, относящиеся к литературе и не только. Напомню, что семидесятие годы были временем расцвета деревенской прозы. Имена Шукшина, Распутина, Белова, Астафьева пришли к читателю и обрели заслуженную известность. Одновременно начался стремительный закат прозы шестидесятников. Сами герои недавних времен объясняли это происками реакционных сил, возрождающимся сталинизмом и старым добрым антисемитизмом. При этом никто не хотел проговорить простую и понятную всем вещь: исповедальная проза Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Анатолия Кузнецова просто перестала быть востребованной. Возникший как антитеза положительным героям соцреализма — чубатым комсомольцам, до хруста затянутым в ремни, преодолевшим все и вся, ищущий себя, неоднозначный, с гитарой на плече, герой, был, несомненно, интересен. Он казался свежим и живым на фоне бронзовых неподвижных фигур.

Большое не только видится на расстоянии, но, увы, и забывается. Мы сейчас на одном выдохе говорим про 60—70-е годы, упуская из виду один важный момент. «Семидесятые» кардинально отличались от «шестидесятых», эти близкие, слепленные в нашем сознании десятилетия относятся к разным эпохам. Стоит подробнее остановиться на этом в другой раз, а сейчас лишь конспективно отметить следующее. Для семидесятых характерна установка на прагматизм, отказ от идеологических споров в пользу решения житейских, бытовых вопросов. Поэтому такую популярность приобретает проза Ю. Трифонова, которого в предыдущее десятилетие никто особенно не замечал. Его московские повести — портрет интеллигента, который по чуть-чуть, но фатально смещается из сферы решения, пусть даже на уровне сознания, высоких проблем в область тех самых ясных, про-

стых насущных задач. Вспомним название одной из них: «Обмен». Его можно понять и как процесс, далеко выходящий за рамки решения квартирного вопроса одной конкретной московской семьи. Обмен — сдача позиций (неважно, кто кем был или мог стать — либералом, сталинистом, маоистом), за которую ты сейчас получаешь вполне конкретные вещи: квадратные метры, престижную работу, путевку. Шестидесятники как раз и были теми, кто пострадал от «обмена». У них была возможность влиять, быть в центре внимания, обладание «культурным капиталом». Если продолжить экономическую аналогию, то валюта шестидесятников не исчезла, она резко обесценилась.

Творцы занервничали и принялись реализовывать различные стратегии спасения, как индивидуальные, так и групповые. Например, Анатолий Кузнецов просто сбежал в Англию и принялся по радио рассказывать о своих страданиях, кто-то не такой нервный решил разложить яйца по разным корзинам. Сейчас об этом подзабыли, но многие из шестидесятников (Аксенов, Гладилин, Войнович, Копелев) подались в авторы серии «Пламенные революционеры» в попытке вернуть утраченное на старых, проверенных временах акциях, одновременно про запас, на случай «варианта Кузнецова», творя «антисоветские шедевры». Чтобы было что показать в свободном мире. Кстати, в «Записных книжках» по поводу революционных сочинений шестидесятников Ерофеев спрашивает: «Кто же они: бунтари или конформисты?» Парадокс в том, что они были и конформистами, и бунтарями одновременно.

В любом случае ситуация требовала и экзистенциального возмещения. В качестве компенсации требовалось показать публике настоящего русского, чтобы все ощутили разницу между литературными образами деревенщиков и действительностью. Кстати, весьма символична неприязнь авторов «Постороннего» к деревен-

ской прозе и сегодня. Вот О. Лекманов пишет в «Фейсбуке»: «Просто вот из интереса перечитал почти все произведения вашего раннего Распутина и теперь (без)ответственно заявляю: “Это — читать невозможно и не нужно, это — очень плохая проза!”». Если автор на полном серьезе отдает предпочтение Ерофееву перед Распутиным, то дело здесь не в эстетической глухоте, а во вполне осознанном идеологическом выборе.

И здесь возникает вопрос, касающийся личной и писательской честности Ерофеева, о которых так любят говорить его поклонники. Ерофеева буквально выдернули из уютной маргинальной среды и принялись *показывать*. Его водили по модным салонам, к нему приводили и демонстрировали желающим увидеть того самого, «который про портвейн с зубным эликсиром». Понимал ли это сам Ерофеев? Судя по его записным книжкам, осознавал, извините за невольный каламбур, достаточно трезво. И «абсолютно свободный» писатель вел себя точно так же, как и несвободные коллеги-приспособленцы: вслух говорил одно, в мыслях держал — совсем иное. Внешнее, показное почтение перед евреями сочетается с откровенным антисемитизмом в личных записях. Вот Ерофеев правильно шутит в присутствии Феликса Буха: «Если будут бить жидов, то я первым... пойду их защищать». За такое можно и налить, и вообще напечатать поэму в Израиле. А вот из записных книжек по поводу революции в Германии и Венгрии:

90% всех ответственных и руководящих постов — евреи. «Красный террор». Вожди — четырехчленный ЦК: все четверо — евреи. Ниссен — Левине — Эйслер, Толлер, Ландауэр. В том же 19 г. — венгерская большевистская республика, возглавляемая евреем Бэла Куном. Бэла Кун и соратники его бегут в Россию, см. кровавую ликвидацию ими в Крыму остатков врангелевской армии и беженцев.

За проявление такой неправильной эрудиции можно и лишиться расположения прогрессивно мыслящей интеллигенции. Это вам не пуговицы Талейрана пересчитывать. Поэтому только в записях. Для себя.

Рискну предположить, что нежелание Ерофеева писать объясняется, помимо отсутствия собственно творческого дара, еще и внутренним сопротивлением навязываемому материалу. Негласный заказ на «Петушки-2» означал насилие над его природой. Саморазоблачаться на потребу, «валать» пьяного «Веньку», Ерофеев явно не хотел. В конце концов творца все же добавили и на выходе по принципу «на отвали» получили «Вальпургиеву ночь» — пьесу про сумасшедший дом. Ее главный положительный персонаж — Гуревич, который страдает от антисемитских шуток некоего Прохорова. Неплохой шахматный ход для любительской партии в непростых условиях.

Поэтому-то никто из окружения не спрашивал у Ерофеева: желает ли тот быть писателем? Но есть ли этот ответ для нас? Его возможный вариант, скажем словами Фрейдкина, вышелушивается из житейской реальности. Чем увлекался Ерофеев? Алкоголь оставим в стороне — это способ существования, а не увлечение. Вспоминаем нелегкую судьбу редкого знатока семейной жизни Ломоносова — Митрофанова. Ерофеев тоже любил учиться и получать хорошие оценки. Его скитания в молодые годы по подмосковным педагогическим институтам нужно понимать не только как поиск пристанища. Ерофеев со зримым удовольствием сдавал экзамены, ему нравилось удивлять экзаменаторов эрудицией, уровнем знаний, недоступным обычному абитуриенту. Позже он постоянно вспоминал с подробностями, которые, впрочем, мог и домыслить, свои экзаменационные триумфы:

А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь, и

некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого «хор.», об этом не беспокойтесь, да вы вроде и не беспокоитесь. Честное слово, плюйте на ваш цемент, идите к нам на стационар. Мы обещаем вам самую почетную стипендию института, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирожденный филолог. Мы обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших «Ученых записках» с тем, чтобы подкрепить себя материально. Все-таки вам 22, у вас есть определенная сумма определенных потребностей.

— Да, да, да, вот эта сумма у меня, пожалуйста, есть.

В кольце ободряющих улыбок: «Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустячный вопрос, ну, хоть о литературных критиках 60-х годов?»

— Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Николая Гавриловича самым точным образом?

— По-моему, Аскоченский и чуть-чуть Скабичевский. Все остальные ваяли дурака более или менее, от Афанасия Фета до Боткина.

— Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, злого ретрограда тех времен?

Присутствует ли в описании ирония? Да. Но она подчеркивает чувство легкости победы, того самого *настоящего признания*, которое и было ценным для Ерофеева. Во что он погружается после переезда в Москву и устройства быта? Никаких аллюзий и парафраз. Учеба. В сорок с лишним лет автор поступает на двухгодичные курсы иностранных языков и блестяще их оканчивает. Пишет на немецком языке прекрасные сочинения про Эрнста Тельмана — вождя германских коммунистов в 30-е годы. Бережно хранит отзывы преподавателей на свои работы, пишет о своих учебных успехах сестре. Стоп... Отмотаем немного назад. И снова «пушкинист» Митрофанов: «Прочитал еще триста книг. Выучил два

языка — румынский и хинди». В несомненной эрудиции Ерофеева есть какой-то школьный привкус, когда на первый план выходит способность к количественному поглощению информации: выучил — рассказал, получил пятерку. Ольга Седакова вспоминает, что Ерофеев, приходя к ней домой, любил по памяти на пишущей машинке печатать стихи Игоря Северянина:

За несколько раз во время своих визитов Венья написал стихотворений двадцать. С собой он их не брал, и мне очень понравились эти поэтические кружева. Однажды, после очередного занятия машинописью, я спросила Веню, сколько стихотворений Северянина он знает наизусть. В тот раз он не ответил мне, но обещал подсчитать к следующему визиту. И слово свое сдержал. Оказалось, что он знал наизусть двести тридцать семь стихотворений Северянина.

И за это тоже нужно похвалить и поставить пятерку.

Поэтому для Ерофеева не существовало писательства как проблемы. Он был равнодушен к каким-то мукам слова, искренне не видел причин для страданий. Одно время он был дачно знаком с Юрием Казаковым — соседом академика Делоне, у которого часто гостил. В конце 70-х годов Казаков переживает несколько наслоившихся друг на друга кризисов: личный, семейный, писательский. С какого-то времени он потерял свойственную ему уникальную легкость письма. Кроме этого, ему казалось, что книги его не нужны, он отстал от жизни, его никто не читает: «Никогда не видел ни в электричках, ни в поездах, ни в читальнях, чтобы кто-нибудь читал мои книги. И вообще что-то странное происходит с моими книгами. Их как будто бы и в помине не было». Выход он находил в алкоголе, повторив, увы, путь многих больших русских писателей. Казаков не просто пил, он сознательно запивался,

отрезав для себя любые возможности спасения. Ерофеев в своих абрамцевских записях 1978 года с удивительным спокойствием описывает визиты Казакова, как и свои ответные посещения: «Весь вечер — у пьяного Казакова. Первые свинушки»; «Один подосиновик. Опять весь вечер у пьяного Казакова». Прорывается чувство недовольства по отношению к излишне назойливому соседу: «Вторжение вечером Ю. Казакова с водкой и портвейном». Впрочем, беспокойный сосед не нарушал идиллического настроения автора записок: «Дни начинаются с пива и заканчиваются вермутами и баиньками». Все эти страдания по потерянному слову далеки от автора, сумевшего, как мы помним, мужественно пережить пропажу эпохального романа «Шостакович».

Конечно, можно при желании списать многое на игру, карнавальность, к которым наш герой испытывал особую тягу. Но в жизни Ерофеева был момент, когда маски были сброшены и музыка умолкла. В 1985 году у него был обнаружен рак горла. Сделанная операция притормозила ход болезни, судьба подарила ему еще несколько лет жизни. Для любого человека подобная ситуация — страшное испытание, и не только физическое, но и психологическое. Все, что казалось устойчивым, вписанным в привычный порядок вещей и отношений, теряет смысл. У тебя нет завтра, оно остается у тех, кто останется. Для писателя положение усугубляется острым осознанием того, что не сказаны главные слова, ради которых ты и выбрал эту судьбу. Отчаяние и ужас имеют и обратную сторону — лихорадочную попытку успеть сказать, поймать те самые слова. История литературы знает такие примеры. В 1959 году непризнанному композитору, пробовавшему свои силы и в литературе, Энтони Берджессу был вынесен врачебный приговор — неоперабельная опухоль мозга. За оставшийся год жизни Берджесс написал пять

романов. Диагноз оказался ошибкой, без которой, впрочем, не был бы создан «Заводной апельсин». Ерофеев в отведенные ему пять лет не занимается ничем. В интервью, которое он дал Л. Прудковскому, есть показательный момент. На вопрос, ощущает ли он себя великим писателем, Ерофеев ответил: «Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, это — более или менее мудозвонство». Но не за какой стол он не сел. Потому что незачем. Потому что, и это мы уже знаем, Венедикт Ерофеев никогда не был писателем. До конца дней он занимался тем, что пил и читал.

Мне осталось сказать еще несколько слов о причинах неувядаемой славы нашего уникального автора. Точнее, уникальность, явившая себя полвека тому назад, в наши дни стала рядовым явлением для «литературного процесса», заменившего собой живое, естественное движение литературы. Первая причина носила исторический характер. Парадокс в том, что Ерофеев воплотил в себе образ идеального советского писателя. Странное утверждение объясняется следующим образом. Кризис советского общества в 70-е годы был связан с размытием его идеологической идентичности. Декларируемые социальные и этические ценности незаметно покинули мир действительности и перешли в область чистой идеологии, превратившись в унылые заклинания, вялые клятвы верности заветам. История подсказывает, что апелляция к славному прошлому, как правило, свидетельствует о больших неприятностях в настоящем. Этот процесс протекал с неодинаковой скоростью в разных социальных группах. Для большей части советского социума кризис был смягчен невероятным ростом социальных благ, благодаря которому, в частности, Ерофеев и получил квартиру, а с ней телевизор вместе с комфортной тахтой. Для наиболее активной, «ищущей» части творческой интеллиген-

ции официальная советская литература становится объектом нигилистического отрицания. Ее творцы порицались за двоемыслие, стремление к бытовым благам, конформизм. Общее отношение укладывалось в нехитрую формулу: писатель N съездил на БАМ и написал книгу о строителях-комсомольцах, после издания которой получил премию, купил дачу и автомобиль. N — фальшивый, неискренний человек и плохой писатель. Писатель Ерофеев написал «Петушки» о том, как он пьет политуру и за последние три года четыре раза побывал в психушке с приступом белой горячки. Ерофеев — цельный, искренний человек и хороший писатель.

Сегодняшнее кризисное состояние уже российского общества имеет не идентичное, но схожее измерение. Постепенно вызревает, формируется запрос на настоящего русского писателя. Ключевым здесь является слово «настоящий», каким был, например, Горький. Фигура сочинителя, уныло толкующего о том, как он развивает мифотворчество Борхеса в своем последнем романе, вызывает искреннюю зевоту даже у преподавателей университетов — одних из последних зрителей культурных телеканалов. В конце концов, они сами читали Борхеса. Или могут прочитать. Интеллектуал-сочинитель плавно опускается на морское дно. В эти же бездны отправляются щекастые бойкие авторы романов про расстрелянных поручиков, репрессии, гулаговские бараки и о том, как запрещали читать «Лолиту» Набокова. Сочинители в чистом виде уже не так интересны. Анкету читатель еще не спрашивает, но биографией интересуется, хотя и на балующихся литературкой медийных персонажей уже не клюет. Малаховых во всех вариантах не предлагать — видели-слышали. Есть потребность открыть писателя всерьез, того, кто заплатил сам за право писать и говорить. Поэтому к Ерофееву, точнее, к ерофеевскому мифу

прилипает из Лермонтова: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя... Плохая им досталась доля...» Да, боец, каждый стопарик — выстрел в ненавистный вражеский, во всех смыслах, строй. Мог, пока позволяло здоровье, и очередями по тоталитарному режиму. А в перерывах чтение Игоря Северянина вслух. И уже не важно, что за пеленой мифа скрывается всем хорошо знакомый персонаж русской литературы. Маленький человек. Пьющий, бездарно, но мило, с душой играющий роль «большого писателя», который вот-вот создаст нечто невыносимо гениальное. А пока, смотрите, написал для разминки пера. Ребятам нравится, особенно под портьешок. И здесь даже малокнижье Ерофеева играет на образ «настоящего писателя». Не разменивался по пустякам, знал цену выстраданного слова, чутко вслушивался в гул времени. На фоне современных «писателей», переводящих в книжный формат записи в «Фейсбуке», выступления на радио, интервью, которые один кудесник слова берет у другого (очень экономный вариант: текст один, опубликовать могут оба), писательский аскетизм Ерофеева смотрится особенно выигрышно.

Конечно, интерес к Ерофееву трудно назвать возрождением большой русской литературы. Но, по крайней мере, есть запрос на фигуру писателя, зрительно соотносимого с ее масштабом, с теми традициями, которые оказались забытыми и вроде бы ненужными. Но, как было сказано в начале статьи, сегодня преданы забвению именно те, кто забывал, хоронил, объявлял рудиментами, смеялся над моралью, гуманизмом, «достоевщинкой» и прочими архаизмами, с которыми не берут в светлое постмодернистское завтра. Ерофеев сохранил себя благодаря русской литературе. Не как писатель, а в качестве ее вечного персонажа. В этом его значение и человеческий урок. А уроки он, как вы знаете, любил.

Владимир ЧИРКОВ

ЛЮДМИЛА БЕЛОЗЁРОВА: НЕЖНЫЕ КРАСКИ ЖИЗНИ

Искусствоведческие письма

Некоторые художники изображают солнце желтым пятном, другие же превращают желтое пятно в солнце.

Пабло Пикассо

Высказывание Пикассо в качестве эпиграфа — совсем не от пижонства, поверьте! Просто именно с этой точки зрения хочется рассказать об удивительном художнике Людмиле Белозёровой, которая в своем творчестве неутомимо пытается с помощью цвета (живописи пастельными мелками) увидеть и передать мир, в котором мы живем.

Письмо первое (о детстве, родителях и случайных подсказках)

Людмила Ивановна Белозёрова (в девичестве — Буракова) родом из самых что ни на есть демократических «низов»: отец — водитель автобуса, мать — лаборант. Родилась Людмила в 1956 году, детство ее прошло в Омске, в частном доме со своим огородом, за которым лежали овраги, где была каждая травинка знакома; зимой — лыжи, санки, коньки, летом — весь день на Иртыше. Счастливое, беззаботное детство!

О живописи маленькая Люда Буракова и понятия не имела, но, когда училась в пятом классе, появилась в школе новая учительница рисования, и, видно, толковая была учительница — быстро оценила девочку и стала, по словам самой Людмилы, «очень меня хвалить, а я рисовала и рисовала с натуры все подряд».

На выпускном вечере в школе одноклассник сказал: «Людка, ты же рисуешь, иди на худграф!» Пошла, подала документы — и поступила!

Затем — пять лет (1973—1978) нашего знаменитого омского худграфа; знаменитого не тем, как педагог водит рукой студента, нет, совсем наоборот — творческой обстановкой, свободой поиска. Однорупниками Людмилы были и цветовик от бога Коля Молодцов, с которым она и по сей день «сверяет» свою живопись, и Гена Белозёров — умный рисовальщик и мастер композиции, навсегда вписавший свое имя в историю концептуального плаката 1980-х годов. После института и рождения дочери художница долгие годы преподавала (и продолжает!) в художественной школе — и в этом тоже прослеживается естественная для нее логика судьбы.

Письмо второе (о художественной педагогике, выращивающей мастера живописи)

С 2004 года в педагогической работе Людмилы Белозёровой (и как следствие — в ее собственном творчестве) появились ежегодные пленэры и техника пастели. И случилось это впервые не где-нибудь, а во Владими́ре, где жил и творил крупнейший пастелист современной России Петр Дик, который, кстати, родился и вырос на Алтае. Пастели Дика, как признается сама Людмила, «это было открытие». Сейчас, когда в культурном обиходе хорошо известно понятие «омская пастель», за которым стоит целая плеяда имен (основоположника этой школы академика Алексея Либерова, его

учеников и последователей), невольно задумаешься, насколько неисповедимы пути художников... Ведь это чистая случайность — Людмила Белозёрова поехала во Владимир, увидела пастели Дика... И они перевернули ее художественное сознание! При этом, правда, еще один человек, омский пастелист Владимир Долгушин, оказал влияние на формирование этого художественного явления — пастелей Людмилы Белозёровой.

Письмо третье (о пленэрах, этюдах, красках, выставках)

С того первого владимирского пленэра для Людмилы Белозёровой и начался отсчет поездок, география которых впечатляет: юг (Астрахань, Абхазия), Центральная Россия (Владимир, Суздаль, Муром, Переславль-Залесский), Урал (по Чусовой), Западная и Восточная Сибирь (Горный Алтай, Ольхон, Байкальск, Аршан в Бурятии). Но чаще всего — Омская область, северная и центральная ее части, то есть те районы, где «живописи» больше: Тевриз, Седельниково, Муромцево (Петропавловка), Знаменка, Большеречье, Тара, Саргатка, Тюкалинск...

Говоря о поездках, Людмила вспоминает слова Николая Молодцова: «Пленэр для художника — это как вдох, а в мастерской — выдох. Если все время выдыхать, говорят: “художник выдохся”». И тут же страстно добавляет: «Очень точно сказано. Если бы не было пленэров в моей жизни, то не было бы и меня как художника».

Этюды имеют базовое значение для русского изобразительного искусства. Можно привести множество свидетельств в пользу этюда — от Алексея Саврасова («Идите, идите в Сокольники!») до нашего современника, мастера этюда омича Владимира Бичевого, и везде будет констатация двух смыслов, нераздельных для художника. Первое: этюд — рабочий материал, визуальная информация о месте, где художник находится; второе: этюд — фиксация эмоционального со-

стояния, переживание природного мотива художником. Позже, уже в мастерской, художник «сплавляет» материал физический и материал эмоциональный в образ, который может быть миметическим (натурным), а может быть и условным, доходящим до абстракции, но при этом обязан сохранять эмоциональное родство с реальным переживанием.

И еще одна деталь: для непосвященного не имеет значения, чем художник пишет этюды, для профессионала — это принципиальный вопрос. Героиня моих нынешних писем в этом смысле подкупающе откровенна: «Пастель — не очень удобный материал для пленэра... И вообще хочется очень писать маслом».

Письмо четвертое (содержательное)

Из моего ближайшего круга художников не знаю ни одного, кто бы творил, так сказать, с легкостью необыкновенной. Не забывая о вдохновении, которое не всегда, но присутствует, важно помнить: искусство — тяжелейший труд, каждодневный. Все работают на износ, не зная успокоенности...

За пятнадцать лет творчества, если отсчет вести с владимирского пленэра и первой групповой выставки «Сокровенное» (2004), профессиональный багаж Людмилы Белозёровой значительно вырос, потому говорить о ней я буду не по принятой схеме периодов творчества, а по циклам, которые можно составлять, например, по формальному, стилистическому признаку. Подобно большинству русских художников, Людмила начинала с натуральных сюжетов, по ее собственным словам, «ранние работы — они реалистичны...» Здесь имеется в виду не дипломный проект, опубликованный в альбоме Всесоюзной выставки (это была работа, на педагогическом языке, квалификационная), а пастели начала 2000-х годов. Реализм этих ранних пастелей заключается в строгом следовании этюду, но в таком, где просматривается стремление автора найти форму, которая бы, как уже говорилось, «сплавляла» физи-

ческий и эмоциональный материал в образ.

Здесь мне кажется принципиальной, а то и знаковой, пастель «Речка Трубеж» (2004) — здесь Белозёрова не отказалась от набора натуральных деталей и попыталась найти в меру экспрессивную форму, соответствующую своему эмоциональному состоянию. Автор не загоняет себя в какие-то строгие формальные, стилистические рамки, а прибегает к тому или иному приему для решения конкретной образной задачи. Речь идет о свободе выбора.

Мы в этом еще более убедимся, послушав саму Людмилу Белозёрову: «Первая моя выставка называлась “Я обнимаю тишину”. Это слова из песни Николая Носкова, которого я очень люблю слушать, когда рисую в мастерской... Считаю главным в изображении пейзажа передачу состояния». Посмотрим на пастели «Вечер на Чусовой», «Зимний мотив», «Радуга» и восхитимся, как тонко в образном выражении и убедительно по форме прослеживается традиция, идущая от пейзажей состояния, пейзажей настроения А. Саврасова, И. Левитана, Е. Зверькова, А. Либерова...

Массив работ Белозёровой столь велик, что мы легко продолжим приведенный ряд другими пастелями, чудесным образом соединившими в себе свойства sfumato и импрессионизма: «Работа 101», «Апрель 14», «Тарские туманы» (2011). Эти работы относятся к категории произведений, в основе которых лежит мир тончайших переживаний художника, о них Людмила Белозёрова не рассказывает, а почти исповедуется: «Еще у меня есть серия “Тарские туманы”. В Таре на пленэре каждое утро, если не полениться и встать на восходе солнца, ты увидишь туман, непрерывно меняющийся и играющий разными оттенками цвета от восходящего солнца. Я даже как-то зашла в этот туман, была вся мокрая, но этого не заметила... А когда солнце встало и я собиралась уходить, опустила голову и внизу увидела сухие ветки, на которых ночевали стрекозы с росой на крыльях».

Я не забыл поставленные эпитафией слова Пикассо о превращении желтого пятна в солнце: как мне представляется, именно на постижение цвета как символа, как знака направлен каждый художественный жест Людмилы Белозёровой. Цвет в союзе со светом — король в живописи. Для профессионального художника нет проблем нарисовать цветные домики или цветы, изобразить идущего по степи человека. А вот как заставить цвет говорить о человеке, который живет в этом доме или идет по этой степи? Тут и возникает проблема перерастания цвета и света как физических величин в духовную субстанцию. Я не знаю внятных объяснений этому феномену; духовное невыразимо языком, духовное можно только почувствовать, но при этом можно все-таки попытаться на примере тех или иных произведений проследить «отделение» цвета от материи, окрашенной этим цветом, и превращение их в ту самую эманацию духа — добра и зла, гармонии и хаоса...

В творчестве Людмилы Ивановны есть пастели, с которых и началось это движение от материального к духовному: «Утро» (2013), «Январь» (2018), но особо хотелось бы выделить «Закат догорает» (2011). Деликатная экспрессия лимонно-золотистого пятна заката соседствует с разлитым по крыше дома бирюзово-лазоревым свечением, которое резко усилено тенью деревьев на контрсвете — и мы переживаем ощущение чего-то неземного в откровенно земном сюжете...

В 2009 году Людмила Белозёрова создала композицию редкой глубины — «Грай»: гомон птичьей стаи, взлетевшей над молчащим домом, возвещает на всю безбрежность синего неба-космоса о мире, где живут люди со своими повседневными заботами и радостями... Эта работа лишена откровенно формальной выразительности, но в ней присутствует гармонический живописный баланс в пастельных тонах, призывающий людей оставаться самими собой, беречь свое, сокровенное, в чем очень нуждается современный человек...

АВТОРЫ НОМЕРА

Баранова Евгения Джен родилась в 1987 г. в Херсоне. Окончила Севастопольский национальный технический университет. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Крещатик» и др. Лауреат нескольких литературных конкурсов, премии имени В. П. Астафьева, премии журнала «Дружба народов». Финалист премии «Лицей». Автор трех поэтических сборников. Живет в Москве.

Белоедова Наталья Анатольевна родилась в Ташкенте. Окончила Ташкентский государственный педагогический университет по специальности «русская филология». Работает в Министерстве экономики и промышленности Узбекистана. Публиковалась в поэтическом сборнике Союза писателей Москвы «Настоящее время», журналах «Звезда Востока» и др. Живет в Ташкенте.

Ветловская Оксана родилась в 1984 г. в Свердловске. Окончила Уральский архитектурно-художественный университет и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. Работает художником-иллюстратором и графическим дизайнером. Лауреат премии «Рукопись года» издательства «Астрель-СПб». Публиковалась в альманахе «Полдень. XXI век», в сборниках издательства АСТ. Живет в Екатеринбурге.

Ермоленко Станислав Маркович — начальник отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Калашников Михаил Александрович родился в 1985 г. в с. Белогорье Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского педагогического университета. Работает в структуре МЧС. Публиковался в журналах «Подъем», «Роман-газета», «Наш современник». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Лакман Галина Иннокентьевна родилась в Магнитогорске. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Всероссийскую академию художеств. Архитектор, член Союза архитекторов России. Публиковалась в журналах «Изящная словесность», «Нева», «Север». Автор сборника стихов «Солнечные сети» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

Ливинский Станислав родился в Ставрополе. По образованию фотограф. Работал фотокорреспондентом, видеооператором и звукорежиссером. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни» и др. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса. Автор книги стихов «А где здесь наши?» (2013). Живет в Ставрополе.

Маховицкая Татьяна Петровна родилась в 1964 г. в Донецке. Окончила биологический факультет и факультет общественных профессий Донецкого государственного университета. Старший преподаватель в Донецком педагогическом институте. Член Союза писателей ДНР. Публиковалась в журналах «Уральский следопыт», «Огни над Бией». Живет в Донецке.

Подистова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах»,

«Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

Поляков-Катин Дмитрий Николаевич родился в 1961 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Бунинской премии (2013). Публиковался в журналах «Москва», «Аврора», «Сноб» и др. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Резников Владислав Григорьевич родился в 1978 г. в Белгороде. Окончил Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы. Работал юристом, судебным приставом, сотрудником службы безопасности. Автор двух книг прозы. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Кольцо "А"», «Московский вестник» и др. Живет в Белгороде.

Рубанов Роман Владимирович родился в 1982 г. в д. Стрекалово Хомутовского района Курской области. Окончил Рьельское педагогическое училище и факультет теологии и религиоведения Курского государственного университета. Работает главным режиссером концертно-творческого центра «Звездный». Публиковался в журналах «Нева», «Урал», «Новая Юность» и др. Автор книги стихов «Соучастник» (2014). Член Союза писателей Москвы. Живет в Курске.

Седых Владимир Николаевич родился в 1935 г. Доктор биологических наук, много лет занимается изучением лесов. Участвовал во множестве изыскательских, лесоустроительных, научных экспедиций в Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке, в США и Канаде. Автор многих научных работ, в том числе десяти монографий, и очерковой книги «Таксаторы и бичи. Первооткрыватели сибирской тайги». Живет в Новосибирске.

Старышкина Анастасия Андреевна — библиотечкарь II категории отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» и «Теория заговора. Историко-философский очерк». Публиковался в журнале «Подъем», газете «Литературная Россия». Живет в Новосибирске.

Чагин Владимир Васильевич родился в 1950 г. в поселке Таежный Канского района Красноярского края. Окончил отделение журналистики Иркутского государственного университета. Работал в газетах, издательствах. Автор юмористической «Истории Красноярска от основания до перестройки» (2012), ряда краеведческих книг. Живет в Красноярске.

Чирков Владимир Федорович родился в 1947 г. Кандидат философских наук. Заслуженный деятель культуры Омской области, член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО СХР, почетный член Российской академии художеств. Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.

Шелестюк Ксения Николаевна — главный библиотечкарь отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Якупова Наталия Вячеславовна — главный библиотечкарь отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной областной научной библиотеки.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 9.09.2019. Дата выхода № 10 за 2019 г. в свет 19.10.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.